ТЕЛЕШОВСКИЕ «СРЕДЫ»

Москва–Малаховка

«Русский импульс»

Ночь печальна, какъ мечты мои...
Далеко въ глухой степи широкой
Огонекъ мерцаетъ одинокой...
Сердце полно грусти и любви.

+ +
+

Но кому въ пустынной темнотѣ
Я спою о томъ, чѣмъ сердце полно?
Путь далекъ, глухая степь безмолвна...
Ночь печальна, какъ мои мечты...

Ив. Бунинъ

16 Марта 1900 г.
Москва

И пить будешь и гулять будешь а
смерть прiйдетъ - помирать будешь.

Леонидъ Андреевъ (Ваганьково
дача Канарчикова)
добавилъ сiе
Ѳ. Шаляпинъ

10 Октября 1901 г.

Мнѣ кажется, что людей надо любить не за тѣ радости, которыя они намъ даютъ, а за тѣ горести, которыя мы имъ причиняемъ.

А. Купринъ.

1901. Ноябрь

Мало на свѣтѣ хорошаго!
Самое хорошее — искусство, а въ искусствѣ самое лучшее и самое благородное — искусство выдумывать хорошее.

М. Горькій

Ялта
1900 Апрѣль
16.

аксиома:
Еще никто и никогда самъ себѣ на хвостъ не наступалъ. —

Шаляпинъ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Телешовские «Среды»:

Москва – Малаховка

Автор-составитель Л. Логинова

Москва
«Русский импульс»
2009

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)+84(2Рос=Рус)6-4я44+84(2Рос=Рус)6-5я44
Л69

Автор и издательство выражают благодарность за помощь в издании книги
Российской государственной библиотеке по искусству;
Центральной научной библиотеке СТД РФ;
Музею истории и культуры пос. Малаховка;
Газете «Малаховский вестник»;
Российскому Государственному архиву литературы и искусства(РГАЛИ);
Музею театра МХАТ;
Т. Ю. Телешевой.

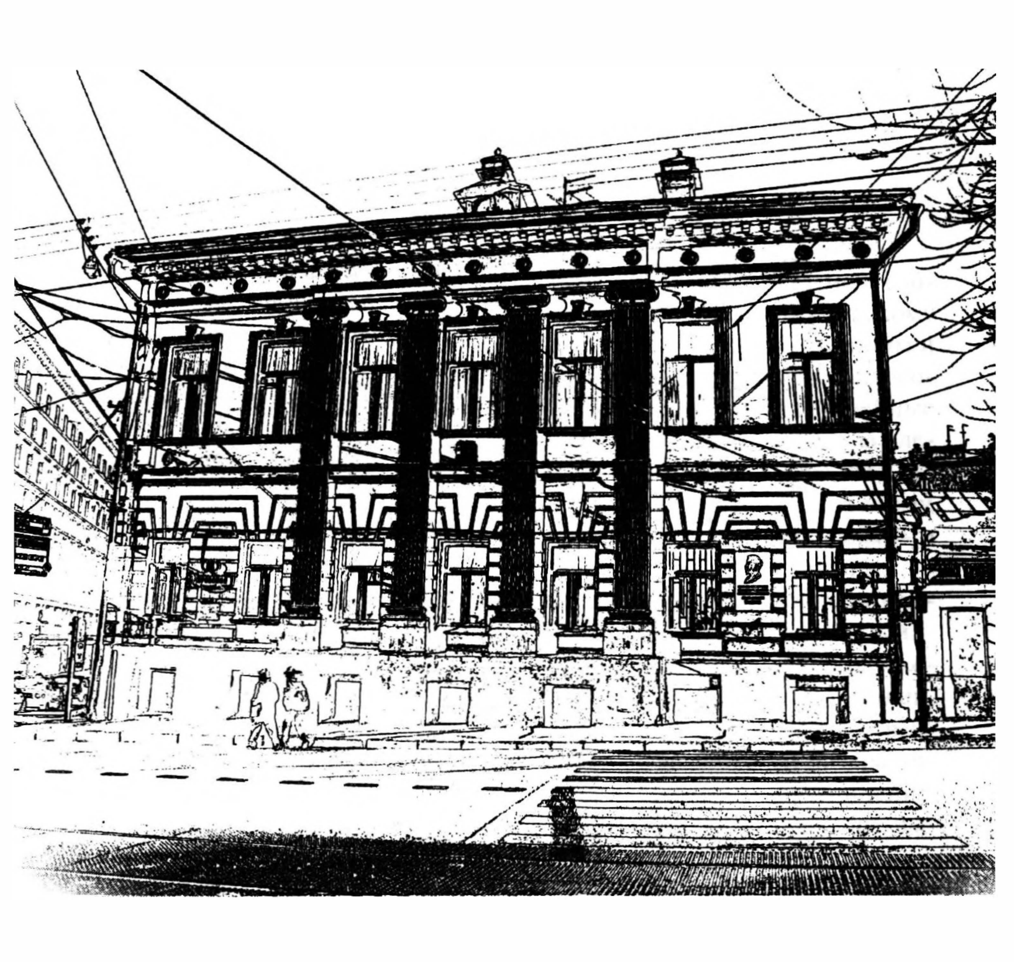
Рецензенты:
Доктор филол. наук, профессор *А.А. Беловицкая*
Доктор филол. наук, доцент *С.В. Сапожков*

Логинова, Лидия Юрьевна.
Л69 Телешовские «Среды»: Москва — Малаховка/ Авт.-сост. Лидия Логинова. — М.: Русский импульс, 2009. — 192 с.: ил. — ISBN 978-5-902525-37-0.
Агентство CIP РГБ

В книге приводятся редкие материалы из жизни знаменитых людей, организовавших литературные «Среды», получившие название «Телешовских». В 1899 г. на квартире писателя Н. Д. Телешова возник Литературный кружок, который просуществовал вплоть до 1922 г. «Среда» была центром молодых литературно-художественных сил Москвы реалистического направления. Слово «Среда» стало восприниматься не столько как название дня недели, сколько средой, определяющей литературный климат России тех лет. Членами кружка были И. А. Бунин, Ю. А. Бунин, Л.Н. Андреев, А.И. Куприн, В.Г. Короленко, М. Горький, И. А Белоусов, А. А. Карзинкин и другие известные писатели и поэты. Почетными членами являлись Ф. И. Шаляпин, С. В. Рахманинов, А. П. Чехов и др. Зимой кружок собирался в Москве, а летом – в подмосковной Малаховке.

На форзацах использованы оригинальные автографы участников «Сред» и стихотворения Н. Д. Телешова.

ISBN 978-5-902525-37-0



Москва

«Питать благоговейные чувства к отдалённым предкам нынешнее
поколение, конечно, не может, потому что оно не питает
их к ближайшим, как и вообще к отцам;
но оно может убедиться, и даже очень легко,
что не иметь таких чувств не только
не составляет достоинства, а есть самый великий порок.
Это сознание будет началом исправления...»

Николай Фёдорович Фёдоров

К ЧИТАТЕЛЮ

Каждый автор, пишущий о прошлом нашей страны, пытается в меру своих сил и возможностей «ответить» Н. Ф. Фёдорову, великому русскому религиозному философу, и в каком-то смысле оправдаться перед ним и перед десятками и сотнями русских литераторов, художников, философов, актёров, оставивших нам богатейшее наследие. «Благоговейные чувства к предкам» свойственны и нам, живущим сегодня. У нас за плечами — трагический опыт XX столетия, которое научило нас, что без прошлого не бывает будущего. Осмыслить прошедшее, поклониться ему, проявить «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» и идти вперёд — такова задача сегодняшней отечественной культуры.

Главный герой этой книги — Николай Дмитриевич Телешов, замечательный русский писатель, ныне по-прежнему читаемый и популярный.

Н. Д. Телешов (1867—1957) —коренной москвич, купец по происхождению, автор рассказов и очерков из народной жизни, сказок и былин, он оказался современником множества важнейших событий отечественной культурной истории. Колоссальную роль в московской литературной жизни сыграла его «Среда» — кружок, литературное объединение. О нём в предисловии к трёхтомному собранию сочинений Телешова, вышедшему в 1956 г., писала В. Борисова:

Телешовские «Среды» были примечательным явлением в литературно-общественной жизни Москвы. «Среда» возникла в 1899 году как продолжение «Парнаса», литературного кружка с участием братьев Телешовых, братьев Буниных, поэтов-самоучек Слюзова и Белоусова. Писатели собирались на квартире у Н. Д. Телешова, читали свои произведения, обсуждали их; постепенно постоянным днём собраний стали среды, откуда и пошло название нового кружка. <...> «Среда» ни в какой степени не являлась официальным литературным обществом, она не была и программным объединением писателей, стоявших на какой-либо единой политической и литературной платформе. Социально-политические позиции ее членов, их литературные вкусы были достаточно разнообразны.

Телешовскому кружку посвящена и работа В. А. Цыбенко «У истоков русской литературы XX в.: Творческие объединения «”Среда” и “Знание”» (1969), и многие другие исследования.

Основатель музея Московского Художественного Академического театра (1923), Телешов более четверти века был бессменным его директором (можно себе представить, как трудно было ему в последние годы жизни каждый день пешком подниматься на восьмой этаж). Сотрудники Центрального (ныне — Российского) Государственного Архива лите-

ратуры и искусства считали Телешова одним из своих крёстных отцов — он был самым аккуратным членом их научного совета с первых дней существования архива.

Писатель и книговед Владимир Германович Лидин, председатель Комиссии по литературному наследию Н. Д. Телешова, в своей книге «Люди и встречи» (М.: Московский рабочий, 1965) вспоминал:

Военной холодной зимой 1942 года в редакцию газеты «Известия», в которой тогда я работал, поднялся высокий, несколько иконописного вида старик... Между воздушными тревогами Телешов выбрал время, чтобы разыскать меня в суровой наполовину опустевшей Москве. Мы оба были рады встрече, но оказалось, что Телешов разыскал меня и по непосредственно издательскому делу. В его руке была папка с воспоминаниями, над которыми старый писатель работал в своей холодной, тоже полуопустевшей квартире. Это была начальная рукопись, впоследствии ставшая популярной книгой Телешова «Записки писателя».

— Знаете, — сказал Телешов своим несколько глухим голосом, — ведь если я обо всём этом не напишу, то уж никто не напишет... Так и пропадёт многое для других поколений. А я ведь видел Тургенева и Островского, слышал Достоевского, дружил с Чеховым. Свои вещи читали у меня в доме Горький и Леонид Андреев... Разве имею я право не писать всё это. Вот и борюсь со слабостью, побуждаю себя, пишу каждый день хоть по нескольку строк.

Я невольно посмотрел на его руку, и меня поразили её почти дочерна прокопчённые пальцы. Телешов заметил мой взгляд и усмехнулся:

— Дом наш не отапливается, топлю печурку, а истопник я неважный...

В. Г. Лидин описывал и один из последних дней рождения Телешова.

...В одну из сред — именно в память «Среды» к этому дню и приспособили, — в небольшом кругу близких друзей отмечали день рождения Телешова. Ему было уже много лет — за 85. Всё ещё подтянутый, хотя годы порядком сгорбили его, отняли слух, Телешов вышел к праздничному столу. Он был бодр и радовался друзьям, круг которых столь поредел к концу его жизни. Умерли Горький, Серафимович, Шаляпин, Рахманинов, незадолго до этого вечера умер Иван Бунин.

В этот день рождения Телешова, по старым традициям «Сред», Николай Дмитриевич сам должен был читать отрывки из своих ещё не напечатанных и лишь недавно написанных воспоминаний. Он сел на своё место, надел очки и тихим голосом, как это свойственно людям с ослабшим слухом, стал читать воспоминания о театральной Москве. Каждый раз, когда речь заходила о Шаляпине, Неждановой или Рахманинове, вступали голос или музыка тех, о ком вспоминал Телешов: радиола через адаптер проигрывала пластинки, и тогда казалось, что здесь, на очередной «Среде», присутствуют те, кто был спутником жизни Телешова.

Кажется, это была последняя «Среда» у Телешовых, и все, кто побывал здесь в этот раз, как бы унесли с собой видение того глубокого и блестящего прошлого, в котором Николай Дмитриевич был не только своим человеком, но и одним из его организаторов.

На склоне лет Телешов писал о своём поколении: «Мы были современниками великого общественного подъёма и на всех путях жизни старались поддерживать и поддерживали этот подъём, не давали гаснуть огню и в меру наших сил укладывали в общую громаду, в общее здание камень за камнем, как бы ни были скромны силы каждого из нас. Мы верили в силу единения и труда». Долгие годы (с 1920 по 1950-е) Телешова не издавали, не помогло и то, что был он всю жизнь последовательным «реалистом». Но он продолжал писать и «Записки писателя» завершил уже в старости... Незадолго до своей кончины он с горечью сказал: «63 года я был писателем. Надеялся и до конца жизни быть таковым. Теперь времена меняются — и я стал никем». Однако в 1953 году «Записки писателя» всё-таки увидели свет, и имя Телешова заняло своё место в истории литературы XX века.

Но речь в книге «Телешовские “Среды”: Москва — Малаховка» пойдёт не только о Н. Д. Телешове. Вторым её героем — сложным и неоднородным — будет подмосковная Малаховка с её знаменитым Летним театром, «литературным гнездом», школой.... И театр, и вся Малаховка многим обязаны семье Телешовых.

Подмосковной дачной местностью Малаховка стала в 1880-х годах. К 1895 году здесь было уже триста дач, к 1908 году — в несколько раз больше. Торговые ряды, первая в Подмосковье электростанция, магазины, почтовое отделение, аптека, парфюмерия — всё это было к услугам отдыхающих. Стоял и храм в честь святых апостолов Петра и Павла.

В конце XIX века частью территории по правой стороне от железной дороги владели купцы Карзинкины — предки жены Николая Дмитриевича Елены Андреевны. Елена Андреевна получила здешнюю землю от родни в подарок к свадьбе. Летом супруги Телешовы жили в одной из принадлежавших им дач, а другие сдавали желающим.

Слева от дороги располагались владения Павла Алексеевича Соколова. Именно он построил здесь новое театральное здание после известного пожара 1910 года. Первое упоминание о Малаховке театральной относится к 1896 году: журнал «Театрал» писал о кружке актёров-любителей, игравших специально для рабочих Московско-Казанской железной дороги, «желая доставить <им> развлечение». «Любителями», кстати говоря, были служащие Управления железной дороги. В антрактах исполняла музыкальные произведения собственная капелла Московско-Казанской железной дороги.

Среди московских знакомых Николая Дмитриевича было множество знаменитых актёров. Он просил кое-кого дать в Малаховке спектакль-

другой. Благодаря общительности супругов Телешовых в Малаховку потянулась интеллигенция — «настоящая», как говорили тогда, театральная публика. Так эта подмосковная дачная местность и стала местом обитания творческих людей своего времени.

На лето и сами телешовские «Среды», и большинство их участников перемещались сюда, и культурная жизнь не только не замирала, а становилась порой ещё более насыщенной и интересной. Когда однажды журналист Александр Можаев навестил потомков Телешовых, то увидел, что «под столом стоит дорожный чемодан с инициалами..., сбоку приклеена пожелтевшая багажная квитанция станции Малаховка — словно только с дороги» (газета «Большой город», 22 июля 2003 г.).

...Так получилось, что до сих пор не существует книги, в которой бы рассказывалось о связи телешовских «Сред» (хотя о самих этих «Средах» написано немало) и малаховского театра. Пора заполнить этот пробел.

Книга посвящена мощной культурной традиции, которую породили «Среды» — и зимние, московские, и летние, малаховские. Дальние, затихающие во времени отголоски можно расслышать и в современной жизни: разбросанные по городам и весям потомки старой российской интеллигенции сохранили культурную память о своих духовных истоках... Импульсы, идущие из далекого «московско-малаховского» окружения Телешовых в современность, материализуются в непростых жизненных судьбах людей, так или иначе причастных к телешовскому кружку. Поэтому важная часть книги — серия очерков о людях, близких к «Средам» и к Малаховке. Невозможно обойти вниманием и историю семьи Телешовых — так воскрешается еще одна яркая страница жизни русских купцов-меценатов, которыми так богата была Россия начала XX века. Понять обстановку «Сред» и ситуацию, в которой жили и творили писатели этого периода, помогают не только художественные произведения (в первую очередь самого Н. Д. Телешова), но и обширные выдержки из документальных и мемуарных свидетельств, исследований краеведов — знатоков истории Малаховки. Для удобства чтения эти фрагменты выделены особым шрифтом. В книгу также включены произведения малаховцев — наших современников.

Прозаические произведения Телешова воспроизводятся по его трёхтомному собранию сочинений (М.: Худ. лит., 1956). Шуточная поэма «Кому из “Среды” жить хорошо», а также отрывки из писем и документов приводятся и цитируются по рукописям и машинописям, находящимся в домашнем собрании потомков Н. Д. Телешова. Ряд источников хранится в Российском Государственном архиве литературы и искусства.

I. ПИСАТЕЛЬ И ЕГО «СРЕДЫ»

«На почве любви к литературе»

«Оглядываясь в прошлое, — говорил один из участников «Среды» И. Белоусов, — видишь, какою жизнью жили “Среды”. В них было одно: любовь к великому русскому языку, честное, бережливое отношение к слову, а главной основой, выражаясь высоким слогом, было товарищеское объединение на почве любви к литературе на благо народа. Пусть эта основа, на которой держались старые “Среды”, перейдёт к молодому поколению...»

Телешовские литературные «Среды» были не единственным объединением «на почве любви к литературе». Одна из реалий московской и общероссийской литературной жизни начала XX века — Литературно-художественный кружок, существовавший в Москве с 1898 по 1920 год. Поскольку членов и желающих посетить собрания становилось всё больше (700 членов и 54 875 посещений в год!), правление кружка сняло в аренду помещение в особняке на Большой Дмитровке, д. 15. Среди его членов были Ю. И. Айхенвальд, Л. Н. Андреев, М. П. Арцыбашев, И. А. Белоусов, А. Белый, П. Д. Боборыкин, В. Я. Брюсов, В. В. Вересаев, М. О. Гершензон, В. А. Гиляровский, Б. К. Зайцев, С. С. Мамонтов, С. Г. Скиталец, Н. Д. Телешов, В. Ф. Ходасевич...

Устав Литературно-художественного кружка гласил, что его основная цель — «способствовать развитию литературы и изящных искусств...», обеспечивать: «а) общение литераторов и художников; б) исполнение совокупными силами членов кружка и приглашённых лиц различных сценических произведений, концертов, публичных чтений и т. п.; в) устройство художественных выставок, вечеров и собраний» (цит. по: Шруба М. Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: Словарь. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 107). Это был писательский клуб, место дружеских встреч, банкетов, юбилейных торжеств, публичных лекций, докладов, диспутов... Вдобавок там существовали библиотека, читальня, бильярд. В помещениях собирались члены телешовских «Сред», «Молодая “Среда”», «Общество деятелей периодической печати и литературы», «Общество свободной эстетики», «Суриковский литературно-музыкальный кружок».

Довольно долго в 90-х годах позапрошлого столетия при журнале «Детское чтение» в Москве существовал Тихомировский кружок, где проводились так называемые Тихомировские чтения. Дмитрий Иванович Тихомиров, автор «Букваря», «Элементарного курса грамматики» и «Азбуки правописания», был другом Д. Н. Мамина-Сибиряка и «дяди Гиляя» — В. А. Гиляровского. Стоило Мамину-Сибиряку оказаться в Москве, как он

тут же отправлялся к Тихомирову — своему внимательному и чуткому издателю. Конечно, такое отношение Дмитрий Иванович распространял на всех своих авторов, многим нередко помогал материально, хотя сам был не очень богат и нельзя сказать, чтобы особенно удачлив. Ходили к Тихомирову и педагоги, любившие поговорить о судьбах российского народного образования — порой разговоры эти из-за витиеватости и многословия становились скучноватыми, чем вызывали шутки в кругах московских острословов. На Тихомировских чтениях можно было встретить И. А. Бунина, Н. Д. Телешова...

Ещё один «редакционный кружок» существовал при «Вестнике воспитания». С конца 1890-х редактором журнала стал Юлий Алексеевич Бунин, брат великого русского писателя И. А. Бунина. Благодаря Юлию Алексеевичу «Вестник...» стал одним из лучших российских педагогических журналов. Когда в 1915 году московская общественность отмечала четвертьвековой юбилей журнала, то официальная церемония почти сразу превратилась в «чествование Юлия». Разумеется, Иван Алексеевич принимал активнейшее участие в работе издания.

Существовали и «шмаровинские» «Среды» (1886–1924 гг.). Их инициатором и «хозяином» был знаток и любитель искусства В. Е. Шмаровин. Эти «Среды» проходили на Большой Молчановке, 25. Постоянными участниками были К. А. Коровин, И. И. Левитан, Н. А. Андреев, А. С. Голубкина, иногда приходили В. И. Суриков, братья Васнецовы, некоторые артисты, композиторы. Из писателей и поэтов на «Средах» можно было встретить «дядю Гиляя» (В. А. Гиляровского), поэтессу Мирру Лохвицкую, В. Я. Брюсова. Бывал здесь и И. А. Бунин.

«Среды», о которых говорится в этой книге, — детище Н. Д. Телешова. Литературно-художественный кружок возник в октябре 1899 г. в московской квартире Телешовых по адресу Чистопрудный бульвар, 21 (квартиру купили купцы Карзинкины к свадьбе Николая Дмитриевича и Елены Андреевны). Со временем «Среды» перешли на Покровский бульвар, 18/15, и просуществовали вплоть до 1922 года. «Время от времени у меня стала собираться молодёжь, начинавшая писать — кто стихи, кто прозу, — вспоминал о том времени сам Николай Дмитриевич. — Затем группа стала расширяться. Определённых дней у нас не было установлено, а собирались мы, когда случится. Сначала это была маленькая группа в несколько человек, читали, пели, декламировали».

Председателем литературных «Сред» более двух десятилетий был Ю. А. Бунин. Его уникальную роль в жизни Ивана Алексеевича Бунина преувеличить трудно. Юлий Алексеевич Бунин (1857–1921), известный в своё время литературно-общественный деятель, публицист и редактор, любитель и знаток русской и мировой литературы, начинал как революционер-народник. Он публиковал статьи в нелегальной печати, за свою антиправительственную деятельность был сослан из столицы в орловское

имение родителей. В селе Озерки, имении умершей бабушки, братья — младший, совсем ещё маленький, и старший, за плечами которого был солидный и драматичный жизненный опыт — по-настоящему сблизились, сроднились. Юлий стал первым домашним учителем Ивана. Они читали, гуляли, разговаривали, причём старший брат много рассказывал о подпольной работе, о народнической организации «Черный передел», о своих соратниках — революционерах Германе Лопатине, Александре Желябове, Софье Перовской.

Юлий Алексеевич сразу же заметил поэтическую одарённость Ивана. Он поощрял литературные занятия брата. Именно Юлию принадлежит инициатива публикации в столичном журнале «Родина» ранних стихотворных опытов И. А. Бунина — стихотворений «Над могилой С. Я. Надсона» и «Деревенский нищий». Чем взрослее становился Иван, тем больше сближался с братом. В 1891 году он писал ему: «...у меня есть человек, в дружбе и участии которого никогда не придется разочароваться, с которым мне не будет страшно...Понимаешь ты меня?» А в романе «Жизнь Арсеньева» мы видим литературный портрет Юлия Алексеевича — он послужил прототипом старшего брата героя-рассказчика.

По воспоминаниям В. Г. Лидина (М.: Современник, 1976), Ю. А. Бунин собирался воссоздать историю «Сред» день за днём:

— Знаете, чем я занят? — сказал он мне. — Пишу историю нашей «Среды», день за днём, всю хронологию. Когда-нибудь пригодится!

В ту пору всё же казалось, что это никогда уже не пригодится, а догорело, не оставив и пепла. Однако именно ныне рукопись эта, хранящаяся в рукописном отделении Библиотеки имени Ленина, может послужить бесценным справочником для литературоведов, которые пишут историю русской литературы предреволюционной поры.

К сожалению, отыскать в Ленинской (теперь Российской Государственной библиотеке) такую рукопись не удалось. Существует другая, значительно менее подробная: она хранится в семейном архиве Телешовых, а ранее находилась в собрании Лидина.

...Литературный кружок «Среда», являвшийся с 1913 г. по 1919 г. комиссией литературных собеседований Московского общества помощи литераторам и журналистам, был основан осенью 1899 года небольшою группою писателей.

Всё существование кружка может быть разбито на 4 периода: 1-й — с основания кружка до 1906 года; 2-й — 1906 —1910 годы; 3-й — с начала 1911 года по сентябрь 1913 года; 4-й — с осени 1913 года по 20 мая /2 июня 1918 г.

В первый период «Среда» являлась сравнительно небольшим кружком людей, собиравшихся еженедельно в зимние сезоны на литературные журфиксы[1] *по средам. Во второй период жизнь литературной компании почти совсем замерла, и «Среда» лишь изредка собиралась, но уже не на частной квартире, а в помещении литературного кружка. В январе 1911 года, с которого начинается третий период существования кружка, «Среда» возродилась к новой жизни, быстро развившись в обширную литературную организацию. Наконец, четвёртый период начинается со времени присоединения «Среды» к Московскому обществу помощи литераторам и журналистам, когда из частного кружка она превращается в кружок легализованный. Между всеми этими четырьмя периодами в жизни «Среды» была прямая непосредственная связь.*

Учредителями «Среды» в 1899 г. были: Н. П. Ашешов, И. А. Бунин, Ю. А. Бунин, И. А. Белоусов, С. С. Голоушев, Е. П. Гославский, А. А. Карзинкин, С. Д. Махалов, Е. А. Телешова, Н. Д. Телешов, Н. И. Тимковский и Л. А. Хитрово.

Кружок стал скоро расширяться и года через два-три заключал в себе почти всех наиболее видных беллетристов и поэтов того времени, появлявшихся большею частью в сборнике товарищества «Знание». Членами «Среды» сделались:

Максим Горький, Леонид Андреев, В. В. Вересаев-Смидович, С. Г. Скиталец-Петров, А. С. Серафимович-Попов, С. А. Найдёнов-Алексеев, А. И. Куприн, Е. Н. Чириков, Б. К. Зайцев и др.

«Среды» посещали писатели старшего поколения, такие как П. Д. Боборыкин и Н. Н. Златовратский. Кроме того, на собраниях «Сред» бывали А. П. Чехов, В. Г. Короленко, Д. Н. Мамин-Сибиряк, С. Я. Елпатьевский и проч.

Наконец, посетителями «Среды» были представители других отраслей искусства и интеллигентных профессий, а именно: артисты Ф. И. Шаляпин, О. Л. Книппер, М. Ф. Андреева, А. И. Адашев, В. И. Качалов и др.

Художники — В. А. Серов, В. В. Переплётчиков, К. К. Первухин, В. И. Россинский, Э. Я. Шанке; учёные — А. А. Кизеветтер, В. А. Гольцев, А. Е. Грузинский, адвокаты, врачи и проч.

Вместе с названными лицами на «Средах» бывали их супруги и иные близкие им люди.

Несмотря на такое разнообразие кружка, он всё-таки был довольно замкнутым и ограниченным в числе — собирались максимум 40—50 человек и в среднем не более 20—25...

На «Среде» же в честь И. А. Бунина присутствовало 200 человек...

В первые годы «Среда» собиралась почти исключительно у Николая Дмитриевича Телешова, и самый кружок обычно именовался «Телешовским».

[1] Журфиксами (с французского jour-fixe — приемный день или вечер в течение недели или месяца, назначенный на весь сезон) называли определенный день недели в каком-либо дворянском или интеллигентском доме, предназначенный для регулярного приема гостей. На журфикс приезжали без приглашения.

И не потому только, что находил свой приют у Н. Д. Телешова, но и потому, что последний самым сердечным образом относился к «Среде», умело и с энергией объединял своих товарищей...

...Наиболее видные представители «нового искусства» такие как В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Андрей Белый бывали иногда гостями на «Среде», и с ними велись оживлённые беседы...

...В Литературно-художественном кружке, как и в прочих клубах, нередко устраивались разного рода товарищеские чаи и ужины, на которых, кроме членов их кружка, по записи последних допускались гости.

На собраниях выступали артисты московских театров: А. И. Адашев, О. Л. Книппер, М. Ф. Андреева, П. П. Лучинин, Е. А. Полевицкая, О. А. Правдин, А. И. Третьяков, В. Л. Юренев, музыканты и певцы: А. Н. Корещенко, Н. А. Маныкин-Невструев, Е. Н. Юрасовская.

Кружок «Среда» устраивал ещё публичные вечера с благотворительной целью.

Так, в 1912 г. были поставлены на сцене литературно-художественного кружка пьесы членов «Среды»: «Неприятель», «Благотворительность» С. Д. Махалова-Разумовского, «Мистификация» И. С. Шмелёва и «В гостях у Хмуровых» С. А. Найдёнова-Алексеева.

...Оставаясь чисто литературной организацией, «Среда» не могла не реагировать на некоторые явления общественно-политической жизни, особенно на такие, которые так или иначе связаны с интересами литературы и искусства.

Знакомясь с материалами Ю. А. Бунина в Отделе рукописей РГБ, я встретила интересное описание литературного кружка, но не Московского, а провинциального, существовавшего в 1890-х годах на Полтавщине, до переезда Ю. А. Бунина в Москву. Судя по всему, создателем «интеллигентского клуба» (так назывался кружок) был сам Юлий Алексеевич. В клубе собирались 50—60 человек. «Читались рефераты на разные литературные и общественные темы с очень оживлёнными и горячими дебатами... На одном из собраний читал, между прочим, свой рассказ “На даче” мой брат Иван Алексеевич. После чтения обычно звучала музыка и пение, и вечера заканчивались весёлыми товарищескими ужинами...». У старшего Бунина был серьёзный опыт руководства литературным объединением — именно поэтому он и стал бессменным председателем «Сред».

Телешовская «Среда» имела свой Устав, Совет, пользовалась всеми правами и обязанностями юридического лица. Права и обязанности имели и её члены. Неслучайна связь «Среды» с издательством, или книжным товариществом «Знание», и с Московским литературно-художественным кружком. Петербургское «Знание» было детищем Максима Горького и объединило вокруг себя литераторов-реалистов: в то время, как известно, в России было несколько литературных направлений (главными соперниками реализма в борьбе за чи-

тательские пристрастия был в начале XX века символизм во главе с В. Я. Брюсовым). Существовали «писатели-знаньевцы» и «поэты-знаньевцы». Товарищество было основано в 1889 году — сначала для распространения научно-популярной литературы, потом, после прихода Горького, для печати книг, написанных представителями «левой», «демократической» интеллигенции. Эти авторы считали себя, с одной стороны, продолжателями народников, революционных демократов, а с другой — исповедовали эстетические принципы Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Н. А. Добролюбова, Н. А. Некрасова... Круг авторов «Знания» в значительной степени пересекался с кругом завсегдатаев «Сред»: здесь мы встречаемся с именами Горького и Бунина, Серафимовича и Телешова, Леонида Андреева, Скитальца, Вересаева, Куприна... С 1904 по 1913 год издательство выпустило сорок литературных сборников, пользовавшихся популярностью.

На фоне бурной литературно-артистической жизни начала XX в. «Среда» вовсе не затерялась. Наоборот: к 1908 году именно это объединение становится центром молодых литературно-художественных сил Москвы реалистического направления. Слово «Среда» воспринимается уже не столько как название дня недели, сколько как нарицательное слово, синоним «обстановки», «микроклимата», определяющего литературную ситуацию России тех лет.

Приведу пример. В 1913 году состоялось закрытие «Знания». Случилось это вовсе не по вине правительства — просто после отъезда Горького за границу популярные сборники, с одной стороны, стали менять свою направленность, уходить от «реализма», а с другой — увы, начал падать художественный уровень публикуемых произведений. В результате тиражи существенно уменьшились, выход книг стал приносить убытки. Зато организованное кружками «Среда» и «Молодая "Среда"» «Книгоиздательство писателей в Москве» просуществовало до 1923 года. А в годы работы оно выпускало популярнейшие серии — «Народно-школьная библиотека», «Библиотека польских писателей», «Дешёвая библиотека», «Культурно-просветительская библиотека», «Библиотека иностранных писателей». Надо сказать, что предприятие очень быстро стало прибыльным. И напомнить: за всей его обширной деятельностью стоял Николай Дмитриевич Телешов. Воистину, «генерал русской литературы». При Телешове невозможно было говорить неуважительно о ком-либо из писателей, хотя бы по размерам дарования и скромного. Корректный и внимательный, душевный и просто добрый, он пользовался всеобщей любовью. Со многими членами «Среды» его связывали долгие годы дружбы. Например, с Шаляпиным, Буниным, Леонидом Андреевым...

Летом дом Телешовых в Малаховке всегда был открыт для друзей. Телешовы любили эту подмосковную дачную местность и много для неё сделали. Частым их гостем был Иван Алексеевич Бунин. Конечно же, собратья по «Среде» приезжали в Малаховку в хлебосольный дом Теле-

шовых с его очаровательной хозяйкой не только для того, чтобы насладиться общением творческих душ, но и вкусить прежде всего прелести целебной природы, называемой между дачниками Подмосковной Швейцарией. Беседы беседами, но к услугам гостей всегда был теннис, роскошное озеро с пляжем и купанием, катание в лодках. А вечером — игры и песни.

Деловые и серьёзные беседы на Телешовских «Средах» не исключали шуток и смеха. Вот строки из воспоминаний Николая Дмитриевича, хранящихся в семейном архиве:

В 1918 году мы жили на даче в Малаховке очень большой компанией... Жили всей семьёй Лужские (артист МХАТа), его сын Калужский, только что женившийся на моей племяннице Лизе Телешовой, тоже артисты МХАТа. Жила жена Шаляпина с дочерьми и сыновьями, гостил молодой композитор Потоцкий. К ним часто приезжали знакомые молодые и немолодые... играли в теннис, катались в лодках, а по вечерам иногда то пели, то соревновались в рифмах. На это мастер был Вс. Вербицкий. Он придумывал трудные для рифмы слова, и мы изо всех сил старались выдержать испытания. Конечно, всё это делалось шутя. Но было весело... Помню, как меня втянули в это соревнование. Хотя я стихов не писал уже с юности.

К словам — ангел и ландыш надо было подобрать рифмы. <...>

Я всё-таки вышел из положения, несмотря на бессмысленность самого стиха.

Главное надо было срифмовать.

Пролетал по небу ангел.
Светел был и как туман бел.
В встречу мчался с криком демон,
Увидал — и стал вдруг нем он.

Вариант:

Пролетал по небу ангел,
А козёл в тот миг кочан ел.

на ландыш:

Для веранды этот ландыш
Это роза — для веранды-ж.

Вообще дурачились и выдумывали много всякого вздора, но всё позабылось, и только эти две рифмы почему-то в памяти. Впрочем, вот ещё рифма на цветок — амариллис:

Пока мы в бане парились,
Пока котлеты жарились,
В саду расцвёл амариллис.

Мы в сад бегом ударились —
Пыхтели и мытарились.
Уж очень все мы зарились
Увидеть цвет амариллис,
Но в сад вошли две пары лис
И раньше нас управились:
Сорвали цвет амариллис.

Глупо конечно всё это, но вопрос был в рифмах, и отвечать надо было мгновенно.

Когда кружок окрестили «Средой», кто-то во время выпивки по этому случаю пошутил: «А как бы, братцы, не заели нас «Среды».

Бунин тут же сочинил экспромт:

Я не боюся, господа,
Что может нас заесть «Среда»;
Но я боюся другой беды,
Вот не пропить бы нам «Среды».

Так, мешая дело с шутками, а работу с пустяками, мы много лет дружили и хорошо жили...

Участники литературных «Сред» умели не только ценить русское слово — могли и поиграть словцом... Но не лучше ли послушать наконец самого Николая Дмитриевича, творившего то в шутку, то всерьёз, доброго, мягкого, всё помнившего, все сокровища своей памяти оставившего нам — своим потомкам. Рассказы, которые мы публикуем здесь, связаны с важными для Николая Дмитриевича «малаховскими» мотивами.

На протяжении всей своей долгой писательской жизни Николай Дмитриевич Телешов оставался верен демократическим убеждениям. Вот почему в его творчестве много рассказов из народной жизни – как, например, в «Слепцах», навеянных, кроме того, отзвуками революции 1905 года.

Н. Д. ТЕЛЕШОВ
Из творческого наследия

Слепцы
Рассказ

Это было в глухом уголке России.

Я ехал уже несколько дней на перекладных. Перед моими глазами чередовались деревни, поля, леса и пустынные проселки. Лошади были тощи, люди угрюмы, а избы нередко разорены.

Неурожай чувствовался повсюду. Приближалась голодная зима. Лишние рты уже двинулись по миру с сумой и с рукой.

И вот однажды, когда путь наш упёрся в холодную серую реку и было нужно переезжать её на пароме, я встретил на барке среди других попутчиков слепого старика лет семидесяти, с седой бородой, с седыми вьющимися на висках волосами; они выбивались у него из-под картуза и странно шевелились на ветру, точно трепетали, как осенние листья. И борода у него, и брови были седые; облезлый кафтан, и холщовая сумка через плечо, и старые валенки на ногах казались тоже седыми и ветхими; даже высокая трость, с которой слепец не разлучался, была из какого-то дерева мутного тона и тоже казалась седой и древней.

Окружённый молчаливыми попутчиками, дед стоял посреди парома, опираясь на палку, точно на посох, и держа её впереди себя обеими руками; спина его сгорбилась, слепые глаза устремились бесцельно и неподвижно куда-то вперёд, будто видели что-то перед собою, чего не видел никто другой.

Глядя куда-то — ввысь и вперёд — молодыми острыми глазами, стояли возле старика по обе стороны двое детей — мальчик и девочка, лет по десяти. Старик пел, а дети вторили ему тихими несмелыми голосами. По его морщинистому лицу, по суровым складкам над носом было заметно, что он напрягает всю свою память, чтобы не перепутать песню, которую слыхивал он в юности от таких же дедов, как теперь сам, слыхивал и запомнил, может быть, полвека тому назад — о святом Егорье Храбром и о злодее царище Сам-Демьянище, о насилиях одного и о победном шествии другого.

— Ты, святой Егорий Храбрай! — вытягивал дед бесстрастным голосом. — Сказывай, которую веру ты веруешь, которому богу ты молишься?..

Что заставляло его петь, я не знаю, но думаю, что не только голод, но и стыд перед семьёй за свой лишний рот.

И вот все трое они покинули дом, вышли на реку, на большие дороги и бродят среди чужих, собирая в шапку гроши и копейки и недоеденные куски, — но нет им попрека от близких и родных за даровой хлеб.

Долго пели они о кознях Демьянища, пели о том, как велел он Егорья во пилы пилить, в топоры рубить, на воде топить, во смоле варить, — но:

— Ничаво Егорью не вредилося...

Чем дальше, тем всё более и всё ярче сказывалось в песне бессилие царища Демьянища покорить Егория, и он повелел закопать его в глубокий погреб, а, закопавши, сам над ним землю притаптывал и сам себе в веселье приговаривал:

— Не видать теперь Егорью свету белого, ни свету белого да ни солнца красного!

Старик остановился на этих словах, замолчали и дети. Не то он забыл, что поётся далее, не то умышленно, прикрыв ладонью рот, покашлял в руку и вдруг заголосил быстро, отчётливо и громко, и дети закричали за ним тоже громко и быстро:

— Как по божьему повелению, по Егорьеву умолению восходила туча гремучая, подымалися ветры буйные на святой Руси, подымалися ветры со вихорем...

И я заметил, что все слушатели насторожились, когда старик запел о том, как разметались от бури пески и всякие защиты, погибли все старания Демьянища — и святой Егорий, снова свободный, гневный и храбрый

Поверху земли стоит,
Поверху света русского.

Барка плыла уже посредине реки, кругом нас была вода, зыбкая, холодная и блестящая; впереди лежал берег, а по нему, разрезая его поперёк, вилась проезжая дорога и исчезала за недалёким холмом.

— Бла-сло-ви, родитель-матушка! — восклицал старик дрожащим тягучим голосом. — Бла-сло-ви пойтись на царищу на Демьянищу, отплатить ему его хлеб-соль.

И дети наивными бесстрастными голосами, подпевая за дедом, рассказывали вместе с ним про Демьянищу, рассказывали, как «настращался» он Егорием и насылал на него стадо серых волков.

— И ни пройти Егорью, ни проехати.

Голос певца был слаб и стар и как будто надорван, но это даже усиливало впечатление, словно голос этот долетал до нас откуда-то из глубины веков.

— А святой Егорий, он волкам сказал: ой вы, волки, волки серые, разойдитеся, разбредитеся по двое, да по трое, да по единому!

Все мы сидели вокруг и глядели на деда, а он глядел куда-то выше и дальше нас своими сощуренными слепыми глазами. Когда он ошибался или, забывая песню, замолкал, то вместе с ним ошибались или замолкали и дети, и оба с надеждой взглядывали на старика, а тот ещё крепче

сдвигал морщины на лбу, точно насилуя свою непокорную память.

Долгая песня всё ещё не кончалась, всё ещё журчали три тихих голоса, как три ручья сливались с разных сторон в одно русло.

Пели уже о том, как приблизился гневный Егорий к дворцу Демьянища.

— И забросался царь, заметался царь по своим белым каменным палатам: ты, святой Егорий Храбрай, дай ты мне сроку на три года!

— Не даю тебе сроку ни минутою! — воскликнул старик угрожающим голосом, дети повторили за ним:

— Ни минутою!

Наступило молчание.

Плескалась о барку холодная вода, тянулся из рук в руки мокрый канат, и казалось, будто не мы плывём к берегу, а берег подплывает к нам его лугами, дорогами и серой деревней наверху холма, куда понесёт старик свою суму и свою песню.

Думалось: что ждёт его на берегу? И хотелось пожелать, чтоб на его пути скорее разбежалось врозь всё серое, всё алчное, всё злое, что держало в холоде, в голоде, во мраке и его и других. И невольно вспоминались мне простые, почти ласковые слова его песни:

«Разойдитеся вы, разбредитеся вы по двое, да по трое, да по единому...»

Барка причалила к берегу. В шапке у старика зазвенели мелкие деньги. Над пустынной рекой носились голодные чайки, иногда падая в зыбь и выхватывая с налёта голодную рыбу. Было холодно и уныло. Впереди лежали тихие деревни и жил тихою жизнью голодный народ.

1905

Верный друг
Рассказ

I

В старой бревенчатой мельнице вертелось и шумело огромное мокрое колесо. На него сверху, из пруда, бежала вода, ворочала его на оси и, падая вниз, в канаву, утекала в речку. Тут же на мельнице кружились тяжёлые серые жернова, и все это так шумело и грохотало, что тряслись стены и было страшно лежать возле постройки.

Но старая чёрная собака с печальными умными глазами, по прозвищу «Хвостов», лежала у самой стены, растянувшись во весь рост на одном боку и подставляя другой бок под солнце.

Был славный весенний день. С полей тянуло запахом рыхлой земли, из лесов — свежими почками, а от пруда — зимней прошлогодней тиной. На солнце было приятно погреть старые кости, нагреть шерсть и кожу, а потом поворотиться и погреть другой бок; при этом сладко дремалось и не хотелось ничего делать.

Хвостов не боялся шума и дрожания стен, он слишком хорошо всё знал, что здесь делается, и, не открывая глаз, мог бы рассказать обо всем. Он знал, что мельница не развалится, как бы она ни дрожала; знал, что внутри её сейчас стоит, точно туман над болотами, белая мучная пыль и что в этой пыли суетится мельник; у него и сапоги, и спина в этой муке, и лицо, и борода, и даже ресницы; знал, что вверху, под крышей, где пробито слуховое окно, воркуют и кружатся голуби, а на самой крыше, держась лапами за железные гребни, сидят вороны; они любят здесь посидеть, чтобы покаркать неизвестно на что, подразнить собак и при удобном случае своровать у них из кормушки кости и корки.

Хвостову было, впрочем, не до них: он был сыт, потому что под старость не хотелось много наедаться, да и зубы не годились уже для костей.

Ему было немного досадно только на то, что вороны, когда утащат из миски кость, будут думать о себе, что они очень ловки и умны. Не следовало бы позволять им смеяться над собой, но — всё равно! Лучше полежать и подремать; пусть эти длинноносые дуры воображают о себе, что хотят, костей же ему на самом деле вовсе не было жалко.

Солнце хорошо грело. Чувствовалось приближение лета, и не хотелось сейчас двинуться с места. Придется ли дожить до будущей весны — кто знает?.. Позади было уже много, много лет жизни — лет двенадцать...

Хвостов открыл нехотя один глаз и взглянул: деревья стояли чуть подёрнутые свежими почками, а над ними было голубое ясное небо, и солнце грело шерсть так хорошо и приятно, что не стоило из-за ворон вставать и сердиться.

Однако три вороны — его вечные враги и пересмешники — начали прыгать возле кормушки, косясь тоже одним глазом на Хвостова, как и он на них.

«Ну вас... ешьте! — думал Хвостов.— Только не смейте дразнить меня. А то будете каркать: зевака! зевака!.. А я вовсе не зевака: я только стар и устал, но всё вижу и не сержусь».

Он далее зажмурился, чтобы показать им, что спит и позволяет им делать всё что угодно.

Вдруг резкая боль заставила его не только открыть оба глаза, но даже вскочить на ноги и залаять. Две вороны схватили из миски еду, а третья вырвала клювом из его пушистого хвоста клок шерсти, и все три улетели на крышу.

«Ну, уж это... безобразие!..» — подумал Хвостов и рассердился.

Он видел ворон на крыше и ту, которая ещё держала в клюве его шерсть, и заворчал на них:

— Вот я вас ужо! Такую трёпку задам, что будете помнить.

— Крр! Крр! Крыша высоко! — насмешливо отвечали вороны.— До нас не допрыгнуть.

В прежнее время он, конечно, стал бы прыгать на стену, но теперь он знал, что все это вздор и что на крышу не вспрыгнешь... А если бы даже и попасть на крышу, то враги перелетят на дерево и оттуда ещё обиднее станут его дразнить.

Знал он и то, для чего понадобился вороне клок его шерсти: в гнезде холодно, особенно детям вороны, а с собак, с лошадей, с овец можно наворовать хорошую и теплую постель.

— Конечно, всякой матери своих детей жалко. Но все-таки это — безобразие! — ворчал про себя Хвостов и счёл за лучшее уйти в конуру, где ещё долго его сердце не могло успокоиться.

II

Хвостов очень любил весну.

Ему нравилось глядеть, как тает снег, как начинают журчать ручьи, начинает зеленеть трава и одеваться лес. Он чувствовал, что молодеет весною, и это ему было приятно.

Как и все старики, он считал, что всем на свете жилось хорошо именно тогда, когда он был молодой: всё было тогда по-другому и лучше — и порядки, и еда, и даже вороны, которые не были так бессовестны, как теперешние.

Он тяжело вздыхал и задумывался.

Иногда он любил вспоминать прошедшее, особенно весною. Вытянет передние лапы, положит на них голову и с удовольствием вспоминает обо всём, что было, чего уж нет, а на сердце у него делается так хорошо, что он засыпает сладко и тихо, и сны ему снятся весёлые и легкие.

«Петух у нас здесь был... красавец! — с удовольствием вспоминал Хвостов.— Весь разноцветный, яркий, с длинными перьями... А теперь что за петух: чёрный, кургузый... оборванец какой-то!»

Вспоминал он и самого себя, когда был подростком, с белыми острыми зубами и толстыми нескладными лапами. Десны у него, когда вырастали зубы, очень чесались, и было необходимо что-нибудь грызть, чтобы отделаться от надоедливого зуда. И сколько он тогда перегрыз всякого хлама — не сочтешь! Грыз туфли, альбомы, резиновые калоши, изжевал хозяйскую тросточку и растерзал кухаркин башмак. Его и пороли много раз за это и запирали за решетку возле погреба.

«Нет! Этим не надуешь!» — думал он тогда про дворника.

Лапы у него были сильные и когти крепкие. Он подкапывал под решеткой землю и, весь в траве и в пыли, весело подползал под забор и как бешеный мчался по воле с лаем, с визгом, радостный и счастливый, пугая вокруг кошек и птиц.

А один раз чуть не случилась беда. Была у хозяйки гостья и позабыла на скамейке в саду соломенную шляпу с цветами и перьями... Уж и задал же ей трёпку молодой Хвостов! Он рвал её в клочья, ломал лапами, мотал головой, расшвыривая остатки, и в пылу увлечения даже проглотил что-то острое и колючее.

За это преступление его решили тогда застрелить.

И, конечно бы, застрелили, если б не выручил его старый мельник.

Он сказал барыне:

— Пёс дурашливый — это верно. Но только из него хорошая собака образуется, потому что он — помесь. Один хвост чего стоит!

Потом мельник надел ему на шею веревку и повёл к себе на мельницу.

Там он привязал его к дереву, сходил, не торопясь, домой за кнутом и сказал:

— Вот что: мне твой хвост понравился, а каков ты сам, я ещё не знаю. Поэтому, значит, хвост тебя и спас от неминуемой смерти. Поэтому ты и будешь теперь называться Хвостов,— понимаешь?.. Отныне я тебе хозяин, — продолжал мельник. — Ни отца, ни матери не должен ты теперь помнить, ни барина, ни барыни. Теперь я тебе и барин и барыня, теперь я тебе — и мать, и отец, и царь, и владыка! Служи мне верой и правдой и бойся меня пуще грома и молнии!

И мельник начал бить Хвостова кнутом изо всей силы по чему попало.

Было очень больно и обидно. Хвостов понял, что тут шутки плохи, и решил покориться, надеясь сегодня же ночью убежать в лес.

Но мельник был осторожен и продержал его на веревке целую неделю. Он сытно и вкусно кормил его, гладил и ласкал каждый день и никогда более не приносил кнута.

«А ведь он хозяин ничего... хороший», — решил наконец Хвостов и даже начал уважать и любить мельника.

Мельник был человеком крайним: либо работает, не зная покоя ни днём ни ночью, либо гуляет и день и ночь и кричит не своим голосом какие-то песни и играет на гармонике.

Хвостов в таких случаях любил выть под звуки гармоники. Мельник играл, а Хвостов выл. Поднимет вверх голову, распустит уши, точно по ветру, и тянет на высокой ноте: «Ам-ам! у-у-о-о!..»

Мельник иногда сердился, а иногда приговаривал дружески:

— Пой, Хвостов, пой! Пой, милый, пой!

И всегда так бывало, как только мельник принимался играть: мельник — играть, а Хвостов — выть.

III

Вскоре все порядки и все дела на мельнице стали ему известны. Прежде всего он понял, что его зовут теперь Хвостов, а не Джек, как, бывало, звала его барыня. И ему очень было забавно, когда на мельницу приезжал с возом хлеба крестьянин, которого тоже все называли Хвостовым.

Егор Хвостов был низкорослый, крепкий мужичок и, когда привозил на мельницу мешки с зерном, брал с собой на телегу и Жучку, такую же, как он сам, низкорослую собаку, рыжеватую, похожую на лисицу, с узкой веселой мордочкой.

Один Хвостов был приятель мельнику, а другой Хвостов — приятель Жучке, и все они весело и хорошо проводили время, пока мельница делала свое дело и обращала рожь в белую муку.

Знал он и кошку Маруську. Знал, что эта кошка — здешняя, такая же «своя», как и сам Хвостов, и никогда не собирался её загрызть или обидеть, однако лаял на неё при каждой встрече, считая, что иначе будет неприлично для хорошей собаки. Когда у Маруськи бывали котята, она становилась необыкновенно злой и храброй, и если правду сказать, то и страшной: она фыркала на Хвостова и грозилась надавать таких пощечин, что не скоро залижешь. Все-таки Хвостов считал своим долгом иногда подойти к кошкиной лазейке под домом и, желая, в сущности, Маруське всякого добра, облаять и обнюхать все входы и выходы.

Были у Хвостова и неприятности с мельником. Особенно памятен ему один осенний день. В этот день на мельнице перебывало народу так много, что трудно было запомнить все лица: кто знакомый, кто незнакомый. Весь двор был уставлен телегами; многие даже ночевали, дожи-

даясь очереди. И в эту ночь пропало у мельника ружьё. Куда оно девалось, до сих пор неизвестно.

Поутру мельник вышел сердитый и несправедливый.

— Хвостов! — крикнул он грубо и резко. Хвостов, предчувствуя неприятность, подбежал и сел перед ним.

— Ты что же, такой-сякой,—закричал мельник, — хлеб мой ешь, а своего дела не исполняешь?..

Хвостов притих и насторожился.

— Где моё ружье? Подай сюда, такой-сякой!.. Сторож ты мне или не сторож? За что я тебя кормлю, а? На что ты мне после этого нужен, а?

Он больно ткнул его в скулу сапогом и плюнул в глаза:

— У-у, злая рота!

Хвостов понял, в чём дело, и страшно обиделся и огорчился.

«За что ты меня кормишь?.. На что я тебе после этого нужен?..» — думал он с грустью и был так оскорблен и унижен, что решил сегодня же покинуть дом и уйти куда глаза глядят.

Было жалко и дома. Он здесь привык ко всему и полюбил мельницу, и уходить неизвестно куда было страшно, но — что решено, то решено!

Забившись в конуру, он не спал всю ночь, а когда взошло солнце, он грустно и тихо побрел по двору, обнюхал все знакомые и милые места, взобрался по лестнице на плотину, поглядел на широкий пруд, в котором, бывало, купался в жаркие дни, оглянулся вправо и влево на дорожку, по которой любил, бывало, бегать, и всё ему показалось милым и родным, и было тяжело расставаться со всем этим...

Он долго вздыхал и, свернувшись в комок, пробовал заснуть, чтобы забыть обиду, но обида была сильнее сна.

«Нет! Что решено, то решено! — твердо подумал Хвостов.— Собака опасности не боится!»

Он встал на ноги, поднял кверху голову и завыл, глядя на мельницу, на свою конуру и на дом, где жил мельник. Потом, по торопясь, побежал вдоль по дороге, не оглядываясь, не вспоминая и ничего уже не любя, искать нового счастья.

Из оврагов пахло грибами и вялыми листьями, из речки пахло рыбой, а солнце хорошо светило и грело, и Хвостову казалось, что он счастлив, хотя перед глазами всё время стояли мельница и конура, которые были, однако, далеко позади...

Куда бежал, Хвостов сам не знал и, наконец, повернул в тёмный сырой лес по узкой тропинке.

— Все равно!

IV

Через недолю Хвостов, похудевший, голодный и виноватый, вернулся на мельницу, но в его конуре сидела какая-то другая собака, которая на него лаяла, как на чужого, и гнала его прочь со двора.

Она была не так велика и не так сильна, чтобы Хвостов с нею не справился, однако, чувствуя себя очень виноватым и преступным, он не стал огрызаться и даже повалился перед этой собакой на спину и раздвинул врозь все четыре ноги:

— Делай со мной что хочешь: я покоряюсь.

Стыдно было ему валяться перед такой собачонкой, которую он мог бы сам заставить перед собой развалиться, но он был не прав перед мельником и, чувствуя это, смирился.

Собачонка властно наступила ему лапой на живот и, скаля зубы, долго и грозно ворчала, как победитель, потом обнюхала его и с презрением простила ему дерзкое появление на чужом дворе, и всё-таки приказала ему убираться вон.

Хвостов, оскорбленный и униженный, бросился вдруг не в ворота, а в дом мельника — за защитой, но из двери вышел незнакомый человек и закричал тоже грозно и властно:

— Ты откуда? Пошла вон!

Он схватил метлу и погнался за Хвостовым; собака тоже бросилась на него с лаем, и Хвостов выбежал за ворота.

Он ничего не понимал.

Откуда взялась эта собачонка, откуда взялся этот человек, было так странно и необъяснимо, что Хвостов решил дождаться за воротами мельника, чтобы помириться с ним и наказать этих чужих, которых неделю тому назад он сам выгнал бы за ограду.

Он пролежал в канаве всю ночь и весь день, однако мельника нигде не было видно.

В ворота, как всегда, въезжали возы с зерном и уезжали с мукой, распыливая её по дороге. А мельника всё не было, и вместо него делал всё то же, что и мельник, незнакомый человек, а пестрая собачонка весело и по-хозяйски бегала по двору и лазила в его конуру.

Он усиленно потянул в себя воздух от мельницы, но мельником даже не пахло. Пахло чужим.

— Что такое? — встревожился Хвостов.— Где мельник?..

Ему страшно хотелось есть, и он через решетку видел даже свою кормушку и решился опять пойти, чтобы пообедать и занять свою конуру, но при виде его собачонка подняла такой лай и такой скандал, что выбежал из мельницы опять тот же человек весь в мучной пыли, словно старый мельник.

— Ты опять здесь? — крикнул он зло и громко.

Он поднял с земли острый кусок камня и бросил в Хвостова. Камень попал ему в ногу, и Хвостов взвизгнул не столько от боли, сколько от горя, и опять выбежал за ворота и залег в канаву за дорогой.

Теперь он понял всё: старого мельника больше нет, и Хвостова здесь считают чужим.

Прошла ещё неделя — тяжёлая, голодная неделя, а Хвостов не уходил от мельницы и лежал невдалеке от ворот, глядя в калитку, высунув язык и тихо повизгивая. Иногда он бегал в лес и ел там жёлуди, подлизывал по дороге просыпанную в грязь муку и пил воду из лужи.

Он видел, что случилось что-то ужасное, и не знал, как выйти из беды, а впереди ожидалась зима, без крова и без пищи, с морозами и вьюгой.

На Хвостова нападало иногда отчаяние.

— Умру, но не уйду от мельницы!

И он целые дни лежал на дороге, не смея войти туда, где хозяйничала теперь пёстрая ничтожная собачонка.

V

Однажды, лёжа на дороге, Хвостов почуял знакомый и приятный запах и насторожился.

Он услышал ещё издали, как гремит по шоссе телега, приближаясь к нему, затем среди осеннего затишья услышал голос. Кто-то знакомый ехал и орал во всё горло знакомую песню:

Выпьем по чарочке с тобой мы вдвоём,
Про старое времечко песенку споём.

Хвостов бросился навстречу.

По шоссе бежала тихонько рыжая лошадка с белой косматой гривой, а в телеге на мешке с зерном сидел, покачиваясь, Егор Хвостов, а за телегой бежала Жучка.

С радостным визгом, счастливый, голодный, несчастный, бросился к телеге Хвостов.

— Спасите меня! Возьмите меня! — визжал он, прыгая и целуясь с Жучкой, и с лошадью, и с телегой.

— А!.. тёзка... Хвостов! — узнал его Егор Хвостов и приветливо взмахнул рукою.

Хвостов был так несчастен, что рисковать ему было нечем, и, видя, что его узнали, он забыл обо всем и, не думая, подпрыгнул и очутился сразу на телеге.

Телега катилась, а он плакал и лизал руки Егору Хвостову, лизал его сапоги, обслюнявил пальцы и мешок и от радости не знал, что делать.

Так они вместе и въехали во двор мельницы.

Теперь Хвостов чувствовал защиту и не боялся ни Пеструшки, ни нового мельника.

— Это твоя собака? — спросил мельник, указывая на Хвостова.— Она тут всё время шляется, никак не отгонишь.

— Это не моя собака, а твоя собака,— ответил важно Егор.— Она здесь со щенков; пораньше, можно сказать, тебя самого. Ты к ней уважение

имей, а не то что со двора гнать. Она мне старый приятель, и зовут её так же, как и меня: Хвостов! Я — Егор Хвостов, а она — просто Хвостов. Хорошая собака! Да вот что я тебе скажу: кабы не эта собака, не иметь бы тебе и этого места! Ты благодари её, а не гони. Уважай её, ежели ты человек достойный!

Егор Хвостов пошатывался, говоря это, и широко размахивал руками.

— Уважай, говорю тебе!

И тут узнал Хвостов горькую истину. Как только он убежал и пропал, старый мельник загрустил и пошел его разыскивать по лесам, по деревням; на мельнице ждали работы приезжие, а мельника не было. Приехал хозяин, увидел, что мельника нет, и взял другого, а старому отказал от места. И мельник взвалил на плечи котомку и пешком пошёл, грустный и бедный, куда-то по дороге, и с тех пор его более никто и нигде не видал...

Так приказал хозяин.

Так это на всю жизнь и осталось чёрным пятном на совести Хвостова...

Где теперь мельник? Где он, хороший, милый, старый мельник? Может быть, он до сих пор бродит по мокрой дороге с котомкой за плечами, одинокий и голодный, такой же, как Хвостов, лежавший в канаве; может быть, и он так же заходит в лес, ест жёлуди и пьет воду из лужи?..

И Хвостову новый мельник и собака Пеструшка стали казаться одинаково неприятными и злыми, засевшими на чужие места.

— Ты никого не слушай, ты меня послушай,— не унимался Егор, показывая на Хвостова.— Собака дельная! Слуга тебе будет, каких нет на свете! Ты её возьми! Ты её приюти! Ты её полюби! Она здесь всё знает; лучше тебя всё знает!

— Собака — дело не лишнее, — согласился новый мельник. — Ну иди сюда, Хвостов! Полезай под навес на стружки.

И Хвостов понял, что его оставляют снова на мельнице.

Он был счастлив; но старого мельника ему было всё-таки так жаль, что без него никакое благополучие не доставляло радости.

«Милый, старый мельник, где ты? — думалось ему всю эту ночь. — Где ты, милый, старый мельник? Где ты?.. Где?..»

И опять потекла жизнь по-прежнему. Но только Хвостов был скучен и тих и без споров уступил Пеструшке свое первенство.

Дерзкая собачонка, которую ничего не стоило перегрызть пополам, стала, хозяйничать, во всё вмешивалась и не любила Хвостова. И мельник его тоже не любил.

— Нахвалили собаку, а она ротозей! — сердился нередко мельник.

Хвостов вздыхал, слыша эту несправедливость, но не хотел подслуживаться. Зимою, когда рано темнело, он чутко вслушивался во все и

не спал целые ночи, только не любил показывать этого никому и молча лежал в конуре, хотя всё видел и всё знал. А в оврагах за дорогою выли голодные волки, и было так неприятно, как никогда не бывало раньше.

Пеструшка был зол и, главное, дерзок, на всех нападал, убегал далеко за ворота и ничего не боялся. И его в эту же зиму съели волки, и Хвостов опять остался один на мельнице.

VI

И вот опять весна... Двенадцатая весна...

Опять на дворе нет ни бывшего нового мельника, которого вскоре отпустил хозяин, нет ни разноцветного петуха, ни Пеструшки, ни кошки Маруськи; нет более на свете и Егора Хвостова, который однажды зимою, как говорят, вывалился пьяный из саней и замёрз где-то в дороге.

Всё миновало. Всё прошло и только вспоминается, как сон.

На дворе опять старый мельник, но он уже седой и плешивый; и нижние брёвна у мельницы подгнили, и жёлоб, в который течет из пруда вода на колесо, подгнил и накренился. Уже трудно и невозможно стало взбегать вверх по лестнице на плотину.

Всё миновало: и здоровье, и молодость, и силы, и хотелось только спать на солнце, но не ворчать и не лаять на лукавых ворон. Пусть их воруют чужой обед... Уже кости не по зубам старой собаке; уже не по силам преследовать ворон и ссориться с ними.

«Крр! Крр!» — насмехались молодые вороны, а Хвостов лежал в конуре и думал о том, что вскоре придется умереть и оставить старого седого мельника на произвол ненавистных ворон, глупых кур и кургузого черного петуха.

Ему было не жаль себя, но жалко мельника: кто его будет сторожить, кто будет любить его и о нём думать?..

Некому было, кроме Хвостова.

Вечер стоял тёплый и светлый; на небе горела пламенем весенняя заря; широкий пруд был тих и ясен.

Хвостов бродил медленно по дорожке возле воды и наблюдал усталым старческим взглядом за всем, что делалось здесь, в этой безлюдной широкой аллее.

Он видел, как шевелилась земля, как во многих местах на дорожке вздувались вдруг рыхлые бугорки величиной в орех и из каждого бугорка вылетал майский жук, только что родившийся на свет, счастливый, молодой и здоровый, а на дорожке оставалась чёрная дырочка. И такими дырочками и бугорками была, покрыта сейчас вся дорожка. Он с тихой радостью и затаённой грустью наблюдал этот массовый вылет жуков,

который бывает только один раз во всю весну во время вечерней майской зари.

Жуки вылетали с шумом и гудом, летели на деревья, и там над вершинами и над ветвями гудели их сотни. Они праздновали там первый свой день, свою молодость, и Хвостов слушал этот гуд, этот весенний молодой шум, и сердце его радостно отвечало ему:

— Жизнь везде и всегда. Старое умирает, молодое растёт.

И он был счастлив не за себя, но за всех и за всё.

1908

Золотая осень
Рассказ

I

Горожане не знают осени. Для них это начало дождей, грязи, насморков, театров и школьной жизни. Они переезжают на дачи в мае, уезжают в половине или в конце августа. Они привозят с собою на возах пожитки, сундуки, корыта, полосатые матрацы, приводят иногда за рога на верёвке корову, вносят в простую тихую жизнь шум и блеск, смех, говор и сплетни; их граммофоны поют и тенором и басом, гремят оркестром, заливаются женскими голосами, квакают куплетистами... Они за три месяца наполняют чуть не до верха ямы всякою дрянью, набросают повсюду бутылок, сору и старых подошв; за лето они истопчут траву, обломают сучья посадок, выдергают и выбросят чужие скамейки и межевые столбы; они исчертят заборы непристойными надписями, вырежут на удочки и на тросточки вершины молодых деревьев и выловят рыбу из пруда; под осень они перебросят к соседям голодных котят, оставят на произвол судьбы собак и кошек, расшвыряют по канавам кучи камней, заготовленных для починки дорог — и уедут.

И опять станет тихо, просто и хорошо без них.

Сразу все переменится, и начинает вступать в силу народный календарь. Уже нет больше шестого, двадцатого или первого числа, нет ни сентября, ни июня, ни апреля, ни февраля, а есть — Спас, Успенье, Покров, Микола, Рождество...

Вечереет рано. Часов в восемь отворишь дверь на балкон — ничего не видно. Сойдёшь со ступеней — на дорожке холодно и вокруг черно; только в небе ярко горят звёзды. Глядишь на них и любуешься. Видишь, как Стожары высоко забрались — до полнеба, а в июле они еле виднелись над чертой горизонта, а в мае их и совсем не было видно.

Ни души нигде; ни огня. Дышишь свежим воздухом, идёшь по памяти по дорожке и отворяешь калитку.

Здесь, бывало, прогуливались с звучными колотушками ночные сторожа, молодые бравые ребята, мечтавшие, от нечего делать, поймать не вора, а хорошенькую горничную. С сентября по май их уже нет; разъезжаются по домам.

На смену им всем появляется Егор, один на всю окрестность, угрюмый, хозяйственный и неподкупный.

— Сторожить, так сторожить! — вот его твердое мнение.

Но в ногах у него ревматизм, и ходить он долго не может, да и бесполезно одному обхаживать все улицы и переулки: направо пойдешь — могут налево залезть, налево пойдешь – своруют направо. Выходя на сторожку, Егор перекрестится и, оставляя всё на волю Божию, садится на скамью, недалеко от моей калитки, потом, когда погаснут немногие огни, ложится и засыпает, завернувшись в тяжёлый овечий тулуп.

«Сторожить, так сторожить!». Этому он, однако, не изменяет и к своему поясу привязывает на верёвке собаку; Егор спит, а собака сидит и глядит в темноту зелёными фосфорическими зрачками. Собака чуткая и умная; чуть что — рванётся и поднимет сторожа. А Егор в своих силах был достаточно уверен.

Выйдешь в темноте за калитку; собака уже начеку: два зелёных глаза обращены в мою сторону, и я слышу приветливое быстрое дыхание: чует знакомого.

—Лохматка!

Собака весело дёргает веревку, и Егор пробуждается.

—Чья здесь живая душа? — строго бормочет он спросонья, и слышно, как грузные сапоги опускаются со скамьи на песок.

А Лохматка уже возле меня; дружески бьёт меня по коленам тяжелым упругим хвостом, встаёт передо мной на задние лапы, кладя передние мне на грудь и царапая меня по одежде тупыми жёсткими ногтями дружественно и от души, но грубо и ни к чему.

Над головою звёзды: Вега, Медведица, Млечный Путь... Всё небо усеяно звёздами, яркими и бледными, мелкими и большими. Часто падают метеоры; неведомо откуда взявшаяся звезда вдруг покатится по небу и неведомо куда исчезнет; секунда — и нет звезды, но она шарахнулась с высоты, прочертила полнеба бриллиантовым камнем и померкла до горизонта; вспыхнула, бросилась и погасла; и я ничего не знаю о ней.

Многие думают, что звёзды не освещают землю; неправда: под их мягкими, неуловимыми лучами можно разглядеть дорогу, решётку, деревья. После лампы выходишь как слепой, но две-три минуты — и начинаешь видеть.

— Ну, что, Егор? — спросишь, чтоб не молчать. — Скучно без дачников?

Подумавши, тот отвечает деловито:

— Я бы заместо них — яблоней везде насажал. Сколько бы цвету весной! сколько бы добра к осени!

II

Осеннее утро всё в золоте.

Золотое солнце горит в ясном небе, блестит в росе среди травы; блестят влажные колеи дороги; дымится и искрится озеро. Жёлтые берёзы,

красные осины, зелёные ели и сосны отражаются в воде — и по озеру точно насажен цветник, пёстрый и яркий.

В роще пахнет грибами, хотя, как редкость, встретится иногда запоздалый мухомор или ослизлый валуй. От дерева к дереву, от сучка к сучку протянулись седые липкие паутины. Жёлтые листья срываются без ветра сами собой, кружатся, цепляются за ветви берёз, за иглы сосен и ложатся ковром на вялую траву. Редеет чаща, оголяются сучья. А солнце пронизывает рощу, и сухие листья весело шуршат под ногами. Исхоженный, истоптанный за лето лес начинает как будто оживать. Природа дичает, начинает жить своей особенной, непонятной жизнью, и дыхание этой жизни очищает грязь человеческую; всё наносное погибает, преет — и воочию видишь вековечную власть земли.

В рощах появляются зайцы; вон — выставились длинные уши; видны чёрные круглые глаза и жующие серые губы... Я не охотник, но заяц не верит мне, и дикими прыжками спешит утаиться в чаще. Гляжу ему вслед, и мне жалко, что не могу приблизиться к нему, как к Лохматке.

По пустым садам начинают летать и кричать сороки. Прилетают и маленькие новые пташки; чирикают и свистят, и в свисте их слышится человеческая речь, однообразная и докучная.

— Синицы! Синицы! — пищат они про самих себя.

Знаю я этих осенних птичек; перелетая с куста на куст, по всему саду вправо и влево, они насвистывают одно и то же и сверху и снизу, точно рекомендуются мне при встрече:

— Синицы!.. Синицы!.. Синицы!

На лугах зацветают осенним цветом какие-то деревья; вероятно, ивы. Они стоят сплошь покрытые белым пухом, точно весною яблони. Всё собираюсь узнать, что это за деревья и как называются, но стоят они в болоте и идти к ним мокро и не хочется. Идут года за годами, а я так и не собрался узнать про них; а летом забываю об этом, потому что они зелены, как и всякие другие деревья, и цветут только осенью. Сплошь покрыты они белым пухом, а вокруг них — зелёные луга, золотые берёзы на серебряных стволах и темные хвои.

С отъездом дачников всё изменяется, всё становится проще, естественнее. Летний извозчик щёголь-лихач Александр, ездивший с бубенцами на паре с отлётом, вдруг сделался незаметным, серым и рядовым, надел теплую шапку с затылка до бровей, подпоясался кушаком и идёт, пеший, возле телеги с навозом.

Соседний дворник, заведующий двенадцатью дачами, — летом просто Иван, человек чужой и надменный, а теперь, осенью, — добрый знакомый, Иван Платонович. Летом ни я ему не нужен, ни он мне не нужен; но теперь, когда вечереет, оба мы выходим из дома и садимся на скамью подышать и полюбоваться закатом.

Иван Платонович — хозяйственный мужчина и любитель слов, которые мне кажутся необыкновенными, ибо я не понимаю их смысла. Но

он словно нарочно так и сыплет этими необыкновенными словами, рассказывая самые обыкновенныя истории. У него все какие-то «форамыга», «лекало», «куветы», «ендова»... Не понимаю значения этих слов и жду, когда Иван Платонович дойдет до «квадрата». Это ему всегда удаётся плохо, и он, запинаясь и натуживаясь, с трудом его выговаривает:

—Квар... дратное содержание...

Начальник станции, который летом очень занят и неприступен, делается под осень добр и любезен. Он свободнее от дел и ласковее со всеми зимниками. Сам он большой и толстый, почти круглый, но говорит высоким тенором, сладко и нараспев.

— Давайте о чём-нибудь хлопотать? — обращается он с неопределённым предложением.

— О чем хлопотать?

— Всё равно. Давайте охлопатывать пожарную дружину... или давайте просить товарный тупик устроить. А то можно и телефонную станцию сделать. Все равно!.. Или давайте свою церковь строить?..

Осенью почему-то все люди меняются. Откуда-то берётся дружба с дьяконом, живущим в селе, версты за четыре. Разговариваем с ним подолгу про жизнь, про петухов, про налоги, про детей; иногда шутим.

— Что это у вас, отец дьякон, говорят, каждый год по ребёнку?

— Ничего не поделаешь. Наша жизнь такая... От скуки.

— Как от скуки?

— А куда ж нам время девать? В театр нельзя... ничего нельзя... Махнёшь с горя рукой, да и...

И оба мы смеёмся, глядя друг другу в глаза. Мне весело и немножко стыдно. Но гляжу — и дьякон смеётся... Молодое красивое лицо его както не идёт к костюму. Или костюм не идёт к лицу. Вглядываюсь в дьякона пристальнее, и мне уже не весело.

— Деваться некуда, — подтверждает он серьезным, душевным голосом. — Оттого и детей много. А детей содержать трудно. Да и должность тоже — кабы не хлеб насущный...

Вместо смеха слышу тяжёлый вздох.

Оба молчим; понимаем оба будничную сторону жизни. И вдруг слышится искренний, горячий шёпот:

— Ненавижу я своё ремесло!

III

После летнего блеска, музыки, фейерверков наступает осенняя тишина. Проезжая дорога пустынна; схлынула волна случайных чужих людей, и тихо везде, точно сто лет тому назад, когда здесь были только леса да болота. Хочется верить, что в овраге у нас, близ озера, где темно и сыро, водятся черти...

По вечерам в даче начинают почему-то трещать полы; шуршат иногда мыши, выходят черные тараканы; ночная жизнь дома устанавлива-

ется на всю зиму — до весны. На окнах начинают дохнуть мухи, опрокидываться на спину, задирать кверху лапы и умолкать навеки без видимых причин.

Иногда высоко в небе пролетают стаями журавли с странным массовым криком, не то безобразным, не то восхитительным; чуют осень и убегают от нас куда-то, где солнце и лето; плывут по небу, точно флот, выстраиваясь в линию, в треугольники и в петли. С высоты доносится до нас клёкот, и в нём чудится не то музыка, не то скрип несмазанной телеги.

Но как хорошо! Бросаешь работу и спешишь в сад, и долго глядишь в голубое небо на эти движущиеся серые линии и серые точки. Сколько в них жизни, и радости, и печали. Смутно радуешься за них, смутно грустишь за себя... Но трудно удержаться, чтоб не глядеть на этот воздушный манёвр. Солнце, жизнь, расставание с чем-то... Чувствуешь, что прошёл год, что совершается что-то важное в природе, и невольно вспоминаешь о близости конца, о вечности, об уходящей жизни...

— Только пьянице ничего не делается, — бодро и твёрдо заявляет лавочник Охапкин. — Пьяницу и свинья не ест, и леший не пугает!

Охапкин прежде всего пьяница, безобразник, и сам похож на лешего или на домового, с серой гривой волос, с нечесаной серой бородой и строгими выпученными глазами. Пальцы его плохо сгибаются от грязи и жира, но в случае надобности образуют тяжкий кулак, вроде кувалды.

— От его кулака могилой пахнет! — говорит местный аптекарь Соломон Исаевич, тощий, длинный и чёрный, как уголь. У него есть больная молодая жена с красивыми глазами, в которых трогательно отражаются ужас и покорность перед близостью смерти, и есть толстая добродушная теща, которая ведёт хозяйство и иногда деликатно замечает своему неосторожному зятю:

— Соломон, вы лопнули ваш стакан.

Охапкин и Соломон Исаевич вечно судятся — то из-за цыплят, то из-за какой то калитки в заборе, то из-за аршина земли. Их дела были у земского начальника, в съезде, в Окружном суде, в Палате и, наконец, перешли в Сенат.

— На основании контракта, — говорит лавочник заученную фразу, — вы не имеете законного права торговать, например, — мылом. Потому что мылом не лечат.

— А вы не имеете права продавать содовую воду, ибо это уже есть аптекарский товар. А у вас в договоре сказано, что вы продаёте только мясо, табак и овощи.

— А ты мылом зачем торгуешь?

— Но я же имею право.

— Мыло — моё! Мыло не смей продавать!

— Но вы не торгуйте тогда содовой водой и нарзаном!

Летом они постоянно ссорятся, а к осени примиряются.

— Грубый человек, — говорит аптекарь, — но что же я буду с ним делать?

— Жила, — говорит про аптекаря лавочник, — но человек упорный... спуску не даёт. Впрочем, всякий своего ищет... Подождём решения суда.

И они очень хорошо встречаются, но ни мыла, ни содовой воды никто до мая у них не покупает. И они стихают и ждут — либо весны, либо решения Сената, а пока что — надеются торговать: один — мылом, другой — содовой водой...

Дни всё короче и всё свежее. Лес редеет и начинает сквозить. Открываются дали.

Облетели золотые листья, засыпали траву и дорожки и на вечернем небе видны лишь голые прутья и сучья в необычайных узорах, а за ними горит закат, точно зарево пожара, точно кровь и огонь.

Зори передвинулись, отошли ближе к югу, и уже недолог их срок: начинают скоро бледнеть, погасать, а напротив них, с севера, в лиловом сумраке встаёт спокойная оранжевая прозрачная луна. Поляны задымились белым туманом, и сухая трава заблестела, как снег. Свежеет.

Погасает закат, а луна поднимается всё выше и заливает землю и небо холодным серебром. Ночью будет мороз.

IV

Поутру опять яркое солнце, тепло и радостно, но в кадках с водою уже корка льда, и трава вся седая и в искрах.

Последние цветы в куртине почернели и повесили головы.

— Всё кончено!.. До будущего лета!

Днём почти жарко, а по ночам сухие морозы. Три-четыре такие ночи, и пруд застывает. Тонкий гибкий лёд покрывает его точно стеклом.

Мальчишки радуются. Прибегают на берег с полными карманами мелких камней и начинают бросать из всех сил поодиночке; бросают не прямо, а сбоку и вскользь. И несётся пущенный камень по тонкой, звучной, гибкой поверхности, скользит по ней, подскакивает и поёт, точно птица:

— Гуль-гуль-гуль-гуль!

Он катится далеко-далеко, и переливчатое его пение слышится долго.

А вокруг тишина, ничем не возмутимая.

— Гуль-гуль-гуль! — воркует одинокий камень, и все молчат и слушают, следя за его бегом.

Когда же лёд делается толще, вся красота и музыка исчезают.

Пруд большой и широкий; камень мчится по нём далеко и весело и всё поёт, поёт, пока не скроется с глаз.

— Я бы им, бездельникам, уши надрал за такое времяпрепровождение! — угрюмо говорит лавочник.

Но аптекарь ему возражает:

— И ответили бы перед судом за грубые свои поступки.

Пусто стало везде. Деревья все облетели; голые сучья чёрной сетью виднеются на фоне ясного неба; по утрам они покрываются инеем, точно обсахариваются.

Холодно и сухо. Старыми шишками и березовой корою начинают растапливать печи; в доме пахнет смолой и дымом; красное пламя гудит в печи, а на стёклах мороз за ночь выводит свои узоры.

Стынет земля, и ждёшь с нетерпением снега.

И когда замелькают в воздухе первые снежинки, сделается сразу тепло и хорошо. Видишь, как густо забелели поля и дороги, крыши и рощи... Выпавший снег — молодой и душистый. Он пахнет, и вокруг всё весело, бело, бодро и празднично.

Но это уже начало стужи, метелей и долгой мёртвой зимы.

А зима длинная, злая, и до весны, до новой жизни — далеко; так далеко, что каждый раз плохо верится в обновление: буду ли жив, увижу ли ландыши, сирень, услышу ли жаворонка над зеленым веселым полем...

Осень хороша тем, что навевает мечту о весне; а мечта о грядущей весне, может быть, даже прекраснее самой весны.

1909

Весна-красна

Рассказ

I

Едва растаял снег, а над полями уже запели жаворонки.

Высоко в небе что-то маленькое, серое, на раскрытых крылышках, то бросаясь книзу, то вспархивая в голубые выси и точно купаясь в воздухе, звенит радостной, беззаботной песней. Что перед ним соловей, этот прославленный певец ночи, щёлкальщик и свистун, который только и знает свои: тр-тр... чок-чок... фью-фью... цс-цс! Можно ли сравнивать свободную, радостную песнь жаворонка с соловьиным чмоканьем? Невидимый, высоко в небе, в лучах весеннего солнца, он поёт; поёт о радости жизни, о наступлении весны. Это одна из самых ранних птиц в нашей стране, бедной и даже нищей радостями, где из двенадцати месяцев только три-четыре мы видим солнце и зелень, да и то либо задыхаемся в пыли и зное, либо мокнем в дождях и туманах.

Под таким настроением, чем-то обрадованный и чем-то недовольный, выходит из конторы на крыльцо, без фуражки, управляющий Елисей Елисеевич, старый вдовец, благообразный и скромный, с седой бородой, в высоких сапогах и глядит в голубое небо, щуря глаза от сияния и солнца.

— Благодать!.. Хорошо!

Первые мухи со скотного двора, прямо с тёплого дымящегося навоза, летят к конторе и лезут Елисею Елисеевичу в лицо, в усы, садятся на плешь.

— Очувствовались, проклятые! — сердится он, сгоняя мух и встряхивая головой. — Нет на вас погибели!

Солнце греет. Жаворонки поют над полем, рыжие и чёрные коровы бродят по первой зелени лугов, но в пруде всё ещё стоит лед, дряблый, ноздрястый и грязный, уже залитый сверху водою. Тонет он наконец; тонет, как камень, опускаясь на дно, и вода долго ещё бывает студёная.

Елисей Елисеевич здесь, в сущности, полный хозяин: нанимает и увольняет рабочих, получает арендные деньги, расходует их, как находит нужным, и, получив из-за границы телеграмму, не торопясь, обдумав содержание, через несколько дней пишет ответное письмо, которое начинается всегда обычными словами: «Спешу ответить вашему сиятельству, что денег перевести сейчас не могу, так как получения ещё не начинались, а налоги, страховки и всё прочее ещё не оправдано».

Солнце греет: дни прибывают, ночи становятся короче и бледнее. Свежими зелёными почками покрылись ветви берёз, но лес ещё прозрачен и юн. Вот полетели первые бабочки — жёлтые и белые. И цветы зацветают весной сначала жёлтые, потом белые, потом красные, а затем уже пёстрые; есть какая-то очередь в природе. Зазолотились среди зелёной молодой травы будущие одуванчики; яркими жёлтыми звездами раскинулись они в зелени, и жёлтые бабочки вьются над ними: и жёлтые и белые; значит, вскоре забелеют ландыши, черёмуха, яблони, груши, и будут стоять деревья, точно осыпанные душистым снегом.

— Пестрота пойдёт позже,— решает Елисей Елисеевич.— И стрекозы всякие разноцветные прилетят, и летник зацветёт... И дачники переедут... И начнётся кляузная пора. Кляузная — леший их забодай!

Дачников он не любит; они причиняют ему много хлопот и раздражают его, и, думая о них, Елисей Елисеевич называет их мысленно словом, по его мнению, самым непристойным:

— Хиромантия, а не люди!

Перед его глазами, через дорогу, зазеленели осенние свалки, покрылись всходами овса и травы; зелень густая, сочная, даже красивая.

— Плачешь, но — сеешь! — вздыхает Елисей Елисеевич.— Нанавозят, черти, за лето возов пятьсот,— и мучайся с ними, засевай овсом да клевером.

Пока дачники не съехались, он наслаждается прилётом скворцов и ласточек, хором лягушек, кричащих из пруда, как ему кажется, что-то приветливое.

— Ишь квакеры какие!

Он ходит на плотину их слушать. Странное, нелепое кряканье разносится над водою и далеко окрест; из общего хора иногда выделяются солисты; где-то поблизости от всей души что-то орет диким трепетным голосом в упоении любви и счастья. И Елисей Елисеевич решает сам для себя:

— Всякая тварь наслаждается жизнью и любовью, покуда эту тварь кто-нибудь не съест.

С плотины он идёт к парникам и к оранжерее, куда он нанял пололок. Это юные деревенские девушки, лет по семнадцати. Благодаря начавшемуся теплу они работают налегке; ситцевые кофточки, короткие юбки, весёлые молодые лица — все это нравится Елисею Елисеевичу. Ему вспоминается своя молодость, и иногда на ходу он останавливается и забывает, где он, куда идёт, — и далёкое прошлое смутно грезится ему в лучах весеннего солнца, в зелёной траве, в щебетании птиц. Но как только он приближается к парникам, ему навстречу, откуда ни возьмись, вырастает фигура здоровенного, молодого и красивого его зятя, Филарета Ивановича, которого он взял себе в помощники только потому, что того нигде на службе не держат.

— Вы что, папаша?— почтительно спрашивает зять мягким семинарским басом, заслоняя ему дорогу.

— Ничего. Смотрю, всё ли везде в порядке.

— Слава богу, папаша. Всё в порядке.

Они глядят друг другу в глаза и понимают один одного, но оба молчат. Елисей Елисеевич вдруг вспоминает свою дочь, худую, бледную, капризную, видит перед собою здорового, молодого мужчину, среди девушек, среди кустов и закоулков, и хозяйственные вопросы замирают на языке.

Он хорошо знает зятя и не любит его за дочь, которая здесь же, в конторе, среди всех них, среди этих девушек...

«Не следует нанимать молодых, — соображает Елисей Елисеевич.— Не следует отдавать их на растерзание этому... петуху!» — думает он про зятя.

— Чего возле баб околачиваешься?

Филарет Иванович обидчиво выпрямляется во весь рост и быстро моргает глазами.

— Я, кажется, ваш помощник, папаша. Должен я видеть работу их или нет?

— Что они делают?

— Парники набивают.

— А ты что возле них делаешь?

— За работой слежу. Сами приказывали всё видеть и слышать. Будьте спокойны, папаша. Не могу же я даром жалованье получать.

Елисей Елисеевич нахмурит брови, промолчит и вздохнет о дочери.

— Смотрите вы у меня! — крикнет он на девушек, стукнув палкой о землю.

И станет стыдно ему. И опять он обратится к зятю:

— Лишнего не давай работать: не нужно. А что следует — чтоб выполняли. Впрочем, это дело садовника, а не твоё. Поди к станции, пригляди за плотниками.

Зять внутренне усмехается и покорно склоняет голову. Управляющий всё это чувствует и видит. И ему обидно за дочь. Но вспоминается, что она больная, худая, а зять весёлый, молодой, здоровый, и он примиряется, хотя не любит зятя и не верит ни единому его слову. Уходит медленной походкой искать садовника, точно отравленный чем-то. Девушки переглядываются с зятем за его спиной. Он чувствует это, но не знает — верно ли, и из гордости не оглядывается. Да и неловко: старик, тесть; молодые бабёнки; худая, бледная, больная дочь...

II

Садовник, низенький, кудрявый старичок, с вытекшим левым глазом, в плисовой красной жилетке, сбросив пиджак на газон, с увлечени-

ем возится один с громадным циркулем выше его самого ростом; описывает какие-то круги по земле острием этого циркуля, натягивает бечёвку к расставленным колышкам, ахает иногда сам про себя, крутит головой и опять ставит циркуль одной ногой в землю, другой ногой с острым железным наконечником вычерчивает круги; на дорожке лежат отдельными партиями свежестроганые гладкие щепки с латинскими надписями, разложены по сортам какие-то корешки, а вокруг по кустам и деревьям свистят, щебечут и перекликаются птицы, из пруда доносится хор лягушек, в голубом небе звенят жаворонки.

— Куда вы девались, Павел Ильич? — сердито говорит управляющий, находя наконец садовника. — Ищу-ищу, найти не могу.

— С клумбами бьюсь: охота фигуру устроить, а она — эн куда задается. Сладу с ней нет. Никак не потрафишь.

— Бросьте вы ерундой заниматься. У вас, посмотрите, деревья все не подвязаны. Вон лиственница — дугой согнулась; ясени белые, точно пьяные, качаются. Разве это порядок? Трёх мужиков у меня выпросили для сада, восемь девок наняли, а что толку?

— Верно, Елисей Елисеевич, — соглашается садовник, с увлечением продолжая свою работу. — Сам вижу, что беспорядок. Да ведь народ-то нынче какой? Каждую минуту с ними надо поднимать Содом и Гоморру.

— Того гляди, приедет княгиня. А у вас что в саду? Безобразие.

— Сам вижу, что безобразие, только содомиться с ними неохота.

— А жалованье брать охота?

Садовник встает с гряды с замазанными землёю коленками, обнимает рукой стоящий выше его головы деревянный циркуль и с холодным упрёком глядит единственным глазом на Елисея Елисеевича,

— Вы бы лучше, Елисей Елисеевич, взглянули, что на веберских дачах делается: все берёзы, все сосны вырубили. Совсем оголили участок; а сосны ошкуряют и себе на переводы под дачи кладут. Так-то! За сад я сам отвечать буду; а вот кто за порубку ответит — не знаю.

Елисей Елисеевич озадачен.

— Вы бы туда Филарета Ивановича послали. А то он только вместо пользы девкам мешает здесь по саду.

— Турните вы его отсюда хорошенько! — вдруг меняет тон управляющий, раздражаясь уже на зятя.

— Давно бы турнул; да только с ним содомиться неохота!

— Ну, вам всегда неохота! А Веберам я сейчас сам пойду встряску задам. Ах, бездельники этакие: рубить! Покажу я им сейчас, как самовольничать!

Он машет рукой и торопится уйти к станции. Невольно приходит опять на мысль весна с её дачниками:

«Начинается кляузная пора. Начинается!»

Погода стоит совсем летняя: сухо, жарко, хотя первое мая только через неделю. Елисей Елисеевич сердит на Веберов и идет их преследовать

за порубку, но ещё издали замечает на тротуаре, который он только что вычинил и устроил, чужую корову; свежеутрамбованную, гладкую дорожку она изрыла копытами и оставила по себе много следов на самых видных местах.

— Ш-ши, ты, проклятая! — взмахивает на неё палкой Елисей Елисеевич и сгоняет с дорожки через зелёную канавку на улицу. — Чья это корова?.. Ах, окаянные! Нет на вас ни закона, ни совести!

— Это твоя корова? — кричит он стоящей невдалеке бабе, но баба молчит. — Слышь ты: корова твоя или нет?

Ждёт ответа. Волнуется.

— Коль не твоя, я возьму её сейчас за морду и отведу к уряднику.

— Корова — наша, — мрачно отвечает баба.

— Так как же ты её... Да ты сама-то откуда?

— Я с веберских дач. Чего кричишь-то: объест, что ль, корова твою канаву?

— Да не канаву. Она мне весь тротуар испортила. Гляди — чего натворила!

Но баба пренебрежительно отворачивается; не желает даже глядеть. Потом упрекает Елисея Елисеевича:

— Чай, корова — она животная. Нешто она понимает?

— Она-то не понимает, что общественные дорожки нельзя портить, но ты-то, леший, понимаешь? или тоже не понимаешь?.. Погоди, покажу я твоим Веберам! Доберусь я до них!

Сердце кипит, хочется что-то сделать или что-то сказать. Но Елисей Елисеевич сдерживается и идёт прочь. Ему вспоминаются слова старого садовника, на которые он обычно сердится, но теперь считает их верными и мудрыми: «Неохота содомиться!» Вот и весь ответ.

Подходит к станции и видит, как чужие рабочие прорыли на границе канавку и из железнодорожного колодца спускают по ней воду — прямо на шоссе, где стоит огромная лужа и вода подтопляет подъезд к самой хорошей даче.

— Это что за новости?— вскрикивает Елисей Елисеевич, не успев ещё остыть от только что охватившего его раздражения.— Нашу улицу портите?

Зовет начальника станции:

— Что же это такое, Иван Петрович?

— Я здесь ни при чём. Инженер распорядился. Я ему говорил, что земля чужая, а он говорит: чёрт с ними, пусть судятся! Самое лучшее — обратитесь к уряднику.

Решили послать за урядником. А он, точно предчувствовал, — сам едет откуда-то в дрожках на гнедой пузатой лошадке, сидит на портфеле с бумагами и деловито пошевеливает вожжами.

— Доброе здоровье! — приветливо кивает он начальнику и Елисею Елисеевичу.

— Пожалуйте-ка сюда: дело есть. Слезьте на минуточку.

Урядник — франт; одет в светлый китель с красными аксельбантами и золотыми пуговицами; борода обрита, усы вверх; держит себя офицером; через плечо сабля, на левой руке перчатка, под мышкой толстый портфель и кнут для лошади.

— Здравствуйте, господа! Здравствуйте. Здравствуйте.

Пожимает руки, делает «под козырек», поворачивается на каблуках.

— Взгляните, что делается, — указывает ему на лужу и на проведённую от колодца канаву Елисей Елисеевич.

Но урядник роется в портфеле, вытаскивает бумагу и с видимым удовольствием вручает Елисею Елисеевичу окладной лист от земской управы на сорок восемь рублей налога за хлебопекарню, которой в имении не существует уже несколько лет.

— Вы с ума сошли! — гневно возражает Елисей Елисеевич. — У нас нет никакой пекарни. Лет восемь уж нет.

— Знаю, что нет, — улыбается урядник. — Но моя обязанность вручить окладной лист.

— Да у нас нет пекарни!

— Обжалуйте это перед управой. Но я обязан вручить лист — и вручаю. Прошу расписаться в получении.

— Да нет же у меня пекарни, чёрт бы вас всех побрал!

Урядник холодно прищуривается.

— Кого это «вас всех»?.. — и спрашивает официальным тоном — И меня — служителя короны?

Наступает тягостное молчание.

Молчит урядник; глядит и сторону начальник станции, нервно пощёлкивая двумя пальцами; молчит Елисей Елисеевич, положив ладонь на сердце. Только гудят над их головами телеграфные провода, точно перед непогодой, да вокруг по деревьям посвистывают скворцы.

— Фу, какие нервы у меня стали, — тяжело выговаривает наконец Елисей Елисеевич. — Никуда не годятся.

Урядник вдруг улыбается. Через минуту улыбается и Елисей Елисеевич.

— Измучился я, — говорит он; вытирает холодный пот с лица и с шеи; хмурится, чувствует неловкость. — Горяч я был в молодости. Горячка-то осталась, а уж выдержки и сил не хватает. Разгорячишься, и сам не рад.

Начальник станции уходит встречать поезд. Урядник успокаивает Елисея Елисеевича и говорит, что «нервы теперь везде». Не ставит ему в вину вспыльчивость и только просит прислать сена «возика два» для лошади, которую он обязан иметь, а сумм для этого никто ему не отпускает.

— Сено у нас у самих на исходе. Ну да ладно: пудов сорок пришлю... Ох, дела, дела! Доведут они меня до могилы.

III

Прошли дожди — сразу всё зазеленело. Развернулись берёзы, ольхи, покрылись кусты изумрудными кудрями с белыми, розовыми, синими почками цветов, запахли тополя, тронулись яблони, набухла черемуха. Вывелись майские жуки, гудят на вечерней заре по вершинам деревьев, летают над полем, над садом, натыкаются на ветки и опрокидываются в траву на жесткие спины, беспомощно мотая лапами; а поутру их заедают муравьи и полумертвыми уволакивают по траве в глубины нор.

Жизнь и смерть закрутились в вихре борьбы среди наслаждения и страданий.

Высоко в голубом небе плавают ястребы и выглядывают по земле добычу. Певчие пташки клюют стрекоз, глотают червей и весело летят в гнёзда, унося в клюве карамору, изогнутую пополам, вздрагивающую длинными тонкими ногами; а за птенцами по ночам охотятся совы и кошки и крадут их из гнёзд. Повсюду страх и радость. И всё вокруг наслаждается весной и солнцем, стрекочет, поёт, кричит на всякие голоса, и мир полон жизни, ликования, рождений и смерти.

Любовь, радость и страсть наполняют день и ночь голосами. Восторг и вопли, крики победы и ужаса, слышимые и неслышимые, раздаются неумолчно в траве, в воде, в кустах, в лесу, в воздухе.

Жизнь и смерть, точно два зверя, вырвались вдруг откуда-то и мчатся, перегоняя один другого, сталкиваются, грызутся и, не помня себя, несутся в бешеном стремлении, вместе, рядом, в беспощадной ярости, торжествуя каждый свою победу.

Жестокостью, несправедливостью и случайностью полна жизнь мира, оттого и всё в жизни случайно: и радость и горе; непрочны радости и случайны потери.

Оделись деревья, поднялась зеленая трава, запестрели полевые цветы — и потянулись из города лошади с навьюченными возами; задымились в дачах трубы, зажелтели по вечерам на террасах огни, заорали граммофоны. Куры и утки первыми понесли свои головы на плаху. Лавочник Мосталышкин ввиду предстоящих дел запил на трое суток, в последний раз — до осени; и все три ночи бродил пьяный по улицам, проверяя сторожей.

— Ты что, сукин кот, спишь? а? — тормошил он задремавшего сторожа. — Твоё ли это дело? За что я вношу в общую кассу по пять с полтиной за каждую дачу? а?

— Как дам я тебе по морде! — отвечал иногда обиженный сторож, видя перед собой пьяного незнакомца.

— Мне?.. По морде?.. — изумлялся, шатаясь, Мосталышкин. — Мне — хозяину твоему? Да ты с кем разговариваешь?.. Я за вас, чертей, пять с полтиной с каждой дачи плачу, а ты — вон как!.. Надел на лоб медную бляху, повесил па пузо свисток, да и думаешь о себе: «Правительство!»

И долго, до самого утра, среди ясной ароматной ночи, с тихими бледными звёздами, среди пустынных улиц, пахнущих свежей землёй, молодой весенней зеленью, коровьим стойлом и щами, под дробные звуки сторожевых трещоток, под странные, звонкие, страстные напевы соловья раздаётся одинокий, нелепый голос, полный упрека и утомления:

— Ах вы сук-кины коты!.. Рас-сук-кины вы коты!.. Пере-сук-кины вы коты!..

И бродит из проезда в проезд, пошатываясь и негодуя, коренастый человек, ударяя себя кулаком по груди и отыскивая справедливость.

А поутру приходят на него жаловаться к Елисею Елисеевичу, а тот отвечает;

— Что я здесь, царь, что ли? Или я вам всем козёл отпущения?

Елисей Елисеевич давно забыл, что такое — покой. С раннего утра и до ночи к нему поступают жалобы, сообщения, требования, и он совершенно теряет голову.

— Началась кляузная пора! — вздыхает он, поглаживая ладонью сердце.— Уморят они меня раньше времени.

И всё чаще и чаще начинает он вспоминать слова садовника, которые прежде ненавидел. Теперь он находит их мудрыми, дающими спокойствие. «Неохота содомиться» — только и всего; вот и весь ответ на все беспорядки, на все упущения.

«Умный человек Павел Ильич,— думает он.— И проживёт он лет девяносто».

Об этом он думает только по ночам, когда не может заснуть. А с утра уже выслушивает, что кто-то к кому-то проделал незаконную калитку; что сосед у соседа затравил собаками петуха; что где-то закрыли проход на линию, а где-то велосипедисты и верховые ездят по пешеходным дорожкам и пугают детей; что веберская корова поела цветник у станции.

— Примите меры,— только и слышит он с утра до ночи. — Запретите одно, разрешите другое; уймите велосипедистов; ответьте на запросы.

«Настало кляузное время»,— с покорностью думает управляющий, и опять вспоминает садовника, и хочется ответить всем его же словами: «Так-то оно так; только содомиться неохота».

Приходил урядник, принес в контору бумагу, взял подписку, что Елисей Елисеевич обязуется держать собак на привязи и в намордниках ввиду появившейся в уезде вёрст за шестьдесят отсюда бешеной собаки.

— Собака-то бешеная?

— Бешеная! Её уж убили. И ветеринар удостоверил.

— Знаем мы ваших ветеринаров! У них два средства: вода и пистолет. Из колодца не помогло — значит пуля в висок!

— Это оскорбление личности! — возражает урядник. — За это ответите!

— Ну, вот что,— твердо говорит Елисей Елисеевич и отводит урядника в сторону.— Дал я тебе сена... по болезни моей дал. А ежели теперь

снова ты против меня, так я тебе такую отходную пропою, что вылетишь ты у меня отсюда фейерверком — помни это!

Урядник пожимает плечами, повёртывается на каблуках, улыбается, разводит руками:

— Не понимаю. Какие нервы у вас стали! С вами и пошутить нельзя.

Елисей Елисеевич только что спровадил урядника, как в дверь конторы просунулось худое, бледное лицо дочери.

— Папаша, — с дрожью в голосе говорит дочь, — Филарету мало всякого безобразия — он теперь у самой станции позволил открыть «Магазэн Рюс». Вы это знаете? Вы знаете, что там шесть портних, и одна другой мерзее? Вы знаете, что это — девки! подлые девки!

Елисей Елисеевич вновь озадачен.

— Какой магазин?.. Никто не имеет права без дозволения моего.

— Нынче открылся. Так и вывеску повесили: «Магазэн Рюс». Я с ума схожу! Я им всем глаза выцарапаю! Я несчастная, обманутая!.. Вы мой отец... позволяете насмехаться!..

Слышатся всхлипывания, слезы, рыдания.

— Господи помилуй, — шепчет Елисей Елисеевич.— Какой там ещё магазин? При чем Филарет? Шут знает что такое!

Берёт фуражку и палку.

— Сейчас всё разберу. Не реви ты, ради Христа! Не мучь ты моего сердца!

IV

Настало время, когда всё точно сговорилось и восстало против Елисея Елисеевича.

Появились на пруду рыболовы: мальчики, старики и люди всякого возраста; ковыряют берега, ища червяков, сидят и стоят с утра до вечера с удочками и вытаскивают линей, плотву, карасей.

— Когда ж они делами занимаются? — удивлялся иногда Елисей Елисеевич, глядя на бородатых людей. — Знать, делать им нечего, бездельникам.

С того же времени начала редеть насаженная им осенью аллея из молодых каштанов и клёнов. Елисей Елисеевич воображал эту тенистую аллею лет через сорок: какая красота, какая тень, какая защита от ветра и дождей! А теперь все эти молодые каштаны и клёны срезают на удочки.

Он перестал даже ссориться из-за них и отыскивать виновников, а только с презрением глядел на всех рыболовов, и губы его слагались в горькую улыбку.

Он прикладывал обе ладони к сильно бьющемуся сердцу, брови его сдвигались в одну линию, глаза становились стеклянными, и, понурив голову, он повёртывался и шёл домой, думая о том, что дачник — чело-

век чужой и случайный: какое ему дело до посадок, до будущих тенистых аллей? Его дело все крушить, топтать, ломать, презирать чужие труды; а вот к нему бы, дачнику, зайти на его террасу да выбросить старый окурок — сколько бы визгу поднял!

Мелочи жизни запутали Елисея Елисеевича, заковали его в невидимые цепи, из которых вырваться не было сил. Он чувствовал себя человеком немолодым, стоящим на рубеже жизни и смерти, и ему хотелось обдумать что-то очень важное, очень большое, без чего жизнь начинала казаться ему пустой. Хотелось одуматься, отойти от той суетной жизни, пожить разумно и хорошо — для души, потому что ему лично в этой жизни уже ничто не было ни нужно, ни важно. Но мелочи дня, мелочи минуты сбивали его с толку, путали разум и совесть, и он не мог найти момента, чтоб разорвать эти цепи, тяготевшие на нем всю его жизнь.

Начал смущать его и старый садовник, Павел Ильич, которому он верил, как самому себе. Человек с такою любовью относится ко всякой травке, спасает стрекозу от заедания муравьями, делится своим обедом с собаками, лечит подшибленного воробья, выхаживает птенцов, упавших из гнёзд, дорожит всякой чужой жизнью, любит жизнь во всём — в зерне, в былинке, в мошке, в птице, в животных, в людях — и вдруг... Неужели эта чистая душа полна обмана?.. Нет; не может этого быть!

Елисей Елисеевич отгонял всякие дурные мысли, однако уже не раз замечал, что садовник, крадучись, куда-то уходит иногда по утрам, либо по вечерам; идёт по пути к границе, к казённому лесу, и несет что-то в руках; оглядывается, прислушивается и вновь идёт.

— Что он может носить? и куда?

Ответ на это слагался сам собою: конечно, цветы из парников. Выращивает их здесь, топит оранжерею хозяйскими дровами, сеет хозяйские семена, а потом тайно продает всходы и летники чужим дачникам, которых за лесом целый поселок.

Елисей Елисеевич до такой степени верил в душу садовника, что не мог допустить мысли о воровстве. Однако что же значили эти таинственные прогулки, эти поклажи, это осторожное оглядывание? Видимо, у человека есть что-то на совести, если он идёт не прямо, а таится, оглядывается...

С тяжёлым чувством, с печалью в сердце Елисей Елисеевич всё-таки решил узнать правду. И однажды, заметив садовника далеко в поле, надел фуражку, взял палку и пошел наперерез по болоту, кратчайшим путем, чтоб успеть застать его у границы.

— Павел Ильич! — крикнул он ему, весь мокрый от скорой ходьбы, с мокрыми сапогами от болотной жижи.— Что это несёте?

Садовник вздрогнул и остановился. Руки его задрожали; лицо сделалось точно неживым, и единственный глаз, не моргая, глядел на Елисея Елисеевича с таким вопросом, с таким упрёком, что управляющий сам смутился. Они стояли молча один против другого, а между ними на тра-

ве лежало что-то непонятное, похожее на узел, завернутое в старую голубую полосатую рубашку.

— Куда это вы собрались? — проговорил Елисей Елисеевич, указывая на свёрток концом палки. — В баню, что ли, идёте?

Садовник вздохнул, подумал и наконец ответил:

— Сказал бы вам правду, Елисей Елисеевич. Да только с вами содомиться неохота.

Опять эта фраза, которую так ненавидел когда-то Елисей Елисеевич и которую теперь он сам мысленно повторяет по сто раз в день, которая его нередко удерживает от ссор и неприятностей, обезоружила его.

Он опустил голову. Ему было неловко. Садовника он любил, верил ему. Но было здесь что-то такое, что оставить без окончательного выяснения было невозможно.

— Значит, это от меня тайна и секрет?

— Тайна, Елисей Елисеевич, — твёрдо отвечал садовник.

— Значит, мои распоряжения по хозяйству вы нарушаете самовольно?

— Нарушаю, Елисей Елисеевич.

Что же оставалось делать?.. Управляющий задавал себе вопросы и не знал, как поступить. Открытое, хорошее, доброе лицо садовника не внушало никаких подозрений, но этот таинственный узел и сказанные слова о тайне, о нарушении его распоряжений вызывали новые вопросы. Что всё это означает? Что в узле? В чём тайна? В чём нарушение?

— Павел Ильич, — сказал он наконец протягивая ему руку. — Верю вам; считаю вас честным. Но, ради Бога, развяжите узел; покажите мне. Не терзайте моего сердца.

Садовник поглядел своим единственным глазом на управляющего и сказал решительно и твёрдо:

— Хорошо!

Он стал на одно колено, ухватил скрученные рукава старой рубашки, развязал узел и откинул в сторону покрышку. Перед глазами оказалась птичья клетка, в которой метались в страхе и ужасе мыши — штук десять.

— Вот они, наши враги,— говорил садовник, стоя перед клеткой на обоях коленях.— Вот они, разбойники: попались! Поглядите-ка, Елисей Елисеевич, какие у них чёрные круглые глазки! какие усики! какие милые мордочки!

Он с улыбкой отворил дверцу, просунул в клетку руку и взял в свою горсть мышонка.

— Послушайте, как бьётся сердце-то! Колотится, трепещет!.. Вся шерсть на нём дрожит, всякая пушинка боится за свою судьбу... Нет, Елисей Елисеевич!.. Не могу я предавать их смертной казни. Не могу и не стану!.. Я вам их поймал, освободил хозяйство от врагов. Но казнить их я не могу... Пусть себе уйдут куда угодно. Попробуйте: сердце-то как бьёт-

ся!.. Не смотрите, что гад подпольный: таким уж Господь сотворил. Но сердце-то, сердце-то!.. Ведь и мы с вами такие же. Жизнь у всех — одна.

Елисей Елисеевич был так озадачен, что не мог сказать ни слова, а садовник присел в траву, разжал ладонь и выпустил мышь.

— Иди с богом! Будь счастлива!

Потом он взял клетку, отворил настежь дверь и вытряхнул оттуда всех остальных мышей в траву.

— С богом!.. Айда, к казенным дачникам! к соседям! А я вам не судья.

V

В этом году Пасха была ранняя, и потому рано наступил Троицын день, любимый праздник Елисея Елисеевича. С раннего утра все двери и окна конторы, оранжереи и княжеской дачи были убраны молодыми зелёными берёзками. Сад был весь убран посадками цветов, дорожки расчищены, так как княгиня прислала депешу, что приедет завтра на всё лето, и Троицын день был последним днём для Елисея Елисеевича, когда он мог быть самостоятельным; а с завтрашнего дня начинались для него новые хлопоты и заботы, по поводу которых он думал и сам себе говорил:

— Каторжная моя должность.

Пользуясь последним днём свободы, он велел запрячь лошадь в пролётку, надел новый костюм, новые сапоги, белую мягкую сорочку с белым шнурком вместо галстука, заказал садовнику два букета цветов и вместе с дочерью поехал к обедне, спросив на ходу зятя:

— Придёшь, может быть, лоб-то перекрестить?

— Бог повсюду, папаша,— отвечал Филарет Иванович.— Господа Бога чту, но попов наших знаю с малолетства, ибо сам духовного звания.

И когда пролётка отъезжала, он, обратясь к жене, пропел ей вдогонку, жестикулируя и кривляясь:

Прелестная Мария,
Пойду в пономари я,
Чтоб звоном колокольным
Воспеть твою красу!

Поднятая колёсами и улегающаяся пыль была ему ответом на это неожиданное приветствие.

Утро было тёплое, тихое, и в сельской церкви, переполненной крестьянами и дачниками, было душно и тесно. Елисей Елисеевич решил всё-таки пробраться к алтарю, а Марья Елисеевна осталась возле паперти. Здесь было и прохладнее, и интереснее, так как дачные дамы в белых нарядах и барышни в газовых платьях, молодые люди, студенты, гимназисты стояли тут же, бродили из одного угла в другой, смеялись, шутили, оглядыва-

ли друг друга; все пришли с букетами, с отдельными цветками в петлицах, с первыми ландышами, и хотя здесь не было слышно ничего, что пелось и читалось в церкви, зато публика была нарядная, интересная, а внутри церкви стояли мужики и бабы да старики. И Марья Елисеевна, время от времени крестясь и кланяясь, наблюдала модные платья, причёски и была рада присутствовать среди лучшего общества, которому старалась показать свою кружевную накидку и бирюзовые серьги. Тут же, среди публики, прохаживался газетчик с утренними новостями; на садовых скамейках, среди кустов сирени, жимолости и жасмина курили гимназисты, ухаживали за барышнями, а за оградой ржали лошади извозчиков и кучеров, и из открытых окон старой белой каменной сельской церкви доносились звуки торжественного хора и гулкий голос дьякона. К окнам и дверям были привязаны сучья молодых берёз; пахло бальзамом свежей зелени, ландышами, духами, свежим молодым телом, кадильным дымом, топлёным воском, табаком и алкоголем.

Марья Елисеевна вскоре устала и, не дожидаясь конца службы, уехала с кучером домой, приказав ему выехать сейчас же обратно.

Долго ещё тянулась после этого служба, долго тянулся молебен, и когда Елисей Елисеевич, весь потный и утомлённый, вышел из церкви, кучер подал пролётку, разъяснив, что Марья Елисеевна давно уже дома.

Вернулся в контору Елисей Елисеевич, но там было всё пусто. Он хотел съесть просфору, выпить чаю, но ни дочери, ни зятя не было в доме.

— Что такое! Где ж они?

Не раздеваясь, он вышел в сад и крикнул:

— Машенька!

Потом прокричал:

— Филарет!..

Отклика не было. Он ещё повторил:

— Филарет!.. Машенька!.. Где вы?

Прислушался. Ответа нет. Удивился, даже немного обиделся.

— Что же нет никого? Этакий праздник, а у нас и самовар не готов.

Задумчивый и огорчённый, пошёл он дальше по саду.

Живою стеной высятся по обе стороны дорожки зелёные кусты; белые, розовые, лиловые грозди сирени дышат на него свежестью, мёдом и ароматом; жужжат пчёлы, вьются бабочки и щебечут повсюду птицы, поют тонкими, нежными голосами...

— Господи, как хорош мир! — вздыхает Елисей Елисеевич, с удовольствием оглядывая небо, землю, цветы.

Но вдруг его взор омрачается. Он видит издали, что дверь в оранжерею открыта. Кто смел её отворить? Нынче великий праздник, и никто работать не должен.

Круто свернул с дорожки и пошёл, чтобы захлопнуть дверь. Но чем ближе подходил он к оранжерее, тем яснее доносились до него оттуда крики, визг и вопли;

— Что это значит?

Он насторожился.

Тихо подошёл он к оранжерее, тихо и неслышно вошёл в неё, сдвинув брови и еле дыша от волнения.

Перед ним, задом к нему, стоял на цыпочках садовник, Павел Ильич, перед дверью в тёплое отделение; он взмахивал странно руками, точно творя какие-то заклинания, и громко шептал:

— Умри, петух! умри, петух! умри, петух!

А за дверью дико визжал женский голос, кричал мужской голос, кричал другой женский голос; что-то рушилось, падало, звенело. И новый вопль покрывал вдруг все эти голоса. А садовник, стоя на носках и приподняв пятки, всё взмахивал руками над закрытой дверью и твердил исступлённым шёпотом одно и то же старинное заклинание против гнева и ревности:

— Умри, петух! умри, петух! умри, петух!

Елисей Елисеевич остановился. Сердце его колотилось в груди.

— Что здесь такое? — вырвалось вдруг у него. Садовник обернулся и обомлел от стыда за свои заклинания и, повесив голову, замолчал. А за дверью всё ещё кричали, визжали; что-то падало и разбивалось.

Павел Ильич с широко открытыми глазами, сухими, почти безумными, бросился вдруг к Елисею Елисеевичу и быстрым шёпотом, прерываясь и задыхаясь, начал объяснять ему, что Филарет Иванович «попался», что Марья Елисеевна вернулась внезапно, что она застала его и пололку Дуняшку в таком виде, что теперь летят горшки с клубникой кому-то в голову и что как бы кто кого не убил.

— Так и знал, что всё это случится,— ответил холодно Елисей Елисеевич и властным движением распахнул боковую дверь в тёплое отделение.

Там было что-то странное, невообразимое: визг, крики, брань и грохот горшков слились воедино. Марья Елисеевна в кружевной праздничной накидке, с болтающимися в ушах тяжёлыми серьгами, крича и хрипя, вцепилась одной рукой в волосы Дуняшки, одетой в яркое красное платье, а другой рукой бросала в мужа горшки с зеленью, цветами, клубникой. Филарет Иванович, в расшитой чесучовой рубашке, всклокоченный и грязный от воды, земли и черепков, отмахивался руками, орал во весь голос, топал ногами, а Дуняшка визжала от боли и срама.

Елисей Елисеевич отворил дверь, всё сразу увидел, всё сразу понял и опять захлопнул дверь и чуть заметно пошатнулся, точно одной ногой оступился на ровном месте.

Глаза его сделались вдруг холодными, белыми, будто стеклянными. Он положил обе ладони на сердце и отступил неуверенно ещё на шаг в сторону. Лицо его стало странным, будто новым, помолодевшим. Не сказав ни слова, он повернулся и тихо побрёл к конторе, не чувствуя своего

тела; идти было легко, точно он шёл не по земле, а плыл по воздуху. Но сердечный припадок свалил его тут же, возле оранжереи.

С закрытыми глазами он повалился на дорожку. Так с того времени и не открыл он глаз на веки вечные.

И когда через три дня его несли в церковь по улицам, полным зелени и пыли, гуляющих дачников и всяких кляузных дел, мимо обломанных молодых посадок, лицо его, спокойное и серьёзное, хотя и с закрытыми глазами, как будто выражало:

«Всё я теперь вижу. Всё я теперь знаю. Но только мне теперь с вами со всеми неохота содомиться».

1910

Кому из «Среды» жить хорошо

Шуточная поэма

Пришли с вопросом странники,
Пришли и поклонилися.
Глядят: сидит за столиком
В очках, с бородкой стриженой,
Спокойный и рачительный,
Ни толстенький, ни худенький
Мужчина — хоть куда![2]
Пронизывает странников
Он взором испытующим,
А сам всё карандашиком
В бумаге промокательной
Рисуночки да крестики
По памяти чертит.
— Что скажете, почтенные?
— Да вот — к тебе явилися.
Ответь ты нам по совести,
По-честному, по-божески:
Кому живётся весело
Вольготно из «Среды»?
Сказали нам: Шаляпину,
Ещё Максиму Горькому,
Шмелёву, Белоусову,
Глаголю, Вересаеву,
Скитальцу да Андрееву.
Ещё Серафимовичу,
Сергею Яблоневскому.
Сказали — братьям Буниным.
Но лучше всех — тебе!
Не ждал Грузинский этого.
Задумался, нахмурился,
Откинулся на стульчике
И даже ногу на ногу
Раз пять переложил.
— Нашли к кому наведаться —

[2] Первым, к кому прихолят странники, был А. Грузинский — прелселатель старейшего литературного обшества любителей российской словесности, активный участник «Срел». — *Прим. авт.*

Приветливо и ласково
Сказал он мягким голосом,
— Нашли, кому завидовать,
Кого счастливым звать.
Судьба моя не лёгкая...
Ну, сами вы подумайте:
Вон сколько книг наставлено
И толстеньких, и тоненьких,
Огромных, средних, маленьких,
А я их все прочёл!
Как думаете, странничЧки,
Легка ль моя работушка
Все книжки прочитать?
Латинская, грекосская,
Французская, немецкая,
Славянская, балканская,
Церковная, греховная —
Да это ведь не всё!
А вот взгляните на стену:
Она вся сплошь заставлена...
Видали? Эти книжечки
Как дитятки невинные
Через утробу матери
Прошли через меня.
Я сам их всех воспитывал,
Писал всем предисловия,
Писал к ним примечания,
Под звёздочками выноски;
Писал все биографии
И критику писал...
Работал я над книгами
До запятых включительно,
А их — сказать по совести —
Мильёнов сорок пять.
Глядят, дивятся странники:
Книг — видимо-невидимо,
До потолка стоят.
Лет на сто хватит чтения,
А он, гляди, управился
Прочесть всё в пятьдесят.
Ахти! Мудрец! Действительно!
Судьба его не лёгкая,
Коль этакое уймище
Прочесть — и жив сидит!

Прощенья просим, дяденька.
Не гневайся на странников,
Не осуди ты нас!
Пойдём к Ивану Бунину,
Быть может, на счастливого
Как раз и налетим!

* * *

(У Ивана Бунина)

— Напрасно так подумали, —
Ответил Бунин странникам, —
Что счастье в шапку валится,
Само в ворота ломится...
Поди-ка: чёрта с два!
Неплохо вам на Дмитровке
Среди огней брильянтовых
На мягких на диванчиках
Друг с дружкой речь вести
Да рюмочками чокаться,
Калачиком закусывать,
Пивцом потом прихлёбывать,
Сигарочки покуривать
Да ручки умывать[3].
А вы подите с полгода
Туда-сюда потыкайтесь,
А во вторые полгода
Опять сюда-туда.
Тогда вот и узнаете,
Легко ль на свете жить!
А на море качаешься...
Да в бурю с чемоданами
Впотьмах, как бык бодаешься,
Всё это каково?!
И только молишь Господа:
Средь океана лютого
Кончины не принять,
Не стать акуле ужином,
Не быть киту закускою...

[3] Здесь в первую очередь имеется в виду публика, подобная, например, «членам-соревнователям» того же Литературно-художественного кружка, то есть представителям нетворческих профессий (юристам, зубным врачам, инженерам и др.), посещавшим собрания ради иллюзии причастности к моде или в ожидании скандала — увы, в помещении кружка, где были ресторан и помещение для карточных игр, скандалы были нередки.

А на сухом пути?
Среди песков, разбойников,
Экспрессов и извозчиков,
Тевтонов, франков, индусов,
Легко ли жизнь влачить.
— Нет, братцы, жизнь тяжёлая
На долю мою выпала,
Нигде отрады нет!
В Нордкапе дюже холодно,
В Египте жарко здорово,
А на Цейлоне проклятом —
Совсем как в Сандунах.
Земля у них плодущая,
Такая плодородная,
Что на землю для отдыха
Прилечь опасно голому:
Того гляди, бананами,
Как шерстью, обрастёшь!
Везде одни опасности.
Идите с богом, страннички.
Спросите братца старшего,
Юльяна Алексеича.
Быть может, он счастливее?
Сидит в своём Конюшенном
В журнале «Воспитание»,
Как редька на гряде!..

* * *

(У Юлия Бунина)

Ответил Юлий странникам
Не сразу, а подумавши.
Сперва потряс бородкою,
Очки приладил за уши
И, оглядев собравшихся,
Баском проговорил:
— По-видимому, праздничный
Сегодня день, товарищи:
Рабочий не работает,
Крестьянин спит под шубою
На печке до звезды,
Когда амбары заперли...
Чиновники с портфелями
Не идут в канцелярии,

А рыщут по гостям.
Полны бульвары служащих,
Приказчиков, конторщиков,
Учащих и учащихся —
Гуляют все, слоняются
Без дела, без забот.
А мне — хоть день и праздничный
Сейчас тащиться надобно
В «печать переодическу»,
Там ссору разнимать.
А к вечеру — на выборы,
А по утру — в редакцию,
А там — на заседание —
И так за днями дни,
Как маятник качаешься
Из стороны да в сторону
От дела да к делам,
Без срока и без отдыха.
Моё какое счастие?
Всё суета сует!
В четверг у нас — редакция
В журнале «Воспитание».
По пятницам — собрания.
В субботний день — Дирекция,
Нельзя в «кружке» не быть,
Во вторник в клубе «Вторники»,
А в среду — «Среды»,
Постричься даже некогда,
Не то что отдохнуть!
Вздохнули горько странники.
Вздохнули, прослезилися.
И, в пояс поклонившиеся,
На цыпочках ушли.
Не на того наехали!
Какое уж тут счастие,
Какая жизнь вольготная,
Коль некогда вздохнуть!

***

(У С. Скитальца)

Вошли. Остановилися,
Как вкопанные, страннички:
Пред ними — в кофте с галстуком,

С усами, здоровеннейший,
Детина лет уж за тридцать
Лохматый и в пенсне.
Воскликнул диким голосом:
— Какого чёрта надобно?!
И с превеликой важностью
Приподнял ногу правую
С смазными голенищами
И положил на стул.
Когда ж узнал, что странники
Пришли не из полиции,
Не из охранки проклятой,
Не с обыском, не с путами,
Пришли не брать и связывать,
Как он к тому привык,
И не тащить в холодную,
В Таганку иль Бутырскую,
В тюрьму и под замок, —
Пришли лишь побеседовать
О доле о писательской,
Узнать про жизнь счастливую,
То сразу стал к ним ласковым,
Внимательным, приветливым
И ногу снял с стула́.
Откупорил бутылочку,
Поднёс пивца трёхгорного
И начал отвечать:
— Скитальцем называюсь я
По правде и заслуженно,
Хотя и проходимцами
Буржуи нас зовут.
Но это слово зряшное —
Сплошная беллетристика
И больше ничего!
Скиталец я, действительно,
Давно скитаюсь, страннички,
С далёкой ранней юности
И вот до этих пор.
Скитаюсь с удовольствием
По разным учреждениям,
По всяким городам.
Меж прочим посещаю я
То «Прагу», то «Московскую»,
То «Альпен-роз», то «Тестова»,

А то Никон Мартьяныча,
А то и «Эрмитаж».
А то придёт фантазия —
Махнёшь вдруг в Питер к Палкину.
Нельзя: сам Пушкин сказывал
Про это учреждение, —
Нельзя не побывать!
Ещё там «Вена» здравствует,
Писательское встречное
Свидание друзей.
Хоть можно от скитания
Чудесно отдохнуть.
Он вдруг согнулся надвое
И вытащил откуда-то
Из-под стола огромные
Простые гусли волжские,
Что зазвучали струнами
Под опытной рукой.
Запел он про широкую
Про нашу Волгу-матушку.
И про Степана Разина —
Про вольное житьё.
Сказал он после пения:
— Признать бы рад счастливою
Звезду мою, приятели,
Да вот одно мешается,
Одно жизнь адом делает:
Издатель больно плут!
Такой мошенник, фокусник,
Что выразить нельзя!
Приводит он в волнение
Всю кровь мою кипучую,
Все члены в содрогание,
А голос — в львиный рык!
И как бы в доказательство,
Что он взволнован подлинно
При имени издателя, —
Хватил Скиталец по столу
Тяжёлой пятерней.
Подпрыгнула чернильница,
Задребезжали стёклышки,
Пролилось пиво пенное,
А голос протодьяковский
Взревел, что бык в лесу.

— Мошенники, грабители!
Издатели, хлебатели —
«Любители словесности»,
Анафему вам в рот!
Попятилися странники.
«Благим-то матом, милые,
От счастья не взревешь!»
Тихонечко, легонечко
Попятились до выхода,
А там, как овцы, бросились
Всей кучей — да бегом!

***

(У Ф. Шаляпина)

На ясном небе солнышко
Клониться стало к западу,
Когда дорогой дальнею
Измученные странники,
Наняв в пути извозчика,
Подъехали на саночках
С визитом, к «Самому».
— Уж мы не запоздали ли?
Спросили не без робости,
А им на то ответили:
— Да он и не вставал.
Куда вы прикатилися
В такую рань, бесстыдники?
Деревня, что ли здесь?!
Впустили их уж под вечер
В неприбранную комнату,
Где брился перед зеркалом
Хозяин, всеми славимый,
В халатике распахнутом,
Но вовсе без белья.
— Садитесь, гости будете,
Садитесь, побеседуем...
Так вы насчёт чего?
Судьба моя мудрёная
И сложная и тяжкая:
Едва проснёшься к вечеру,
Ан глядь — уж люди ждут
С вопросами, расспросами:
Что, как да почему?

Им, видно, делать нечего,
Сидят и дожидаются неведомо чего,
Газетчики с вопросами,
Фотографы с пластинками,
А то влетит и барынька
С альбомом для стихов,
Для всяких для автографов...
Отбоя нет от публики!
Кой-как лишь пообедаешь,
А уж машину подали:
«Пожалуйте, в театр».
Для грима, одевания,
Для выхода под занавес
Минуты все сосчитаны,
А там — весь вечер пой!
Сказал и крепко пуговку
Нажал от колокольчика —
Явился секретарь.
— Кто ждёт там, дожидается?
Помощник был, знать, школенный,
Как поглядел на странников,
Сейчас сообразил,
Ответил как по табелю:
— Лошадка там вон ихняя
Давно уж дожидается,
Зазябла в холоду.
И кучер страсть торопится
Уехать поскорей.
А вас там дожидается
Лохматый дирижёр.
Сердитый и взволнованно
Вертит в руках всё палочку
И ножками стучит...
Ответил «Сам» помощнику
И коротко и явственно:
— Дать лошади шампанского,
Чтобы согрелась бедная,
А дирижера — выставить
И дать ему на лестнице
Коленкою под тыл!
Ну, что ж вы ждёте, странники?
Я всё вам рассказал.
К тому же — вы ведь слышали:
Лошадка вся зарделася

И кучер ваш озяб,
А мне пора поужинать.
Счастливого пути!

****

(Конец)

Сказали горько странники
— Нет, видно, нам счастливого
Нигде не отыскать!
Поехать бы к Андрееву?
Но он живёт в Финляндии,
Там около Куоколо
Близ града Вимельсу.
На катере катается
По взморью по волнам.
Похоже — жизнь весёлая,
Но пишет вещи мрачные,
Такие беспросветные,
Что хочется повеситься
От всех его поэм!
Пойти к Максиму Горькому?
Вот этот бы размолвился
Порассказать бы многое
Про жизнь свою счастливую,
Про долю знаменитую,
Хоть и полну невзгод.
Но он живёт в Италии
На камне, «Капри» прозванном,
К нему не долетишь!
Сложили руки странники
И в пояс поклонилися
Друг дружке — в знак конца.
— Знать нам найти счастливого,
Как видно, не с руки,
Спасибо всем товарищам
За трудные искания,
Поклонимся мы им
И разойдёмся в стороны
До будущего лучшего,
До гнева всенародного,
До вольного житья!

1918

«Среда». Литературный кружок
(Из «Записок писателя»)

Члены «Среды» и новые товарищи.— Большой литературный вечер.— Шутки. — Протесты.— Издательство писателей.— Молодая «Среда».— Третейский суд.— Утраты «Среды» и её конец.

Мало-помалу наш товарищеский кружок начал расширяться. Пришёл к нам писатель Семенов Сергей Терентьевич, автор крестьянских рассказов, отмеченных Л. Н. Толстым, который называл их «значительными, так как они касаются самого значительного сословия России — крестьянства, которое Семенов знает, как может знать его только крестьянин, живущий сам деревенской тягловой жизнью». Пришел поэт и романист Федоров Александр Митрофанович, живший в Одессе, но часто наезжавший в Москву. Затем стали бывать Гославский Евгений Петрович, Тимковский Николай Иванович. В это время издавалась в Москве газета «Курьер» под редакцией Я. А. Фейгина и И. Д. Новика, людей свежих и энергичных, которые пытались объединить всю нашу молодую группу. В этой же газете начал работать в качестве судебного репортёра Леонид Николаевич Андреев, но его никто из нас ещё не знал. Да он и сам в то время ещё не знал, что он беллетрист.

Моя жена по специальности и по образованию своему — художник, окончила Московскую школу живописи, ваяния и зодчества; благодаря этому на наших вечеринках стали бывать нередко её сотоварищи и другие знакомые художники. Иногда во время вечера они зарисовывали читающего автора или кого-нибудь из присутствующих писателей, либо делали беглые иллюстративные наброски. Но всё это, к сожалению, разбрелось по рукам, и лишь несколько набросков уцелело у меня да в Литературном музее, куда я их давно отдал, когда музей был ещё «Чеховским».

Бывал довольно часто Головин Александр Яковлевич — несомненный талант, но в силу тогдашних обстоятельств скромный работник у живописца Томашки, бравшего заказы по расписыванию потолков в домах богатых москвичей. В дальнейшем Головин был вытащен Константином Алексеевичем Коровиным в помощники декоратора Большого театра, в советское же время признан и возведен в народные артисты республики. Его произведения в значительном количестве собраны Третьяковской галереей. Бывали художники К. К. Первухин, Вл. Ил. Россинский, написавший впоследствии с Андреева портрет, один из самых удачных по сходству. Этот портрет связан со «Средою», приобретён был ею и висел у меня

в кабинете, а в настоящее время передан мною в Литературный музей. Бывал у нас Васнецов Аполлинарий Михайлович, любивший изображать старую, древнюю Москву. Помимо своих художнических работ он писал статьи и беллетристические рассказы. Бывали художники: Эмилия Яковлевна Шанке, В. Я. Тишин и Исаак Ильич Левитан. Впрочем, Левитан бывал только в начале организации кружка; вскоре он заболел и умер.

Через год кружок наш уже значительно разросся, и мы стали собираться регулярно каждую неделю — сначала по вторникам, а потом по средам, не избегая суббот Художественного кружка, имевших для нас иной интерес и иную привлекательность.

В 1899 году я познакомился в Нижнем Новгороде (город Горький) с Алексеем Максимовичем Горьким, который очень заинтересовался нашим кружком и обещал быть у нас непременно.

С той поры он всегда, когда приезжал в Москву, бывал на наших «Средах». Ему нравились эти товарищеские собрания, где в интимном кругу молодые авторы сами читают свои новинки, ещё не появившиеся в печати, а товарищи высказывают о прочитанном свои откровенные мнения. Все мы тогда были молоды, и дружеская поддержка была всем нам очень нужна и полезна.

«Хочется мне, — писал мне Горький из Арзамаса, куда был выслан из Нижнего,— чтобы вы поближе привлекли к себе Андреева: славный он, по-моему, и талантливый».

Вскоре после этого Горький приехал в Москву и в первую же «Среду» привез к нам Андреева — молодого, красивого, стеснявшегося среди признанных писателей. Рекомендовал нам Горький и ещё одного писателя для «Сред».

«Живёт у вас в Москве человек интересный и талантливый: бывший певчий — Петров. Под стихами подписывается — Скиталец. Занятный малый. И стихи его такие, что — вот! Советую позвать его; будет полезен».

Не знаю, почему так случилось, но среди молодых писателей вдруг появилась тяга к Москве. Прежде притягивал к себе Петербург. Перебрались на жительство в Москву Евгений Николаевич Чириков и Александр Серафимович Попов, писавший под псевдонимом Серафимович, поселился Степан Гаврилович Петров (Скиталец), Викентий Викентьевич Смидович (Вересаев), драматург Сергей Александрович Алексеев (Найдёнов), нередко наезжал и гостил в Москве Александр Иванович Куприн, жил Леонид Николаевич Андреев, стали всегда зимовать в Москве Иван Алексеевич Бунин, Евгений Петрович Гославский, Николай Иванович Тимковский. Все они были членами нашей «Среды» и постоянными её посетителями. Но не только молодёжь была с нами. Были с нами и старшие писатели, как Пётр Дмитриевич Боборыкин, Николай Николаевич Златовратский, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, Сергей Яковлевич Елпатьевский, Виктор Александрович

Гольцев, профессор Алексей Евгеньевич Грузинский. Хотя и редкие гости, но все же бывали с нами Антон Павлович Чехов и Владимир Галактионович Короленко.

Через «Среды» проходили обычно в рукописях ещё неопубликованные многие новинки писателей. В большинстве случаев читали сами авторы. Первое чтение пьесы «На дне» происходило у нас; читал сам Горький.

Произведения Леонида Андреева, думаю, что почти все без исключения, прочитывались автором на «Средах» и по-товарищески обсуждались. У нас было правило: говорить без стеснений. Это не значило, конечно, во что бы то ни стало огорчать автора. Но если он бывал достоин порицания, то уж выслушивал всю горькую правду без снисхождения; разумеется, в тонах дружеских и необидных, хотя решительных и беспощадных. Так случилось с рассказом Андреева «Буяниха», который, кажется, так и не был никогда напечатан. Так случилось с рассказом Куприна «Мебель», с одним рассказом Голоушева и некоторыми рассказами других писателей. Но эти резкие отзывы не портили наших добрых отношений, а, наоборот, сближали нас в действительно дружеский кружок. Посторонних никого не бывало на этих чтениях, и говорить можно было без стеснений; в публику эти мнения не выносились, и автор мог быть спокоен за свою репутацию, хотя бы товарищи и разнесли его, что называется, в пух и прах.

На «Средах» были читаны самими авторами многие пьесы Найдёнова, чуть не все рассказы и повести Бунина и большинство из его стихотворений, многие произведения Скитальца, Серафимовича и других, а Леонид Андреев, даже когда был за границей, присылал оттуда свои рукописи по почте и требовал мнения «Среды».

«Без этого, — писал он мне в письмах, — никакую свою вещь не могу считать законченной».

Бунин представлял собою одну из интересных фигур на «Среде». Высокий, стройный, с тонким умным лицом, всегда хорошо и строго одетый, любивший культурное общество и хорошую литературу, много читавший и думавший, очень наблюдательный и способный ко всему, за что брался, легко схватывавший суть всякого дела, настойчивый в работе и острый на язык, он врождённое своё дарование отгранил до высокой степени. Литературные круги и группы, с их разнообразными взглядами, вкусами и искательством, все одинаково признавали за Буниным крупный талант, который с годами всё рос и креп, и, когда он был избран в почётные академики, никто не удивился; даже недруги и завистники ворчливо называли его «слишком юным академиком», но и только. Наши собрания Бунин не пропускал никогда и вносил своим чтением, а также юмором и товарищескими остротами много оживления.

Это был человек, что называется, непоседа. Его всегда тянуло куданибудь уехать. Подолгу задерживался он только у себя на родине, в Ор-

ловской губернии, в Москве, в Одессе и в Ялте, а то из года в год бродил по свету и писал мне то из Константинополя, то из Парижа, из Палестины, с Капри, с острова Цейлона... Работать он мог очень много и долго: когда гостил он у меня летом на даче, то, бывало, целыми днями, затворившись, сидит и пишет; в это время не ест, не пьёт, только работает; выбежит среди дня на минутку в сад подышать и опять за работу, пока не кончит. К произведениям своим всегда относился крайне строго, мучился над ними, отделывал, вычёркивал, выправлял и вначале нередко недооценивал их. Так, один из лучших своих рассказов «Господин из Сан-Франциско» он не решался отдать мне, когда я составлял очередной сборник «Слово»; он считал рассказ достойным не более как для фельетона одесской газеты. Насилу я убедил его напечатать в «Слове», которое пользовалось среди читателей большим вниманием и спросом.

Старший брат Бунина — Юлий Алексеевич, тоже коренной член «Среды» и неуклонный её посетитель, был значительно старше Ивана Алексеевича и относился к нему почти как отец. Влияние его на брата было огромное начиная с детства. Ему, как человеку широко образованному, любившему, ценившему и понимавшему мировую литературу, Иван Алексеевич очень многим обязан в своем развитии. Любовь и дружба между братьями были неразрывные.

Скиталец — Степан Гаврилович Петров — не только читал у нас свои произведения, но приносил иногда свои знаменитые волжские гусли и пел под их звуки народные песни, что ему очень удавалось. Он засучивал по локоть рукава блузы — иного костюма он в то время не носил, — откидывал со лба пряди волос и, проговорив негромко: «Эй вы, гусли-мысли!» — начинал петь. Голос его был крепкий, приятный, грудной и выразительный бас, очень подходящий именно к народным песням, которые он хорошо знал и хорошо чувствовал. И неудивительно, потому что он — сын крестьянина, бывшего крепостного, потом столяра и рабочего, потом вольного гусляра, два года бродившего с мальчиком-сыном по ярмаркам и распевавшего свои песни, что и отразилось на жизни и творчестве Скитальца. Исключённый за политическую неблагонадёжность из последнего класса самарской семинарии, Петров в поисках жизненного пути бродил по югу России, служа то писцом в окружном суде, то певчим в церковных хорах, то в качестве певца и актера участвовал в украинской труппе Кропивницкого; вёл в «Самарской газете» стихотворные фельетоны на злобу дня, вращался в студенческих революционных кружках, пока не встретился в 1898 году в Самаре с А. М. Горьким. Эта встреча, а затем и близость с Алексеем Максимовичем решили судьбу Скитальца; он примкнул к «Среде», в которой принимал ближайшее участие, а когда в 1902 году Горький взял в свои руки издательство «Знание», была издана первая книга Скитальца «Рассказы и песни». Его стихи, полные презрения к мещанству, звучали в своё время набатом, а прозаические произведения были насыщены не только революционным на-

строением, но нередко характерным для Скитальца бунтарским романтизмом.

Дал в наследство мне мой батюшка-гусляр
Гусли-мысли да веселых песен дар.
Гусляром быть доля выпала и мне —
Сеять песни по родимой стороне...

Так определял Скиталец свое юношеское призвание; в дальнейшем этот гусляр поёт на иной лад:

Я вхожу во дворец к богачу
И ковры дорогие топчу:
Полны скуки, тоски и мольбы,
Там живут сытой жизни рабы...

Между прочим Скиталец пел нам на «Среде» из горьковской пьесы «На дне» тюремную песню «Солнце всходит и заходит» ранее, чем мы услышали в Художественном театре. Это он достал и записал её и передал театру для исполнения. Пел он также у нас впервые песню о Степане Разине и о персидской княжне, которую поют теперь всюду. Это Скиталец её так популяризировал на своих гуслях; с его лёгкой руки она и полетела, по крайней мере по Москве, а из Москвы — и далее.

Вспоминается еще одна русская песня, которую довелось мне слышать при условиях совершенно особых. Ранней весной, в Чёрном море, на простой рыбацкой лодке выехали мы с дачи «Нюра» в Олеизе, где жил тогда Горький, вчетвером: Скиталец, Горький, Шаляпин и я. На десятки вёрст вокруг не было ни одного человека. Солнце золотом сверкало в сильных и упругих вздымающихся и падающих синих волнах. Шаляпин запевал «Вниз по матушке по Волге», а Горький и Скиталец изображали хор; единственным слушателем был я, сидевший на руле. В то время как шаляпинский голос разносился по морскому простору и пел о «взбушевавшейся погодке», Скиталец на низких нотах, почти октавой ниже, одновременно с запевалой и точно вперебой ему, призывал кого-то: «Грянем, грянем мы, ребята!..», — а затем присоединялся сейчас же к общей песне, подхватывая мотив. Выходило необычайно интересно и хорошо. Тут было всё, что по положению требуется от настоящего русского пения: запевала «затягивает», голоса «пристают», подголоски «подхватывают», один «заливается», другой «выносит»... Словом, все эти надлежащие глаголы были пущены в дело.

На фоне. «Среды» одной из отметных фигур был Сергей Сергеевич Голоушев, врач-гинеколог по профессии, но, в сущности, литератор, театральный критик, художник, вся жизнь которого была в искусстве. По возрасту он был старше всех нас — кого на десять, кого на пятнадцать лет.

Но разница эта не замечалась: всегда интересный, увлекающийся, — что называется, «живой человек», — он мог быть товарищем и более юным, чем мы. Умер он в июле 1920 года в возрасте, позволяющем назвать его стариком: ему было шестьдесят пять лет. Но все, кто знавал его, все его многочисленные товарищи по искусству, по общественности, по медицине и ещё более многочисленные молодые ученики и ученицы по художеству и особенно по театру могут подтвердить, что в этом шестидесятипятилетнем муже горела молодая душа, и не только молодая, но юная. Зрелый и хороший ум его охватывал и анализировал явления, а горячее сердце, склонное к увлечениям, дополняло это понимание любовью к явлениям, самой искренней, молодой и настоящей, оттого и все его работы, театральные статьи, художественные оценки, монографии художников и его студийные лекции по театральному искусству — все это полно увлечения, заражающего читателя, а еще более слушателя. Особенно увлекателен он был как оратор и менее всего заметен как беллетрист.

Однажды Голоушев прочитал нам на «Среде» только что написанный им рассказ на тему любви; не помню его названия. Рассказ не показался интересным, и автору было высказано это откровенно. Он на секунду задумался.

— Я имел в виду случай как будто интересный и нешаблонный. Например, вот эта сцена. Или вот эта.

И он начал снова рассказывать. Обычное увлечение овладело им. И тот же самый рассказ загорелся и засверкал. Сжато, сильно, красиво и содержательно лилась его речь. И когда он кончил, нельзя было не сказать ему: «Почему же ты написал не так, как сейчас говоришь?» Он и сам это чувствовал и даже сознался:

— Вижу, что тот рассказ никуда не годится. Мне надо, должно быть, не писать рассказы, а рассказывать их своими словами.

Высокого роста, худой, с широкими, несколько приподнятыми плечами, с русой бородкой, начинающей седеть, с высоким лбом и длинными закинутыми назад русыми волосами, тоже не без серебряных нитей, почти всегда в длинном триковом сюртуке, который он носил обычно нараспашку; что-то красивое и что-то некрасивое было одновременно в его лице; в небольших серых и чуть раскосых глазах, особенно когда он смеялся, вспыхивало хитрое выражение, чего, однако, на самом деле не было совершенно ни в его натуре, ни в характере, ни в его отношениях к людям. Это был очень доброжелательный, очень милый, ко всему способный и талантливый человек, всем увлекающийся и многому легко поддающийся. Его облик я беру за последний десяток лет до его смерти. В общем я знавал его с четверть века, когда он был уже московским врачом и художником, отбывшим ссылку па далеком Севере за участие в партии «Народная воля» в семидесятых годах.

Художественная Москва хорошо знала Голоушева по его рецензиям, а театральная молодёжь увлекалась его лекциями. Говорил он всегда со-

держательно и красиво и сам увлекался темой своей речи. Капитальным трудом его был текст к большому иллюстрированному изданию 1909 года «Художественная галерея Третьяковых», где Голоушев развернул историю русской живописи от шестидесятых годов до последних дней. Большой известностью пользуется также его монография «И. И. Левитан, его жизнь и творчество», изданная в 1913 году, и «Очерки по истории искусства в России».

Как-то раз, заехав ко мне, А. И. Куприн не застал меня дома и в ожидании целый час проговорил с моей женой. Когда я вернулся, он сказал:

— Вот славно мы без вас побеседовали! Теперь ведь, куда ни придёшь, везде один разговор: «Ах, Бунин! Ах, Андреев!..» А мы хорошо и с удовольствием поговорили о лошадях.

Куприн вообще очень любил лошадей, а в это время в Москве было много всяких разговоров о беговом непобедимом жеребце «Рассвете», внезапно и таинственно погибшем. Дело было тёмное; в газетах намекалось на умышленное отравление лошади конкурирующим коннозаводчиком.

И Куприн, и моя жена, оба любившие животных, случайно напали на интересующую их тему и так разговорились, что Куприн обещал написать рассказ о рысаке. И вскоре действительно написал своего «Изумруда», вызвавшего восторженный отзыв Л. Н. Толстого.

И этом же роде был ещё случай с Леонидом Андреевым. Однажды вечером он долго бродил у нас на даче по саду, любуясь звёздным небом, а жена моя, интересовавшаяся в то время астрономией, рассказывала ему что-то о созвездиях.

— Вот и прекрасно! — воскликнул вдруг Леонид Николаевич.— Хорошая тема для пьесы: высоко на горе живёт ученый-астроном, нелюдим, которому до земли нет никакого дела. А внизу, под горой, происходит революция, которой нет никакого дела до неба. Из этого я что-то сделаю. Не знаю — что, но напишу непременно!

И написал «К звёздам».

Из писателей, не живших в Москве, изредка приезжал к нам Н. Г. Гарин-Михайловский, красавец с седой головой, выдающийся инженер и талантливый беллетрист, строитель Батумского порта, автор «Детства Тёмы» и многих повестей, корейских сказок и др. В литературе он стал известен только в сорокалетнем возрасте, зато сразу завоевал внимание как читателей, так и прессы. Когда в «Русской мысли» появилась его повесть «Несколько лет в деревне», то такой чуткий и требовательный ценитель, как А. П. Чехов, отозвался о нем восторженно: «Раньше ничего подобного не было в литературе в этом роде по тону и, пожалуй, по искренности... Серёдка — сплошное наслаждение. Так верно, что хоть отбавляй». Одна из последних его повестей, «Инженеры», напечатанная в сборнике «Знание», была в отдельном издании арестована и изъята.

Таким образом, литературная молодёжь того времени и писатели с определившимися именами в лице лучших своих представителей обра-

зовали крепкое литературное ядро. И ядру этому было имя — «Среда». В декабре 1902 года Леониду Андрееву было поручено устроить литературный вечер в пользу Общества помощи учащимся женщинам. Он взялся и пригласил участвовать товарищей из той же «Среды». Сам он решил прочитать новый рассказ «Иностранец», Найдёнов — отрывок из пьесы «Жильцы», Бунин — «На край света», на мою долю досталась легенда «О трёх юношах» и на долю Скитальца — стихи. Интерес к группе писателей из «Среды» в то время только что разрастался, и билеты брались бойко. Громадный Колонный зал бывшего Благородного собрания, теперешнего Дома союзов, был переполнен. Авторов, впервые появившихся перед публикой на эстраде, шумно и долго приветствовали; успех вечера ярко определился. По установившемуся обычаю, на больших вечерах, особенно в лучшем из московских помещений, исполнители одевались парадно: певицы — в бальных платьях, чтецы и музыканты — во фраках. Один только Скиталец, пришедший к самому концу вечера, явился в неизменной своей блузе и только вместо обыкновенного галстука размахнул по всей груди какой-то широкий синий бант. Ввиду опоздания ему достался самый последний, заключительный номер. И вот в раскалённую уже успехом вечера атмосферу, после скрипок, фраков, причёсок и дамских декольте, вдруг врывается нечто новое, ещё невиданное в этих стенах — на эстраду почти вбегает косматый, свирепого вида блузник, делает движения, как бы собираясь засучивать рукава, быстрыми шагами подходит к самому краю помоста и, вскинув голову, громким голосом, на весь огромный зал, переполненный нарядной публикой, выбрасывает слова, точно камни:

...Пусть лежит у вас на сердце тень!
Песнь моя не понравится вам:
Зазвенит она, словно кистень,
По пустым головам!
Я к вам явился возвестить:
Жизнь казни вашей ждет!
Жизнь хочет вам нещадно мстить —
Она за мной идёт!..

Когда он кончил это стихотворение и замолк, то поднялся в зале не только стук, треск и гром, но буквально заревела буря. По словам газеты «Курьер», сохранившейся у меня в вырезке, «буря эта превратилась в настоящий ураган, когда Скиталец на бис прочёл стихотворение «Нет, я не с вами».

«Стены Благородного собрания, вероятно, в первый раз слышали такие песни и никогда не видели исполнителя в столь простом костюме...»

Так сообщала газета. Так это все и было на самом деле. Но в тогдашних газетах всё-таки нельзя было написать обо всём, что случилось.

— Я ненавижу глубоко, страстно
Всех вас; вы — жабы в гнилом болоте! —

так выкрикивал Скиталец в публику громовым голосом, потрясая над головой рукою и встряхивая волосами:

Мой бог — не ваш бог; ваш бог прощает...
А мой бог — мститель! Мой бог карает!
Мой бог предаст вас громам и карам,
Господь мой грянет грозой над вами
И оживит вас своим ударом!

Полицейский пристав, сидевший на дежурстве в первом ряду кресел, не дожидаясь конца, не поднялся, а вскочил и резко заявил, что прекращает концерт. Публика с криками бросилась с мест к эстраде, придвинулась вплотную, а молодёжь полезла даже на самый помост, чтобы приветствовать автора; кричали: «Качать! Качать!..» Стук и топот, визг и крики, восторги и возмущение — все это оглушало, ничего нельзя было разобрать. Полиция распорядилась гасить огни. И блестящий зал сразу потускнел. Одна за одной гасли огромные люстры, но народ не расходился и всё кричал и стучал, вызывая Скитальца на бис. В зале становилось уже темно.

Наконец полиция явилась в артистическую комнату, где для участвующих был сервирован чай.

— Немедленно покиньте помещение!

И когда удалили исполнителей, публика поневоле затихла и в полутьме побрела к своим шубам. Но на улице, возле подъезда, опять поднялись возгласы и крики.

Кончилось всё это тем, что Скиталец уехал на Волгу, Общество помощи учащимся женщинам заработало с вечера хорошую сумму, а Леонид Андреев, как официальный устроитель вечера, подписавший афишу, внезапно был привлечен к ответственности в уголовном порядке за то, что не воспрепятствовал Скитальцу прочитать стихотворение, где пророчилась революция и гнев народный. Газету «Курьер» за то, что она на другой день поместила сочувственный отчёт о вечере и напечатала стихотворение Скитальца «Гусляр», им прочитанное, запретили на несколько месяцев. В дальнейшем всех нас вызывали к следователю для допроса, а затем свидетелями в суд, где Андреев сидел на скамье подсудимых и чуть-чуть не пострадал неведомо за что.

— Писал Скиталец, читал Скиталец и прославился Скиталец, а меня хотят посадить либо выслать,— смеялся Леонид Николаевич уже в зале суда перед началом процесса.

Однако суд его оправдал.

В эту же зиму время от времени стал приезжать на «Среды» Фёдор Иванович Шаляпин, не только уже признанный, но и прославленный артист, певший в то время в Большом театре. Иногда он принимал участие в общей беседе, нередко любил пошутить, рассказать анекдот, иногда очень сильно прочитывал какой-нибудь драматический отрывок, выявляя и здесь высокое артистическое мастерство, и опять возвращался к шутке и балагурству. А то садился иногда за рояль и, сам себе аккомпанируя, начинал петь.

Помимо обычных наших постоянных собраний время от времени устраивались так называемые «выходные», или «большие» «Среды», на которые съезжалось очень много народу. Мы не чуждались тогдашнего нового направления — декадентов, модернистов и иных, и у нас можно было встретить на таких «больших» собраниях: Брюсова, Бальмонта, Белого, Кречетова, Сологуба... Но мы считали их гостями, а не членами «Среды», и эти большие, или выходные, «Среды» делались уже не у меня в квартире, а либо у Андреева, либо у Голоушева. Все это заблаговременно обсуждалось «Средою» и никогда не носило случайного характера, а выполнялось в качестве постановления, нашим гостям, может быть, и неизвестного. На такие вечера приезжали и артисты, как В. И. Качалов, О. Л. Книппер-Чехова, Л. А. Сулержицкий, бывали известные адвокаты, врачи, художники, журналисты, издатели, профессора. Однако все они были чьими-нибудь личными знакомыми, случайных же людей, хотя бы и очень интересных, не допускали по причинам понятным: строгий отбор гарантировал и нас и наших гостей от недрёманного ока — от развивавшегося в то время невероятного сыска. А недрёманное око интересовалось «Средою» — это было нам хорошо и точно известно.

Не всегда на «Средах», или, вернее, не все время и течение вечеров, беседы бывали деловые и серьёзные. Допускались у нас и шутки, и смех. Были в ходу одно время всякие прозвища и куплеты. Помню, про андреевский рассказ «Бездна» кто-то пустил двустишие, и Андреев им очень утешался. Это случилось после того, как на него напали за эту «Бездну» и «Новое время» и Софья Андреевна Толстая, громившие молодого писателя. Сам же Леонид Андреев, улыбаясь, любил повторять среди приятелей пущенный каламбур:

Будьте любезны:
Не читайте «Бездны».

Про Скитальца тоже был сложен стишок. Не помню его целиком. В памяти удержалось только:

Юноша звал себя в мире Скитальцем,
И по трактирам скитался действительно...

Больше всех смеялся над этим сам же Скиталец, которого читатели представляли себе необычайно мрачным и страшным, так как сам о себе он писал в стихотворениях: «Я и меч и вместе пламя», или: «Коли пить — пей ковшом; бить — так бей кистенём!»

Очень метко дали ему сравнение с тигром... из мехового магазина. «Он пугает, а мне не страшно»,— как говорил Л. Н. Толстой о творчестве Л. Андреева.

Прозвища давались только своим постоянным товарищам, и выбирать эти прозвища дозволялось только из действительных тогдашних названий московских улиц, площадей и переулков. Это называлось у нас «давать адреса». Делалось это открыто, то есть от прозванного не скрывался его «адрес», а объявлялся во всеуслышание и никогда «за спиной».

Например, Н. Н. Златовратскому дан был сначала такой адрес: «Старые Триумфальные ворота», но потом переменили на «Патриаршие пруды»; редактору «Русской мысли» В. А. Гольцеву дали адрес: «Девичье поле», но после изменили на «Бабий городок»; Н. И. Тимковский назывался «Зацепа»; театральный критик С. С. Голоушев — «Брёхов переулок»; Е. П. Гославский — за обычное безмолвие во время споров —«Большая Молчановка», а другой товарищ, Л. А. Хитрово, наоборот, за пристрастие к речам — «Самотёка»; Горький за своих босяков и героев «Дна» получил адрес знаменитой московской площади «Хитровка», покрытой ночлежками и притонами; Шаляпин был «Разгуляй». Старший Бунин — Юлий, работавший всю жизнь по редакциям, был «Старо-Газетный переулок»; младший — Иван Бунин, отчасти за свою худобу, отчасти за острословие, от которого иным приходилось солоно, назывался «Живодёрка», а кроткий Белоусов — «Пречистенка»; А. С. Серафимович за свою лысину получил адрес «Кудрино»; В. В. Вересаев — за нерушимость взглядов — «Каменный мост»; Чириков — за высокий лоб — «Лобное место»; А. И. Куприн — за пристрастие к лошадям и цирку — «Конная площадь», а только что начавшему тогда Л. Н. Андрееву дали адрес «Большой Ново-Проектированный переулок», но его это не удовлетворило, и он просил дать ему возможность переменить адрес, или, как у нас называлось, «переехать» в другое место, хоть на «Ваганьково кладбище».

— Мало ли я вам про покойников писал,— говорил, бывало, Андреев.— У меня что ни рассказ, то два-три покойника. Дайте мне адрес «Ваганьково». Я, кажется, заслужил.

Не сразу, но просьбу его все-таки уважили, и он успокоился.

Над этими адресами хохотал и потешался А. П. Чехов, когда однажды в его ялтинском кабинете мы рассказывали о них.

— А меня как прозвали? — с интересом спрашивал Антон Павлович, готовясь смеяться над собственным «адресом».

— Вас не тронули, вы без адреса.

— Ну, это нехорошо, это жалко, — разочарованно говорил он. — Это очень досадно. Приедете в Москву, непременно прозовите меня. Только

без всяких церемоний. Чем смешнее, тем лучше. И напишите мне — как. Доставите удовольствие.

Когда он услыхал, что В. С. Миролюбову за его громадный рост дали адрес «Каланчёвская площадь», то с улыбкой заметил:

— Глеб Успенский его тоже великолепно окрестил, совершенно невероятным именем, но метко: «Пирамидальный буйвол». Вот это сказано!

Так, мешая дело с шутками и работу с пустяками, мы много лет дружно и хорошо жили. Время от времени возникали в нашей среде какие-нибудь неприятности и инциденты. То кого-нибудь арестовывали, то высылали; так, например, из Ялты градоначальник Думбадзе начал одно время изгонять административно всех приезжих писателей. Он выгнал из Ялты даже коренного ялтинца, доктора и писателя Елпатьевского, большого специалиста по лёгочным болезням, уважаемого и любимого общественного деятеля. Происходили иногда разного рода столкновения, о которых потом писали в газетах, рисовали по поводу них карикатуры; ничтожный сам по себе инцидент иногда раздували в событие, как, например, недоразумение между Горьким и публикой в Художественном театре.

Время было тревожное. Власти старались зажимать всем рты, чтоб молчали, но вынужденное молчание не было во власти «властей»: в воздухе парил уже «Буревестник», и мало-помалу приближался 1905 год.

«Среда» чутко реагировала на выдающиеся явления общественной жизни; отсюда нередко исходила инициатива всемосковского протеста по поводу особо возмутительных действий тогдашнего правительства. Составлялись протесты, покрывались многими подписями именитых общественных деятелей, писались петиции, читались публично резкие доклады. «Средою» издан был даже особый товарищеский сборник под скромным названием «Книга рассказов и стихотворений». Издан он был «на всякий случай». И случай этот вскоре представился: все вырученные деньги были целиком переданы в 1905 году забастовочному комитету на вспыхнувшую тогда знаменитую почтово-телеграфную забастовку, проведённую героически и имевшую большое влияние на появление тоже «знаменитого» манифеста об учреждении Государственной думы.

В сектор рукописей Института мировой литературы имени Горького передана подлинная рукопись одного из резких протестов писателей против зверств московской полиции. Заверенную копию я и цитирую как один из примеров:

«5 декабря 1904 года, в Москве, в то время, когда часть населения пыталась заявить свое несочувствие существующему бюрократическому строю, полиция, заранее собранная в огромном количестве и скрытая во дворах и иных помещениях, нападала как на демонстрантов, так и на случайную публику. Полицейские рубили народ отточенными шашками, причиняя тяжкие раны и даже увечья. Стреляли в упор в убегающих из револьверов, загоняли толпами во дворы, где беспрепятственно били

и истязали беззащитных людей до потери сознания. Не разбирали ни пола, ни возраста. Избитых отводили в участки, и там избиение продолжалось. Магазины и подъезды по распоряжению полиции были закрыты, спасавшиеся от неистовых преследователей не имели возможности укрыться. Такому же насилию подверглись жители Москвы и 6 декабря, когда никакой демонстрации не было, и объектом полицейских избиений делалась ничего не ожидавшая публика.

Группа московских писателей, выражая как свои чувства, так и чувства сознательной части общества, глубоко возмущённая этими зверствами московской администрации, высказывает насильникам своё отвращение и во всеуслышание заявляет, что эта действующая по произволу жестокая и грубая администрация лишний раз подтвердила, что существующий режим более терпим быть не может».

Под протестом подлинные подписи-автографы: Е. Чирикова, Л. Андреева, С. Петрова-Скитальца, Н. Телешова, И. Белоусова и других.

В конце 1902 года была сфотографирована Фишером группа из семи человек: Горький, Скиталец, Бунин, Андреев, Телешов, Чириков и Шаляпин. Эти снимки разошлись по всему миру. Не было, кажется, такого журнала, где бы не появились эти репродукции за всевозможными подписями. В одних заграничных изданиях называли группу «писателями», в иных изданиях «русскими революционерами» и т. д. Русские иллюстрированные журналы буквально все, кроме ярко черносотенных, помещали у себя эту группу: это было как бы представление читателям авторского коллектива зарождавшегося тогда издательства «Знание» и сборников «Знание», имевших такое значительное отношение к 1905 году. Эти сборники были организованы Горьким у нас же, на одной из «Сред», когда Алексей Максимович, приехав на день в Москву, отбирал у нас рукописи для первого выпуска. В память этого начинания «Сборников» Горький и предложил нам сняться товарищеской группой. Первый сборник был составлен исключительно из произведений членов «Среды».

Помимо сборников «Знание» стало издавать отдельными томами рассказы и повести товарищей по «Среде». Так, изданная небольшая книжка рассказов Леонида Андреева создала популярность автору и содействовала быстрому его прославлению.

Важно отметить, что ни один автор не был связан никакими неустойками, никакими контрактами, никакими обязательными сроками, как это делалось буквально во всех иных издательствах. Здесь автор был совершенно свободен и независим.

Когда же через несколько лет издательство «Знание» закрылось, «Среда» немедленно попыталась заполнить этот пробел и организовала в Москве «Книгоиздательство писателей» с ярко выраженной тенденцией защиты авторов от издательской зависимости и нередко — кабалы. Над нашей затеей смеялись, потому что мы объявили: «От издания книги весь доход принадлежит автору, а не издателю». Возможно, что это было и

ново и дерзко, но не было смешно и нелепо, потому что «Среда» доказывала всё это на деле в течение десятка лет. Частные издатели и всякие скупщики авторских рукописей — эти «любители российской словесности», как называл их в шутку и с горя Мамин-Сибиряк, — сначала подсмеивались над нами. Но потом перестали смеяться.

«Книгоиздательство писателей» вначале вынуждено было именоваться официально «торговым домом на вере» под фирмою «Торговый дом Голубев и Махалов для производства в городе Москве операций по изданию и продаже книг как русских, так и иностранных писателей». Несмотря на всю нелепость, на всю вздорность такого наименования, учредителями дела стали четырнадцать человек, среди которых были: Белоусов, братья Бунины, Вересаев, Крашенинников, Серафимович, Телешов, Шмелёв и другие. Близкое участие в изданиях принимали А. Н. Толстой, К. А. Тренёв, И. А. Новиков... Первоначальный паевой капитал составлял всего лишь 3400 рублей — сумму, ничтожную для открытия издательского дела, и не только ничтожную, но смешную. С таким «капиталом» невозможно было, конечно, рассчитывать на издание хотя бы одного сколько-нибудь заметного имени. Но суть дела была не в капитале, а в составе новорожденного издательства, в составе этого «торгового дома», располагавшего согласием и сочувствием целого ряда имён, не только заметных, но и значительных и в своё время. Вскоре «торговый дом» был переименован к «товарищество», целью которого официально объявлялось: «Прийти на помощь авторам в издании книг и избавить их от необходимости значительную часть дохода с издания отдавать издателям».

Как могло пройти в то время в печати такое заявление, а это было в 1912 году, мы сами удивлялись. Однако оно было напечатано чёрным по белому и разослано многим писателям для осведомления.

В этом объявлении говорилось не только о борьбе с эксплуататорами писательского труда, но и об условиях издания книг: издательство берёт на себя весь риск по изданию, а поступающий доход в первую очередь идёт целиком на погашение расходов по напечатанию книги и по бумаге. В этом случае издательство удерживает в свою пользу на расходы по конторе, помещению, налогам и проч. только десять процентов с номинальной цены каждого экземпляра; весь же остальной доход идёт автору, который в конечном счёте, за вычетом производственных затрат, получает до сорока процентов с номинала каждого экземпляра книги. И все последующие издания производятся на тех же основаниях. Члены товарищества не пользуются никакими преимуществами по изданию своих книг; права их в этом отношении ничем не отличаются от прав посторонних лиц.

Все эти условия, к раздражению частных издателей и к радостному удивлению нашему, были беспрепятственно напечатаны и разосланы по адресам заинтересованных лиц и в результате привлекли к издательству много видных авторов, беллетристов и критиков: Горького, Короленко,

Елпатьевского, Златовратского, Тренёва, Найдёнова, Сергеева-Ценского, Серафимовича, Юшкевича, Новикова-Прибоя и многих других помимо тех, кто входил в основную группу. Наследники А. П. Чехова, изверившиеся в частных издателях, отдали товариществу все шесть томов писем Чехова. Кроме того, издательство предприняло взамен прекратившихся сборников «Знание» выпуск сборников под названием «Слово», имевших в своё время, с 1910 по 1917 год, выдающийся успех. За ними гонялись книжные магазины почти так же, как и за сборниками «Знание». Народно-школьная библиотека и так называемая «Дешёвая библиотека» в определённом подборе авторов и их произведений дополняли общественную роль «Книгоиздательства писателей». Насколько хороша или нехороша была эта роль, об этом судить не нам, участникам и созидателям дела. Председателями правления были в разное время, если не ошибаюсь, только двое: В. В. Вересаев и я.

Дело, над которым посмеивались крупные издатели, выросло так, что за короткое время стало уже невозможным закабалять писателя с известным именем на многие годы, а то и навсегда, как это нередко тогда случалось. Всякий писатель, в какой бы нужде он ни находился, имел возможность издать свои книги не на условиях кабалы, а на основе товарищеской. И в этом была немалая общественная роль «Среды», объединившей определённую группу писателей и избавлявшей их, а также и многих иных литераторов, от скупщиков рукописей нуждающихся авторов, от этих писательских благодетелей, от этих «любителей российской словесности».

Личные отношения участников «Среды» между собою были вполне дружеские, во всяком случае среди большинства, и очень сердечные и искренние, особенно между некоторыми из нас. Близость была не только писательская или товарищеская, но часто и личная и семейная.

Хотя А. П. Чехов жил в Ялте, но всегда интересовался нашим кружком, и когда мы напечатали товарищеский сборник «Книга рассказов и стихотворений», Антон Павлович писал мне о нём:

«Я прочитал уже почти всё — и многое мне понравилось, многое очаровало... “В сочельник” и “Песня о слепых”, особенно к концу, показались мне необыкновенно хорошими, великолепными... Спасибо большое, большущее!.. Крепко жму руку... Поклон и привет завсегдатаям “Среды”...»

А когда в 1904 году Чехов приехал в Москву ставить свою последнюю пьесу «Вишнёвый сад», то провел у меня, среди наших товарищей, весь вечер и просил писать ему о всех наших новостях и достижениях.

Начиная с 1909 года характер «Сред» коренным образом изменился. Собираться стали уже не у меня и не в частных квартирах товарищей, а в Литературно-художественном кружке, на Большой Дмитровке, переименованной теперь в Пушкинскую улицу[4]. Здесь было отведено «Среде»

[4] Теперь дореволюционное название улицы возвращено — *Прим. Л. Логиновой.*

хорошее помещение. Во главе этих собраний стал Юлий Бунин. В первую же зиму число участников настолько выросло благодаря молодым поэтам и молодым писателям, что большой запасный зал кружка еле вмещал всех желающих.

Среди участников была не только молодёжь, но нередко посещали эти собрания и такие писатели, как А. Н. Толстой, Ив. А. Новиков, имена которых были уже достаточно известны в литературе. После чтений и прений устраивался обычно товарищеский чай с речами, стихами, остротами и любопытными стихотворными «протоколами», иногда блестяще остроумными, которые сочинял тут же, не выходя из комнаты, экспромтом, М. П. Гальперин и прочитывал всему собранию о его сегодняшнем заседании, перечисляя чем-либо выделявшиеся в этот вечер имена, слова и случаи в несколько утрированном виде, что и делало их забавными и интересными; эти шутки были веселы и ничьему самолюбию не обидны.

Этот остроумный и приятный поэт в советское время много работал по драматургии, сочинял либретто для новых опер и оперетток и погиб совершенно случайно под колёсами грузовика почти у самой своей квартиры в 1944 году.

Не всегда, однако, проходили эти чтения молодых писателей благополучно. Был, например, случай, когда один поэт из лагеря декадентов так резко разносил прочитанные стихи молодёжи, что в заключение воскликнул:

— Топи их, пока они слепые!

Это необузданное восклицание вызвало, в свою очередь, ярую защиту молодых авторов со стороны Ивана Бунина, и вечер прошёл в общем взволнованном настроении.

На этих молодых «Средах» вспоминаются мне некоторые особо заметные силы того времени, как поэтесса Ада Чумаченко, юный Валентин Костылев, ставший впоследствии известным писателем, беллетристы — В. Г. Лидин, Шмелёв, Фомин, Ашукин, критик Юрий Соболев, художник Ап. М. Васнецов, являвшийся здесь в качестве беллетриста со своими рассказами, и Н. Г. Шкляр, выступавший обычно как благожелательный критик прочитанных произведений, и многие-многие, ставшие известными в советское время. Среди гостей и молчаливых слушателей, интересовавшихся молодыми авторами, вспоминаются тоже многие из видных людей, как, например, народный артист С. И. Мигай, в то время еще молодой студент-юрист, и другие молодые люди — учителя, врачи, журналисты, ставшие потом очень известными и даже крупными именами. В общем, молодая «Среда» отстаивала реалистическое направление, несмотря на моду и увлечение иными вкусами. Ветер декадентства переставал бушевать, и нормальное отношение к литературе становилось мало-помалу необходимым.

Количество новых участников неимоверно росло. Зато старые товарищи стали бывать на собраниях все реже и реже. По нескольку раз в зиму они снова начали собираться то у меня, то изредка у Голоушева. Многих из прежних уже не стало: кто уехал за границу вследствие реакционного засилья, кто перебрался в Петербург или в иные города. Но, с другой стороны, за это же время были и хорошие пополнения: сблизились с нами Иван Иванович Попов, старый народоволец, невольный сибиряк, бывший редактор-издатель большой и влиятельной сибирской газеты «Восточное обозрение» и журнала «Сибирский сборник», и ещё Иван Сергеевич Шмелёв, человек талантливый и яркий, написавший немало сильных рассказов и повестей, в том числе «Человек из ресторана», печатавшихся в «Знании». С ними обоими установились быстро и прочно товарищеские отношения.

В связи с этой порой вспоминается тяжкое впечатление от известия об уходе из Ясной Поляны Льва Николаевича Толстого — одного из величайших людей своего времени. Это бегство в осеннюю черную ночь по глухим деревенским дорогам, окружённое в первые дни таинственностью, произвело потрясающее впечатление как среди нас, так и за границей, где имя Толстого пользовалось большим уважением.

Извещение о его болезни в пути, о его остановке на станции Астапово, наконец, о его кончине — всё это было не только волнующим, но в полной мере потрясающим событием. Телеграмма, напечатанная в газетах, о том, что 7/20 ноября 1910 года в 6 часов 05 минут утра в Астапове скончался Лев Николаевич Толстой, произвела страшное впечатление, хотя все уже были подготовлены к такому известию.

Радостно зашипели крайние реакционные ненавистники, духовные владыки, митрополиты, придворные приспешники, министры, чиновники и вся та злая рать, предавшая Толстого анафеме, отлучившая его от церкви; все эти отлучения и анафемы являлись только свидетельством и доказательством того, что голос его услышан и что неуязвимая броня пробита. Значительнейшее большинство людей той эпохи смотрело иначе, чем люди придворного типа, для которых Толстой был только еретик и смутьян. Вряд ли в мире была такая страна, хотя бы с зарождающейся только культурой, где бы не было почитателей Льва Николаевича и где имя его не было бы окружено вниманием, любовью и уважением.

«Великий писатель земли русской» уже давно перестал говорить с одними избранниками, а заговорил со всем народом на языке простом и понятном всякому о вопросах, для всех насущных, коренящихся в самой жизни, стремясь слова свои связать с своими личными поступками. Отречение, отречение, отречение — вот вечный спутник искателей правды. А в поступках правдивых и смелых другие люди обычно чувствуют и видят себе укор. Вот почему так часто и так охотно осуждаются многие, выходящее за пределы обыденного. И чем более отрекался Толстой от благ жизни, тем более вырастал из его жизни укор другим людям и тем

больше сыпалось на него обвинений в неискренности со стороны чуждых ему тёмных сил, видевших свое счастье и благополучие только во власти, в богатстве и в насилии над другими людьми.

Терпеливо и внимательно читал он и выслушивал озлобленные выходки против него, нередко угрозы, оскорбления, даже проклятия и площадную брань, думая не о себе самом, но о тех, кто мог пострадать от этого — из-за него попасть в беду, в заключение или в ссылку, что нередко и случалось в те жестокие времена.

Многие тысячи людей со всего света обращались к Толстому лично и письменно; обращались к нему крестьяне с своими вековечными нуждами и вопросами, обращались всякие люди с делами, общественными и личными, обращались все, кому было трудно, или больно, или невыносимо жить...

Вспоминаются невольно замечательные слова А. М. Горького:

«Толстой — это целый мир... Не зная Толстого — нельзя считать себя знающим свою страну, нельзя считать себя культурным человеком». И вот ушёл от нас великий гражданин мира, как его называли в последнее время.

Свои размышления «О жизни и смерти» Лев Николаевич прислал мне для сборника «Друкарь», в пользу тружеников печатного дела, который и вышел в 1909 году под моей редакцией. Один из афоризмов он написал собственноручно под своим портретом, который также был помещён в «Друкаре» с его автографом.

Старой «Среды», в сущности, уже более не существовало. Жива была новая, или молодая, «Среда», многочисленная, деятельная, в которой старые основатели «Сред» бывали скорее как гости и каждый ответственным был только за самого себя. Но в отдельности «старики» оставались друг с другом товарищами. Они теперь сплотились вокруг «Книгоиздательства писателей», войдя в совет и редакцию; почти все они были и составе дирекции Литературно-художественного кружка, в правлении «Общества деятелей периодической печати» и в суде чести при этом обществе, работали в правлении кассы взаимопомощи литераторов и учёных, где я был председателем около пятнадцати лет. Всегда было что-нибудь такое, что связывало нас и держало в каком-то единении. Даже во время войны «Среде» было поручено от всемосковского Дня печати составить сборник в помощь жертвам мировой бойни. И «Среда» выделила из своего состава трёх редакторов: И. А. Бунина, В. В. Вересаева и Н. Д. Телешова, которые и составили этот сборник немедленно под названием «Клич», где участвовали лучшие современные писатели, крупные художники и знаменитые композиторы. Книга была распродана в три дня и дала чистой прибыли, согласно опубликованному отчету, тридцать четыре тысячи рублей. Эти деньги влились в общую, дополню — значительную, сумму, собранную Днём печати, и распреде-

лённую, согласно постановлению общего собрания московского Дня печати, между национальными организациями, оказывавшими помощь пострадавшему от войны населению: армянскому, польскому, грузинскому, еврейскому, латышскому, литовскому, татарскому и украинскому — через Пироговское общество, в равной части каждой организации.

Немало выпало на мою долю трудов по составлению и изданию этого сборника, и недаром на первом экземпляре, полученном из типографии, сделана надпись на книге рукою Вересаева: «Дорогому товарищу Н. Д. Телешову, на своих плечах вынесшему всю огромную работу по созданию "Клича"». Под этим подписи: «Соредакторы: Ив. Бунин и В. Вересаев. 17 марта 1915».

Очень дорожу я этим признанием и берегу с любовью этот памятный экземпляр.

В течение четверти века не было, или почти не было, в Москве ни одного общественного дела, ни одного культурного начинания, где бы так или иначе не принимала горячего и ближайшего участия «Среда», если не как коллектив, то в лице своих отдельных членов. Авторитет «Среды» стоял высоко, и нередко к ней обращались общественные группы, когда возникали серьёзные, принципиальные конфликты и требовалось беспристрастное третейское решение. В таких случаях «Среда» указывала на одного из своих сотоварищей, и его избирали в судьи.

Вспоминается один сложный и тяжёлый процесс.

Молодой поэт из группы модернистов был заподозрен в провокации, и на его голову посыпались обвинения в предательстве своих друзей. Началось все это с корреспонденции из Парижа, напечатанной в газете «Русские ведомости»; впутано было сюда же имя известного «всезная» по этой части Вл. Бурцева, который признавал, что за поэтом провокация налицо. Обвинение было настолько определённо, а намеки настолько прозрачны, что имя заподозренного называлось уже прямо, хотя в корреспонденции оно не фигурировало, и поэту многие перестали подавать руку, затем журналы прекратили приём и печатание его работ, затем ему было отказано в службе — он был педагогом. С потерей доброго имени пропали и средства к жизни. Защищаться возможности не было, потому что нельзя было подать жалобу в государственный так называемый «коронный» суд благодаря политически скользкой теме. Какое же правительство согласится, в самом деле, считать за преступление службу в своей политической агентуре и работу в ней рассматривать как позор для сотрудника? И в каком положении оказались бы свидетели, как сами, так и все те люди и кружки, о которых пришлось бы рассказывать на суде!

Для сыска и для широкого предательства такой процесс был бы величайшим торжеством и праздником. А этого не мог желать никто.

Из создавшегося тупика выхода не было. Травля продолжалась, пока не составился «частный суд» — суд чести, при совершенно закрытых две-

ряx. В состав суда входило семь лиц — представителей адвокатуры, литературы и общественности: трое со стороны «Русских ведомостей», во главе с Н. В. Давыдовым, и трое со стороны писателя; в их число входил и я, хотя писатель был далеко не из друзей нашей группы и даже не из числа моих знакомых. Суперарбитром был избран С. И. Филатов, в то время председатель совета присяжных поверенных — организации, облечённой высоким общественным доверием. Этим судьям вверялся вопрос о добром имени человека и, в связи с этим, несомненно, о его жизни и смерти, — настолько серьёзно разыгрался и мучительно протекал этот скандал.

Процесс тянулся несколько месяцев — с осени до весны. Из показаний множества свидетелей, преимущественно из литературного и журнального мира, выяснились ужасающие картины сыска, гнёта, подкупа, торговли головами людей. Эти показания навели на след одной «прекрасной дамы», стоявшей, несомненно, в центре доносов. Она жила где-то в имении, недалеко от Москвы. К ней и направили от суда доверенное лицо с просьбой приехать на заседание для дачи показаний по делу писателя в качестве простой свидетельницы. Она встретила посланника дерзко и объявила ему, чтоб он убирался сию минуту вон и никогда не приходил бы вторично, иначе она затравит его собаками.

По ходу дела для окончательного выяснения виновности или невиновности писателя стало неизбежным предложить ряд существенных вопросов как автору позорящих статей, напечатанных в газете, Белорусову, так и В. Л. Бурцеву, признававшему эти статьи правильными. Но оба они жили в Париже. Посылать вопросы и получать ответы через почту было равносильно открытию дверей и даже хуже, так как все письма, несомненно, были бы тайно читаны жандармерией. И суд вынужден был послать нарочного — верного человека с необходимыми вопросами в Париж, добиться там личного свидания и привезти суду письменные же ответы. Это сложное поручение и затормозило течение процесса.

Обязанности судей были морально тяжелы и крайне ответственны: нельзя было обелять виновного в гнусных преступлениях, но нельзя и обвинять в таком деле по предположению, без явных доказательств. Были приняты все меры к выяснению истины. И после долгих, упорных и мучительных трудов суд пришёл к заключению, что обвинение не подтвердилось решительно ничем. Доброе имя, а с ним, вероятно, и самая жизнь писателя были спасены.

Освободив литератора от тяготевших над ним обвинений, третейский суд в своем решении касается и поведения газеты: «В действиях редакции нет нарушения требований справедливости и добрых нравов; в деле нет никаких указаний на то, чтобы, печатая инкриминируемые статьи, редакция преследовала своекорыстные или вообще личные цели, руководилась намерениями, не отвечающими требованиям общей или литературной этики; редакция имела в виду не сенсацию, дающую газете

внешний успех, а исследование явления, требовавшего серьезного общественного внимания; имелась в виду борьба с явлением, а не удары по отдельным лицам, не расправа с ними. И тем не менее, как показали обстоятельства дела, на долю [литератора] выпал тяжелый удар. Это было бы печально, но неизбежно, если б удар был заслужен, но, как сказано выше, доказательств вины "не имелось и не имеется"... Поэтому третейский суд считает себя обязанным отметить в действиях редакции и то, что являет собою прискорбную неосторожность — прискорбную по тем тяжелым последствиям, какие повлёк за собою обрушившийся на [литератора] удар. Репутация газеты «Русские ведомости» общеизвестна и создана долгими годами служения общественным интересам, но чем авторитетнее слово газеты, тем с большей осторожностью оно должно быть произносимо».

Из этого краткого отрывка очень пространной резолюции — почти в тысячу газетных строк — видно, с каким вниманием работал суд над всеми вопросами, над всеми подробностями этого крайне сложного, крайне щекотливого и ответственного дела.

В литературных кругах многие с волнением ожидали окончания этого затянувшегося процесса. Вот отрывок из письма ко мне Бориса Зайцева:

«Какая тяжесть свалилась с плеч с развязкой этой истории. Резолюция умна, основательна и, по-моему, справедлива. Впечатление от нее — отрадное. Не зря волновались мы, не напрасно вы теряли время, силы и нервы на распутывание всего этого... Вы с такой добросовестностью и сердечностью отнеслись к горю почти неизвестного вам человека. Знаю, что, возможно, благодаря этому делу и вашему беспристрастию вы нажили кое-каких недоброжелателей... Но вы бесконечно выше закулисных влияний, и это подтвердилось вполне в деле слабого, но правого против сильных неправых...»

Члены «Среды» имели возможность влиять на самые разнообразные стороны жизни. Через Литературно-художественный кружок они помогали писателям, артистам, художникам и просто людям труда, впавшим в беду или крайность; через Общество периодической печати и литературы с его судом чести защищали права и достоинство отдельных деятелей науки и литературы, через кассу взаимопомощи литераторов и учёных собирались ими по трудовым грошам товарищеские средства, и члены кассы за четверть века работы в последние годы стали иметь возможность бесплатно учить своих детей, доживать более или менее сносно свой век на пенсии и даже лечиться и жить в Ессентуках, где было оборудовано помещение для приезжающих писателей, а в случае смерти осиротевшая семья члена кассы получала немедленно и без всяких хлопот поразрядную сумму денег.

Последнее собрание «Среды» состоялось в 1916 году. На нём приехавший из Петрограда Леонид Андреев знакомил нас со своей новой,

последней пьесой — трагедией «Самсон в оковах», которую в присутствии автора прочитал Голоушев. Ознакомление с пьесой не сопровождалось успехом, к которому привык Андреев в прежние годы, а он привёз с собою на «Среду» нескольких петроградских приятелей. В их числе был Федор Сологуб (Тетерников), ранее никогда на «Среде» не бывавший. Обычное обсуждение прочитанного не налаживалось; что-то препятствовало этому. Может быть, разгар мировой войны и предчувствие иных надвигающихся мировых событий делали героев библейской эпохи недостаточно яркими, но только общий разговор быстро перешел от пьесы к современным явлениям, и обсуждение пьесы так и не состоялось.

После этого вечера у нас ни одного собрания больше уже не было.

Вскоре «Среда» начала переживать потерю за потерей. Начиная с Андреева, умершего в 1919 году, стали сходить один за другим в могилу близкие товарищи. Не стало Юлия Бунина, Тимковского, Голоушева, Белоусова, Грузинского. В январе 1933 года умер старейший наш сочлен Сергей Яковлевич Елпатьевский — один из типичнейших представителей литературы минувшего времени, не дотянувший всего лишь нескольких месяцев до своего восьмидесятилетия. Это был высокого роста, сухой, очень бодрый и подвижный старик, с отзывчивым и ласковым сердцем, с душою студента восьмидесятых годов, общественник, публицист и беллетрист, даровитый и умный человек, широко образованный, по специальности врач — большой и очень опытный знаток лёгочных болезней. В своё время изведавший арест, тюрьму и ссылку по политическим делам, он отразил пережитые впечатления в своих очерках и рассказах, описывая людей, жаждущих воли, чьи жизни были загублены острогом и ссылкой, описывая длительные полярные ночи, великую жуть сибирского безлюдья, бесконечную тайгу с её непрерывным, угрожающим, как рёв расходившегося, растревоженного зверя, воем... Сын сельского священника, он оставил в литературе целый ряд интересных очерков о своем детстве в деревне среди крестьян, а также ряд характеристик и воспоминаний о выдающихся писателях, общественных деятелях и революционерах своего времени. Всегда внимательный к человеку, всегда ласковый и готовый помочь словом и делом, Елпатьевский был вечно в работе и заботе. В Ялте, где он жил много лет после освобождения, он организовал санатории и пункты бесплатной медицинской помощи для нуждающихся больных, каковых всегда стекалось в Крым бесчисленное множество.

Когда в Москве в 1905 году был созван знаменитый Всероссийский съезд врачей в память Пирогова, Елпатьевский избран был председателем этого съезда.

В 1936 году всех нас, советских людей, потрясла весть о безвременной смерти Алексея Максимовича Горького, человека и писателя огромного значения для нашей эпохи.

В 1938 году умер за границей Федор Иванович Шаляпин — сын вятского крестьянина, великий русский артист. Детство его прошло в бед-

ности, в самых низах, почти в нищете. Одновременно с Горьким, еще не зная друг друга, они работали бок о бок в Саратове как грузчики. А в Казани, как рассказывал сам Шаляпин, «я был сапожником, а Горький — пекарем. И я и он по воскресным дням принимали участие в кулачных боях с татарами на замерзшем озере». Потом попробовали пристать к театру. Горький был принят как певчий, а Шаляпина забраковали. Впоследствии, когда к ним пришла большая слава, они были близкими друзьями.

В том же 1938 году умер Александр Иванович Куприн, незадолго перед тем вернувшийся из-за границы. Уехал он если и не очень молодым, но очень крепким и сильным физически, почти атлетом, а вернулся измождённым, потерявшим память, бессильным и безвольным инвалидом. Я был у него в гостинице «Метрополь» дня через три после его приезда. Это был уже не Куприн — человек яркого таланта, каковым мы привыкли его считать, — это было что-то мало похожее на прежнего Куприна, слабое, печальное и, видимо, умирающее. Говорил, вспоминал, перепутывал все, забывал имена прежних друзей. Чувствовалось, что в душе у него великий разлад с самим собою. Хочется ему откликнуться на что-то, и нет на это сил. Ушёл я от него с невесёлым чувством: было жаль сильного и яркого писателя, каким он уже перестал быть.

Литературный фонд пришел ему на помощь и устроил его под Москвою, в дачной местности Голицыно, на летний отдых. И вот что произошло там не с самим Куприным, а с тем, что называется душою Куприна. В доме отдыха Литфонда в августе 1937 года был организован товарищеский приём красноармейцев Пролетарской дивизии. Приехало человек двести. Наготовили им ватрушек, квасу, всякой сдобы, ягод, чтоб было исключительно только «своё» и ничего купленного. Сад был празднично убран. Везде флажки, букеты и плакаты с девизами и стихами. Гости пришли с маршем и песнями. Пели, играли в горелки, плясали, гонялись взапуски, веселились. Некоторые из присутствовавших здесь писателей читали свои стихи: Лебедев-Кумач, Лахути. В ответ на это и красноармейцы читали свои произведения. Было весело и радостно. На этот праздник приглашён был и Куприн. На игровую площадку вынесли ему кресло, усадили с почётом, и он сидел и глядел на всё почти молча. К нему подходили иногда военные, говорили, что знают и читают его книги, что рады видеть его в своей среде. Он кратко благодарил и сидел в глубокой задумчивости. Некоторым казалось, что до него как будто не доходит это общее товарищеское веселье. Но когда красноармейцы запели хором русские песни — «Вниз по матушке по Волге», про Степана Разина и персианку и другие, он совершенно переменился, точно вдруг ожил. А когда запели теперешнюю песню «Широка страна моя родная», Куприн сильно растрогался. Когда же отъезжающие красноармейцы хором выразили ему свой прощальный привет, он не выдержал. То, что в этот день переживал он молча и, казалось, безучастно, вдруг вырвалось наружу.

— Меня, великого грешника перед родиной, сама родина простила,— заговорил он сквозь искренние горячие слёзы.— Сыны народа — сама армия меня простила. И я нашёл наконец покой.

С этим примиряющим сознанием, что ни в одной стране не может быть такого единодушия между рядовыми бойцами и их командирами, между писателями и всеми трудящимися, что все они, кого он видел,— была одна великая чуткая семья одного народа и в этой единой народной семье можно быть действительно счастливым,— с этим он и уехал в Ленинград, где вскоре и умер.

В конце июня 1941 года умер С. Г. Скиталец. Смерть его совпала с только что начавшейся Великой Отечественной войной. Отвезли его на Введенское кладбище. За очень короткий период болезни этот богатырь по сложению так исхудал и изменился, что узнать было нельзя. За месяц до смерти он говорил: «Хватит ли у меня сил преодолеть болезнь печени и сердца, пострадавших не от излишеств весёлой жизни, которых не было, а от того, что слишком много тяжёлого нес я на плечах своих, слишком много к сердцу принимал чужого горя и всю жизнь разделял горе вместе с народом...»

В мае 1942 года умер драматург С. Д. Разумовский в возрасте семидесяти восьми лет. После него кроме его пьес осталось большое количество неопубликованных работ.

В феврале 1943 года умерла жена моя, Елена Андреевна Телешова, принимавшая ближайшее участие в созидании и развитии нашего товарищеского кружка. Все любили и уважали её как близкого и дорогого человека, принимавшего горячее участие во всех событиях жизни «Среды». Она свободно читала на пяти европейских языках и была полезна многим товарищам в переводах зарубежных рецензий, нередко очень сочувственных и для писателей интересных.

В 1945 году умер ещё один близкий товарищ, В. В. Вересаев <...>.

В 1949 году умер А. С. Серафимович в возрасте восьмидесяти шести лет. После его смерти в конце концов от всей нашей «Среды» остался в живых только один я в нашей Советской стране. Я прожил долгую, интересную и счастливую жизнь благодаря друзьям и окружению талантливых людей.

Когда в 1924 году появились в печати мои первые, очень краткие очерки о минувших днях, впоследствии значительно расширенные, А. М. Горький писал мне из Сорренто:

«Славно вы написали, но мало... Ваши «Среды» имели очень большое значение для всех нас, литераторов той эпохи».

«А годы шли примерно так...»

Далеко не обо всём рассказал в приведённом мемуарном очерке Н. Д. Телешов. Умолчал, например, о том, что в 1904 году, после смерти Антона Павловича Чехова, в его кружке была образована особая комиссия памяти писателя. Цель комиссии – выдавать ссуды и пособия нуждающимся артистам, писателям, художникам, музыкантам и вообще лицам, причастным к искусству.

Здесь нужно сказать о той роли, которую сыграл Чехов в творческой биографии Телешова. Своё вступление в большую литературу Николай Дмитриевич связывал с рассказами о переселенцах, которые он написал после поездки за Урал, в Сибирь. Путешествие было предпринято по совету А. П. Чехова. Чехов высоко ценил рассказы Телешова, а в письме О. Л. Книппер называл его «лучшим писателем». А спустя годы о повестях и рассказах Николая Дмитриевича Чехов сказал и самому автору: «Ваши вещи — прелесть».

Важной стороной деятельности Телешова также была помощь малоимущим. Сбор от продажи литературного сборника под редакцией Н. Д. Телешова «Друкарь» (Москва, 1910 год) поступил, как гласила запись на титульном листе, «на устройство в Москве Инвалидного Дома имени Ивана Федорова, для тружеников печатного дела». Через комиссию «Среды» на дела помощи кружком, судя по отчёту, было выдано за пятнадцать лет 248 тысяч рублей. Если вчитаешься в строки прошений, которые писали нуждающиеся, то увидишь такую нужду, такое горе, что становится жутко. «Помогите, или мне придётся вычеркнуть себя из списка существующих», — пишет один из просителей. А вот строки из других документов: «Сплю на голых досках; есть нечего... Получил повестку, гонят с квартиры. Куда в мороз денусь с детьми?..» «Жена и двое детей, живём в Москве, работы нет; всё, что было, продано и заложено...» «Без заработка, так обносился, что прийти совестно...», «Детей гонят из школы за невзнос платы...», «Лежу больной, не на что купить лекарства...»... Страница за страницей — свидетельства человеческого несчастья. Факты помощи отмечены в протоколах и напечатаны в своё время в отчётах — документация в комиссии велась очень строго.

На седьмом году существования Московский Художественный театр, несмотря на признанное значение и на выдающийся артистический успех, переживал тяжёлый денежный кризис. Чтобы спастись от краха, он решил ехать на гастроли за границу. Но для этого нужны были средства, которыми театр не располагал. Требовалось двадцать пять тысяч рублей под вексель за сравнительно нетяжёлые проценты. Но поиски таких условий оставались без успеха. Намечались некоторые заимодавцы, но они требовали огромных гарантий и,

кроме того, кабальных процентов. Театру грозила гибель. Тогда Художественный обратился в «Среду». На заседании дирекции было постановлено выдать Художественному театру двадцать пять тысяч рублей без всяких процентов и на срок неопределённый...

...В последние годы Н. Д. Телешов переживал далеко не лучший период. Тяжким ударом стала смерть Елены Андреевны. Было время, когда он охотно оказывал помощь другим; теперь приходилось обращаться за помощью самому...

В архиве РГАЛИ сохранились черновики таких писем с просьбой о помощи.

Дошли ли они до адресатов? Помогли ли они старому писателю?

С просьбами по неотложным семейным делам вынужден он был обращаться в Президиум Союза советских писателей СССР и к самому Генералиссимусу Иосифу Сталину.

Вот первое письмо:

«В президиум Союза советских писателей СССР»

Прошу Президиум Союза советских писателей СССР оказать мне возможное содействие в следующем:

Мой единственный внук, Владимир Телешов, находится с прошлого года в посёлке г. Свердловска, у тётки, заболевшей туберкулёзом, а его мать (жена моего сына) живёт здесь, в московской квартире, в моей семье и служит на заводе.

На днях она получила срочную телеграмму, что сестра её «безнадёжна», что «пребывание там сына невозможно» и что требуется немедленный её приезд. Телеграмма заверена врачом и телеграфистом. На выезд из Москвы и обратный приезд ей дано разрешение НКВД управления милиции за № 2107 -20 дней (с 27 мая по 18 июня), причём в разрешении сказано, что обратный въезд в Москву без ребёнка...28 мая она уже выехала, но это ограничение лишает всю её поездку существенного смысла. Если её сестра уже умерла, то куда же девать мальчика? Если она ещё жива, но безнадёжная, то весьма рискованно оставлять ребёнка в жилище умирающего от чахотки, и желательно как можно скорее увезти его в здоровую семейную обстановку в Москву. Отец мальчика (мой сын) находится в армии на Западном фронте в качестве лейтенанта. Мы всегда жили одной семьёй и вели общее хозяйство. Прошу, если возможно, ходатайствовать разрешение вернуть моего внука Владимира Телешова 13-ти лет вместе с его матерью Ниной Балтийской теперь же, не теряя короткого срока.

Разрешите заверить и телеграфировать. Прошу оказать мне в этом содействие.

Заслуженный деятель искусства Николай Телешов,
Москва. Покровский бульвар, 18/15, кв. 42. 29/V 1942 г.

Второе письмо.

«Генералиссимусу И. В. Сталину.

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Позвольте обратиться к Вам с моей почтительной просьбой.

Сын мой, Андрей Телешов (майор, рождения 1899 г.), с первых дней Отечественной войны находится в Армии, и я прошу, если возможно, оказать мне радость дожить остаток моих дней не в разлуке с моим единственным сыном и разрешить ему перевод в Москву. Мой более чем преклонный возраст и осложнённое семейное положение даёт мне решимость ходатайствовать об этом.

Мне уже 80 лет. Уже 61 год я беспрерывно работаю в родной литературе, и до сих пор не перестают печататься мои книги («Записки писателя» 1943 г., «Избранное» 1945 г.). Почти четверть века я работаю как директор и основатель музея МХАТ. Удостоен высоких правительственных наград (звания Заслуженного деятеля искусства и ордена Трудового Красного Знамени), но годы дают себя знать, и многое в жизни становится уже не по силам.

За отсутствием сына в семье моей остаются: жена сына (инвалид 2-й группы) и подросток-внук — работники неполноценные, о которых не могу не заботиться. Перевод в Москву сына дал бы возможность переложить на него частично неизбежные заботы как на единственного полноценного члена семьи, а мне иметь на недолгие уже для моей жизни дни желанный покой и радость.

Прошу принять моё искреннее и глубокое уважение. Заслуженный деятель искусства,

орденоносец Н. Телешов
1945 г. 30/VIII. Николай Дмитриевич Телешов, Москва,
Покровский бульвар, 18, кв. 42.
Почтовый адрес сына: Полевая почта № 11412
Андрей Николаевич Телешов.

А вот ещё один любопытный документ из архива РГАЛИ. Человек, являвший собой когда-то замечательный пример русского меценатства, вынужден обращаться к какому-то чиновнику по вопросу оплаты коммунального жилья:

Заявление

Новый курс экономической политики и переход к платности за пользование коммунально-хозяйственными учреждениями — освещением, водой и пр. — ставит перед русскими писателями с большой остротой вопрос о платеже названных налогов.

Всегда тяжёлый литературный труд в настоящее время — в обстановке расстройства литературно-издательской деятельности — самая тяжёлая и бездоходная профессия. Писателю приходится оставлять его прямое дело и искать заработка и службы, чуждых его писательской сущности...

Высказываясь, что единственно важным трудом писателя является творческий тру просим предоставить писателям возможность продолжить работать, освободить писателей от уплат налогов коммунального характера.

Всё же, несмотря на превратности судьбы, Николай Дмитриевич Телешов на одном из последних своих юбилеев, определяя свою литературную деятельность, сказал, что принадлежит к тем писателям, для которых их дело было сродни религиозному служению, и что он счастлив, что отдал этому делу всю жизнь и все силы: «Оглядываясь на далёкое моё прошлое, на долгий пройденный путь, я вижу, как много значительного дала мне литература, с которой непрерывно связана вся моя жизнь... быть русским писателем великое счастье в жизни».

Дом на Покровке. В гостях у внука Н. Д. Телешова

Историю людей, ушедших в мир иной, хранят и самые стены их дома. Каждый раз, когда вхожу в квартиру, в которой начинались «Среды», я невольно испытываю непреодолимое волнение.

Когда-то двери этого купеческого дома «широко отворялись для принятия с почётом всякой умственной и художественной силы...». И какой силы! Вот только три имени из многих и многих — Шаляпин, Бунин, Рахманинов.

Вот пианино, клавишей которого касались пальцы Рахманинова. Иногда они приезжали вместе — Рахманинов и Шаляпин. Николай Дмитриевич Телешов вспоминал в «Записках писателя»: «Шаляпин поджигал Рахманинова, а Рахманинов задорил Шаляпина. И эти два великана, увлекая один другого, буквально творили чудеса. Это было уже не пение и не музыка в общепринятом значении — это был какой-то припадок вдохновения двух крупнейших артистов».

Вот кресло, в котором любил отдыхать Николай Дмитриевич, а ранее сиживали и Александр Николаевич Островский, который был близок с семьёй купцов Карзинкиных, и, по преданию, Фёдор Михайлович Достоевский — не так часто, но всё же бывавший в этом доме.

Вот тросточка Бунина, с которой тот щеголял в Малаховке. «А в последние годы ходил с ней дед», — говорил внук Н. Д. Телешова, Владимир Андреевич, знакомивший меня с семейными реликвиями. Одна из них — грамота. Висит зашторенная на стене в рамочке под стеклом. Начинается так: «БОЖИЕЙ МИЛОСТИЮ МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ...». А далее сказано, что «за особые труды и заслуги купеческий сын Николай Телешов в 14 день Апреля 1912 года всемилостивейше пожалован званием Потомственного Почётного гражданина...». «Оказывается, в основном за Малаховку, за то, что по инициативе Николая Дмитриевича и на его средства сделано там», — поясняет мне Владимир Андреевич. Грамота за подписью, в частности, сенатора Льва Львовича Толстого была вручена самим Николаем II.

На стенах — картины, картины, картины... Два больших портрета Николая Дмитриевича. Один, ещё молодого человека, принадлежит кисти Елены Андреевны Телешовой. Другой — работы дальневосточного художника Н. Кощевского, сделанный по фотографии уже сильно постаревшего писателя. Это был подарок Телешову — из понравившихся. Действительно, такой живой и естественный, как будто писатель по-настоящему позировал художнику. По воспоминаниям внука, дед сам вбил гвоздь и повесил картину на место, где она находится и поныне.

...Вот фонограф Эдисона начала прошлого столетия. Это на него наговорил когда-то, около века назад, Федор Иванович Шаляпин Сергею Васильевичу Рахманинову знаменитую фразу: «Бери лихача и приезжай немедленно. Петь страсть как хочется!» ... Мольберт Елены Андреевны Карзинкиной, в замужестве Телешовой. За ним мог стоять и Исаак Левитан. Среди большого количества развешанных по стенам холстов есть и подаренные им. С Левитаном Елена Андреевна была знакома ещё до замужества по Училищу живописи, ваяния и зодчества. Оба были учениками В. Д. Поленова. Говорят, что именно она стала последней, горькой любовью Левитана.

Елена Андреевна рано стала интересоваться живописью, ездила в Италию. Работы её хранятся в Третьяковской галерее. Помимо того, она была тонко образованна, свободно говорила на пяти европейских языках, обладала обширными познаниями ещё в двадцати языках.

Сам Николай Дмитриевич тоже был из купеческой семьи. Жили Телешовы на Валовой улице, рядом с типографией Сытина. Мальчиком он часто бегал под её окна, наблюдал, как рождается книга. Посещал литературный кружок «Парнас». Несколько молодых людей — Белоусов, Федоров, братья Телешовы, Махалов (Разумовский), Лысак, Спиридон Дрожжин — объединились и издали книжку стихов. Критика ополчилась на них, после чего «парнасцы» бегали по магазинам и скупали оставшиеся экземпляры: видимо, им было стыдно. Потом все эти люди вошли в состав Телешовских «Сред». Первое своё стихотворение Телешов опубликовал в 1884 г., когда ему было 17 лет.

Задаю вопрос о том, как познакомились Николай Дмитриевич и Елена Андреевна. Где-то я читала, будто когда небогатый, но умный и весьма образованный молодой человек поступил на работу к Карзинкиным...

Владимир Андреевич отрицал такую версию. Говорил, что бабушка родилась в этом особняке, воспитывалась в театрально-музыкальной среде, а дедушка учился в Промышленной академии, что располагалась почти напротив дома Карзинкиных, и участвовал в спектаклях, которые игрались в этой самой зале, где мы с ним беседовали.

Театральная традиция, кстати говоря, появилась здесь задолго до рождения Елены Андреевны. В зале с участием М. С. Щепкина и в присутствии автора игрались пьесы Островского. Ставили Гоголя. Уже позже, в 1884 году, именно в особняке на Покровском бульваре в «Женитьбе» впервые выступил перед широкой публикой Константин Алексеев, будущий великий реформатор театра Константин Сергеевич Станиславский. Играл он Подколесина и по роли выпрыгивал в окно. Молодой артист так нервничал, что продавил крышку рояля. Так что и этим тоже знаменита зала.

В доме на Покровском бульваре, одном из самых богатых московских купеческих особняков, регулярно собирались музыканты, составлялись квартеты. Брат Елены Андреевны, Александр Андреевич, был

натурой музыкально одарённой, играл на скрипке. А вообще он был старшим научным сотрудником Исторического музея, крупнейшим нумизматом, состоял членом Совета Третьяковской галереи. Словом, в семье было принято говорить об искусстве, музицировать, ставить спектакли.

Почему-то на память приходят строки из дневника супруги И. А. Бунина Веры Николаевны. Нахожу нужное место, перечитываю[5].

Говорили, конечно, о Телешовых. О Елене Андреевне. Обе мы восхищались её внешностью, душой. Она всегда была интересна, умна. Но в любви несчастна. Она любила некоего Глинкэ, красивого человека, но ей показалось, что он женится из-за денег, и она отказалась. Был в неё влюблён Гусев, студент, но тоже не вышло. В брак с Телешовым она вступила не по любви. Лапинская считает это большим мезальянсом. Я доказывала, что Елена Андреевна была счастлива. Николай Дмитриевич — очень порядочный человек, хороший душой, любил её дружески, был семьянином, умел вокруг себя создать кружок писателей, умел возбуждать к себе любовь...

Спрашивала я у Владимира Андреевича о его родителях, Андрее Николаевиче и Нине Александровне, их профессии, увлечениях.

— Они выпускники Московского университета, факультета общественных наук, искусствоведы. Всю свою жизнь Андрей Николаевич занимался фотографией (за исключением военных лет, когда он добровольцем ушёл на фронт). Последние годы жизни работал в издательстве «Искусство». Нина Александровна до 38-го года работала в Третьяковке. Не обошёл семью тот страшный год. По делу Тухачевского был расстрелян её отец, Александр Алексеевич Балтийский, генерал царской армии, преподаватель Академии Генштаба.

Сам Владимир Андреевич, выпускник 1-го мединститута, занимался медтехникой. Что же касается увлечений, то тут крепки семейные традиции. Любовь к фотографии шла от его дяди — Сергея Дмитриевича, который однажды принёс фотоаппарат и стал фотографировать свой дом. Увлечение это передалось и Николаю Дмитриевичу. Ещё одна традиция в семье — сбор материалов о Ф. И. Шаляпине. Собираются газетные вырезки, фотографии, рисунки, сделанные рукой Федора Ивановича. Одних только фотографий великого певца здесь хранится более 3000. В специальном альбоме лежат рисунки Федора Ивановича, сделанные им на «Средах».

Эстафета сбора и поиска исторических реликвий перешла теперь и к правнукам Николая Дмитриевича.

В течение многих лет на фамилию Телешовых, или в теперешнем написании Телешёвых, присылались из первых рук фотографии с автографами. 450 подписанных фотографий составляют сегодня необычный «букет». Здесь все великие деятели ушедшей эпохи — от Анатоля Фран-

[5] *Муромцева-Бунина В. Н.* Жизнь Бунина Беседы с памятью М.· Вагриус, 2007

са до Александра Твардовского, Л. Толстого, А. Блока, И. Бунина, А. Куприна, А. Чехова, Л. Андреева, Р. Леонкавалло, К. Дебюсси...

В 1993 году в московских газетах появилось объявление, гласившее: «В павильоне "Культура" Всероссийского выставочного центра открылась вторая по счёту выставка "Российские коллекции". ...Экспозиция включает в себя широкий спектр увлечений собирателей старины... от собирания... перьев... которые начал ещё в 1877 году Н. Д. Телешов». Об этом рассказывал Владимир Андреевич: «Перья дед стал собирать, когда пошёл в школу. Было время, когда гимназисты обожали играть в пёрышки. Надо было одним пёрышком ловко перевернуть другое. Кому это удавалось больше других, тот забирал пёрышки и становился победителем...»

Несколько тысяч перьев самых причудливых форм собраны Телешовыми за сто с лишним лет. В коллекции имеются перья, выпущенные в честь какого-то события, например, 19 февраля 1861 года — дня отмены крепостного права, на которых микроскопически выведен текст царского Манифеста. Перья с портретами известных людей: Пушкина, Мицкевича, Линкольна, Коха, Гумбольдта, О'Генри, Шиллера, Островского, Тургенева... Много перьев из Франции. Владимир Андреевич — член Французского общества коллекционеров перьев. Имеются биржевые рекламные перья...

Несколько слов ещё об одном семейном увлечении. Сестра Елены Андреевны Телешовой, Софья Андреевна Карзинкина, была председателем Общества покровительства животным. Ещё она занималась разведением волнистых попугайчиков, причём самая первая в России.

В советское время дом на Покровке был единственным местом, куда писал из эмиграции И. А. Бунин. Здесь собирали не только все свидетельства о жизни Ф. И. Шаляпина, но и материалы о гуманизме В. Г. Короленко, о правозащитной деятельности М. Горького, хранили память о Б. К. Зайцеве, И. С. Шмелёве, С. Г. Скитальце и других деятелях русской культуры, уехавших за пределы России или безвременно умерших.

Всё это и многое другое рассказывал мне Владимир Андреевич, внук Николая Дмитриевича и Елены Андреевны Телешовых.

От него я знаю и печальные страницы истории семьи и дома. В 1978 году здание было передано в аренду Московскому городскому отделению ВООПИиК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры). Общество приспособило помещение под свои нужды, в результате чего изменился внешний вид и интерьер особняка. А тут ещё несчастный случай хлопот добавил. Чья безответственность тому причиной, теперь уже не важно. Однажды на втором этаже прорвало трубу с горячей водой. Была суббота. Пока то да сё — в комнаты на первом этаже с цен-

нейшими экспонатами хлынули потоки едва ли не кипятка. Несколько часов, пока воду сгребали лопатами, всё стояло в пару. Вздыбился паркет, пострадало пианино — то самое, на котором часто играл Рахманинов, — знаменитое кресло, развалилась изразцовая печка, были повреждены уникальные картины (а там и Поленов, и Бенуа, и Левитан)! Хорошо, что пострадали в основном рамы, а не сами полотна.

Говорят, что беда не приходит одна. Как-то ночью особняк навестили грабители. Владимир Андреевич был дома один. Разговаривал по телефону. Услышал шум. Это бандиты взломали входную дверь. Их было четверо на одного. Его ударили по голове, повалили на пол, надели наручники... Он потерял сознание... Грабители перевернули весь дом вверх дном. Искали золото. А золота всего-то — одна Золотая именная медаль Николая Дмитриевича. Её и взяли. Прихватили ещё бронзовую собаку с пианино — приняли бронзу за золото, — и музыкальную шкатулку, исполнявшую российский дореволюционный гимн «Боже, Царя храни!», подарок Ф. И. Шаляпина. Прискорбно и то, что унесли всю электронную технику, что была взята напрокат из Фонда Сороса для научного описания семейных коллекций (на тот момент был создан благотворительный Фонд Н. Д. Телешова): видеокамеру, видеомагнитофон, телевизор, ксерокс, фотоаппараты. Архив, по счастью, не тронули. Закончилось всё это для Владимира Андреевича инфарктом. Почти полгода больничного режима...

Владимир Андреевич, серьёзно увлекаясь ремёслами, устроил в одной из комнат мастерскую, где работал с металлом, деревом. Однажды случился пожар.

Несмотря на то, что огонь был быстро потушен, сердце немолодого человека, недавно перенёсшего инфаркт, не выдержало шоковой нагрузки. Он погиб, спасая наследие своих предков, а по сути — русской культуры. 16 сентября 1999 г. ушёл из жизни человек, связывавший современников с поколением русской интеллигенции начала XX века, хранитель архива писателя, наследия, доставшегося от двух московских семейств, являвших собою замечательный пример меценатства.

Незадолго до смерти Владимир Андреевич поделился с одним из друзей своими планами начать работу над двумя книгами. Одна из них — о неправильных выражениях в русском языке. В другой книге он хотел собрать анекдоты и истории, связанные с именами известных в прошлом политических деятелей. «Предполагаем жить...» С уходом В. А. Телешева повис в воздухе вопрос создания мемориального центра писателя Н. Д. Телешова на Покровском бульваре в Москве и деятельности Фонда Телешова вообще.

Приведу выдержки из статей коллег-журналистов, интересовавшихся судьбой квартиры и наследия семьи Телешёвых.

На стародавнем Покровском бульваре, той его части, что устремилась косогором к Яузе, под номером 18 крепко стоит двухэтажный каменный дом удивительной судьбы. Ему добрых 200 лет, и он выстоял в потрясениях 1812, 1917, 1941 годов.

Приобретён же он был известным купцом Андреем Карзинкиным еще в 1815 году. Совладелец Ярославской большой мануфактуры был представителем семьи российских меценатов. На свои средства Карзинкины воздвигли церковь Петра и Павла в Ярославле, а в Белокаменной построили «Большую Московскую гостиницу», которая в советское время вошла составной частью в новый корпус гостиницы «Москва»...

Добротный, красивый дом на Покровском бульваре вот уже более ста лет известен литературно-театральной общественности столицы как «Дом Телешова»... Расцвет кружка литераторов в доме на Покровском приходится на период, когда Н. Д. и Е. А. Телешовы поженились и обосновались здесь на постоянное жительство... Когда в театре Корша была поставлена пьеса «Дети Ванюшина» (1901 г.) и вся Москва заговорила о ней, на «Средах», естественно, появился и сам её автор, скромнейший Сергей Александрович Найдёнов (настоящая фамилия — Алексеев). И подобные посещения ярких представителей культуры были здесь регулярны... При этом строго соблюдалось правило: говори все, что думаешь, не обижайся на критику, но и не выноси сор из избы.

Приверженцев разных политических взглядов и литературных вкусов объединяло желание служить делу прогресса, распространению литературы... Значение проходивших долгие годы литературных «Сред» заключалось не только в поисках новых имен, новых произведений и их популяризации, в этом доме невольно накапливались и хранились бесценные рукописи, письма, фотографии, переписка...

В 1918 г. дом на Покровском бульваре превратили в коммуналку, всё разделили на клетушки и плотно заселили. Более того, в доме, совсем чисто по булгаковскому «Собачьему сердцу», где действовала «Главрыба», разместился трест «Главсахар», и адрес был опубликован в справочнике «Вся Москва». ...В августе 1960 г. вышло постановление Совмина РСФСР о музеефикации квартиры Н. Д. Телешова, и это только после того, как стараниями общественности на доме появилась мемориальная доска. Так Министерство культуры оценило заслуги писателя перед отечеством.

Последние жильцы покинули этот наполненный мемориями дом в 70-х гг. Семье современных Телешовых вернули несколько комнат, среди них кабинет писателя и знаменитая зала — всё в невероятном состоянии. О критическом положении дома известно на всех уровнях, в том числе и в правительстве Москвы.

Нелишне напомнить, сколько доброго, помимо литературно-общественной деятельности, сделал сам Н. Д. Телешов вслед за своим тестем. Так, в Быкове им была построена больница им. С. Н. Карзинкиной и Д. Е. Теле-

шова, в Малаховке — первая сельская гимназия. Ещё до Октября прежние власти присвоили ему звание «Потомственного почётного гражданина»!

Смеем надеяться, что новые Солдатенковы и Бахрушины совместно с городскими властями помогут восстановить один из ярких островков отечественной культуры».

Юлиан Толстов[6]

Вот ещё одно мнение.

В этом доме уже 189 лет живет шесть поколений одной семьи! В XIX веке особняком Телешова—Карзинкиных владели богатейшие и образованные купцы. Горький впервые прочитал в нем пьесу «На дне», а Шаляпин призывал: «Здесь меня послушайте, а не в Большом театре — там я за деньги пою!» Сегодня в доме — необычный музей.

И просвещённые купцы, и их гости-писатели, похоже, далеко не случайно выбрали именно Покровский бульвар. «Интеллигентность» этот бульвар начал приобретать еще в XV веке, когда тут разбил свои сады Иван III, первым из наших государей понявший, что без кадровой интеллигенции России ни Кремль не построить, ни артиллерию не поднять, ни с болезнями не справиться.

В 1815 году потомственный купец Андрей Сидорович Карзинкин, «имевший торг в яблошном ряду», выкупил дворянскую усадьбу Федора Толстого на Покровском бульваре, расширил и дополнил пристройками. Обустройство продолжил его сын Александр. В 1857 году он стал совладельцем «Ярославской большой мануфактуры». Прорыв же Карзинкиных в десятку богатейших купеческих семей России произошёл после присоединения в 1873 году среднеазиатских земель, где текстильные фабриканты воздвигли 12 хлопкоочистительных заводов и устроили хлопковые плантации.

В 1906 состояние унаследовал Александр Андреевич Карзинкин (1863—1939). Со своей женой, балериной Большого театра итальянкой Аделиной Джури, и дочерью он жил на втором этаже дома на Покровском. А в 1917 году исчезли все богатства Карзинкиных, включая и самый шикарный в Москве автомобиль, на котором миллионер иногда дозволял покататься генералу Корнилову. Карзинкину оставили лишь комнату, «уплотнив» дом десятками жильцов. В 1920 году Александра Андреевича арестовали за распродажу на рынке монет из своей же коллекции, в 1936-м посадили по доносу соседа. Скоро, однако, его, безнадёжно больного, выпустили. Через три года он умер.

Тут и конец истории богачей Карзинкиных? А вот и нет!

Уже с 1815 года усадьба на Покровском стала превращаться из купеческого в интеллигентское гнездовье, и судьба её обитателей оказалась связанной с феноменом куда более значимым, чем текстильный и хлопковый бизнес, — с культурой России.

[6] Газета «Квартирный ряд», № 38 (505) от 23 сентября 2004 года

Н. Д. Телешов

МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР

Московский Орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Художественный Академический Театр Союза ССР им. Горького приглашает Вас на открытие Музея МХАТ в день 800-летия Москвы 7-го сентября 1947 г.

Открытие состоится в 1 час дня.

Проезд Художественного театра, д. 3-а, 4-й этаж.

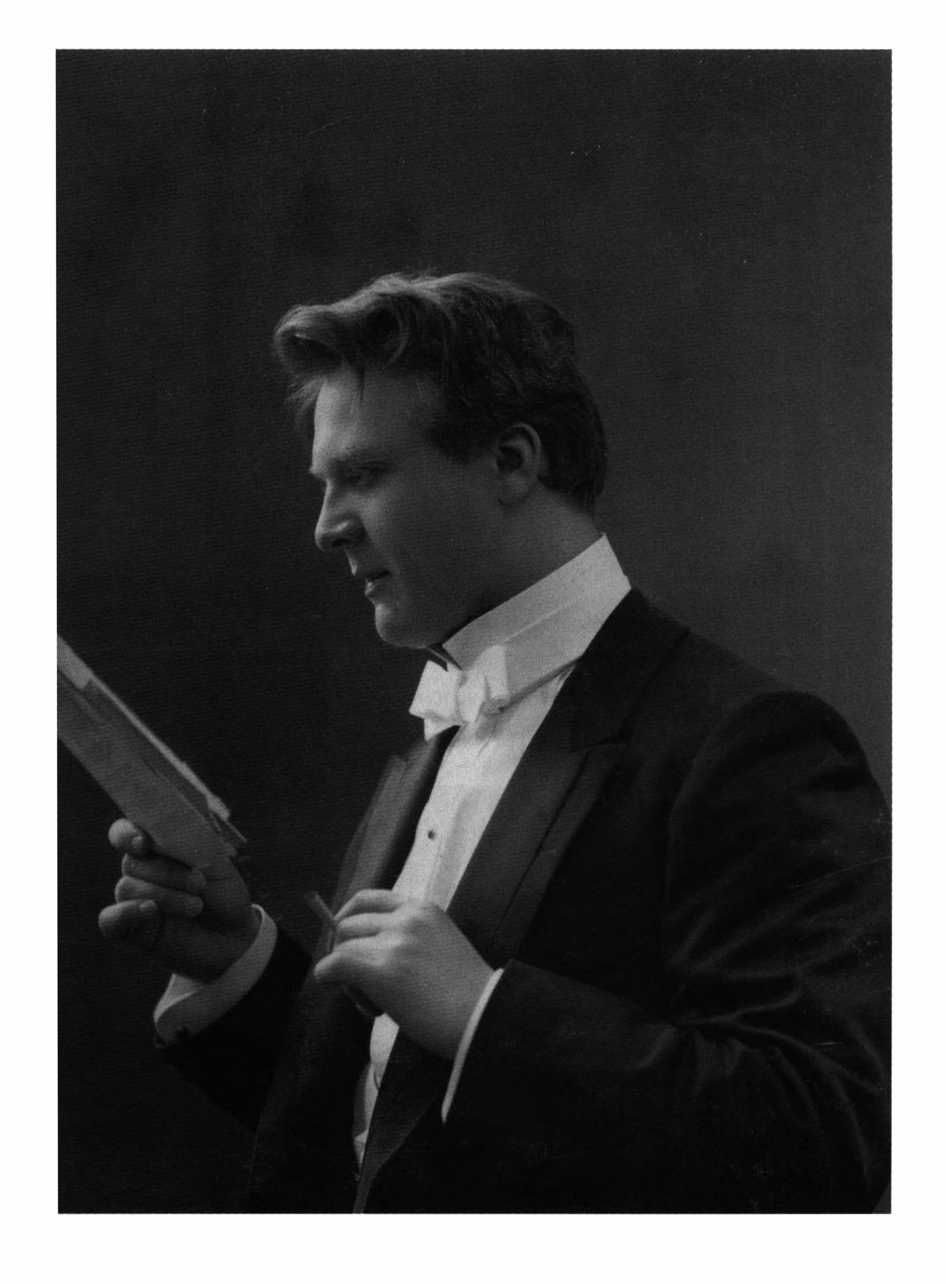
Л107331 2/IX-47 г. Зак. 2507 Тир. 1200 Тип. ГАБТ, ул. Москвина, 6

Пригласительный билет

В музее МХАТ

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Шверник Н. М. вручает Орден Трудового Красного Знамени Н. Д. Телешову

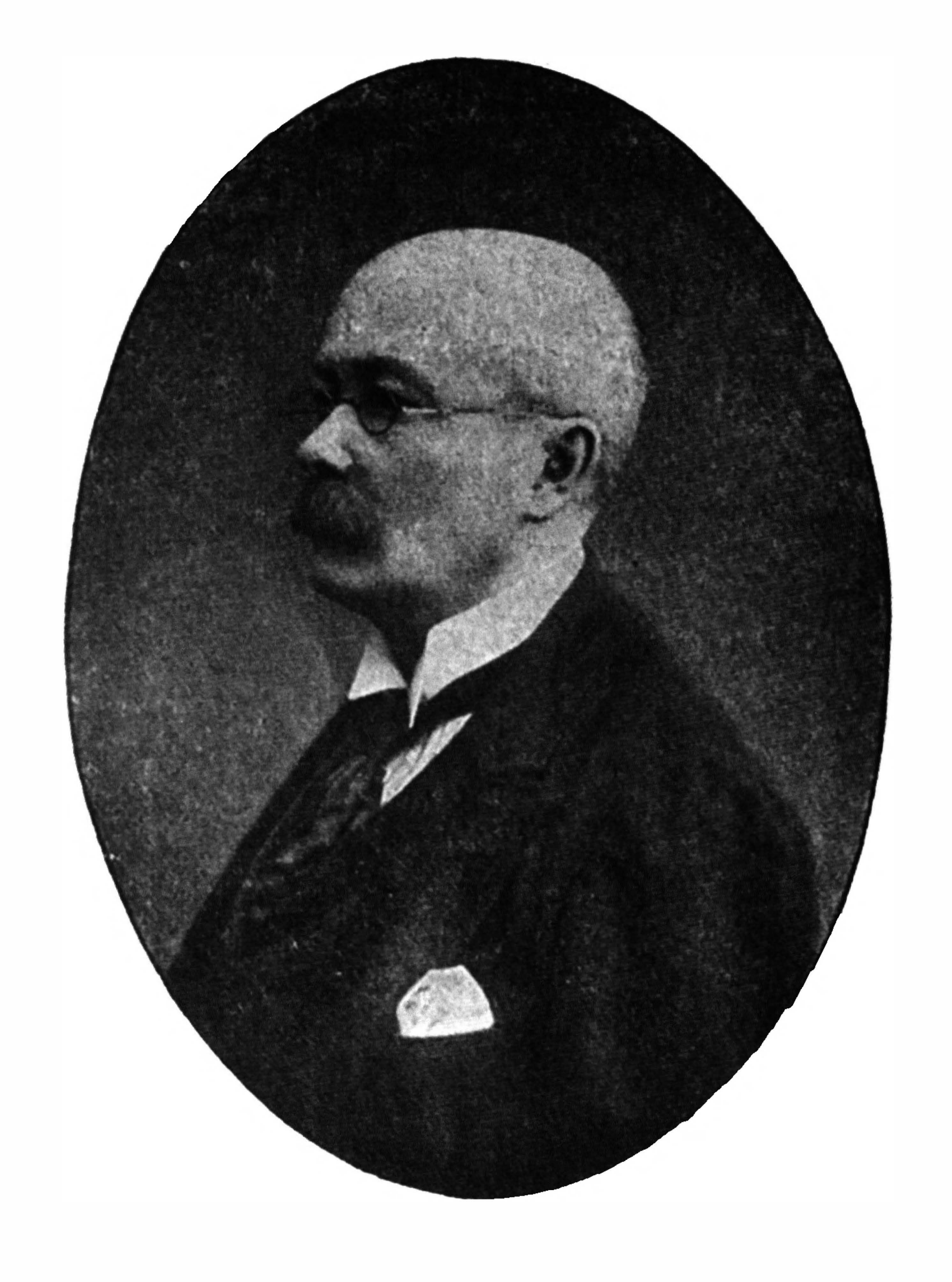
Съезд директоров театральных музеев. Н. Д. Телешов — директор музея МХАТа — второй справа в верхнем ряду.



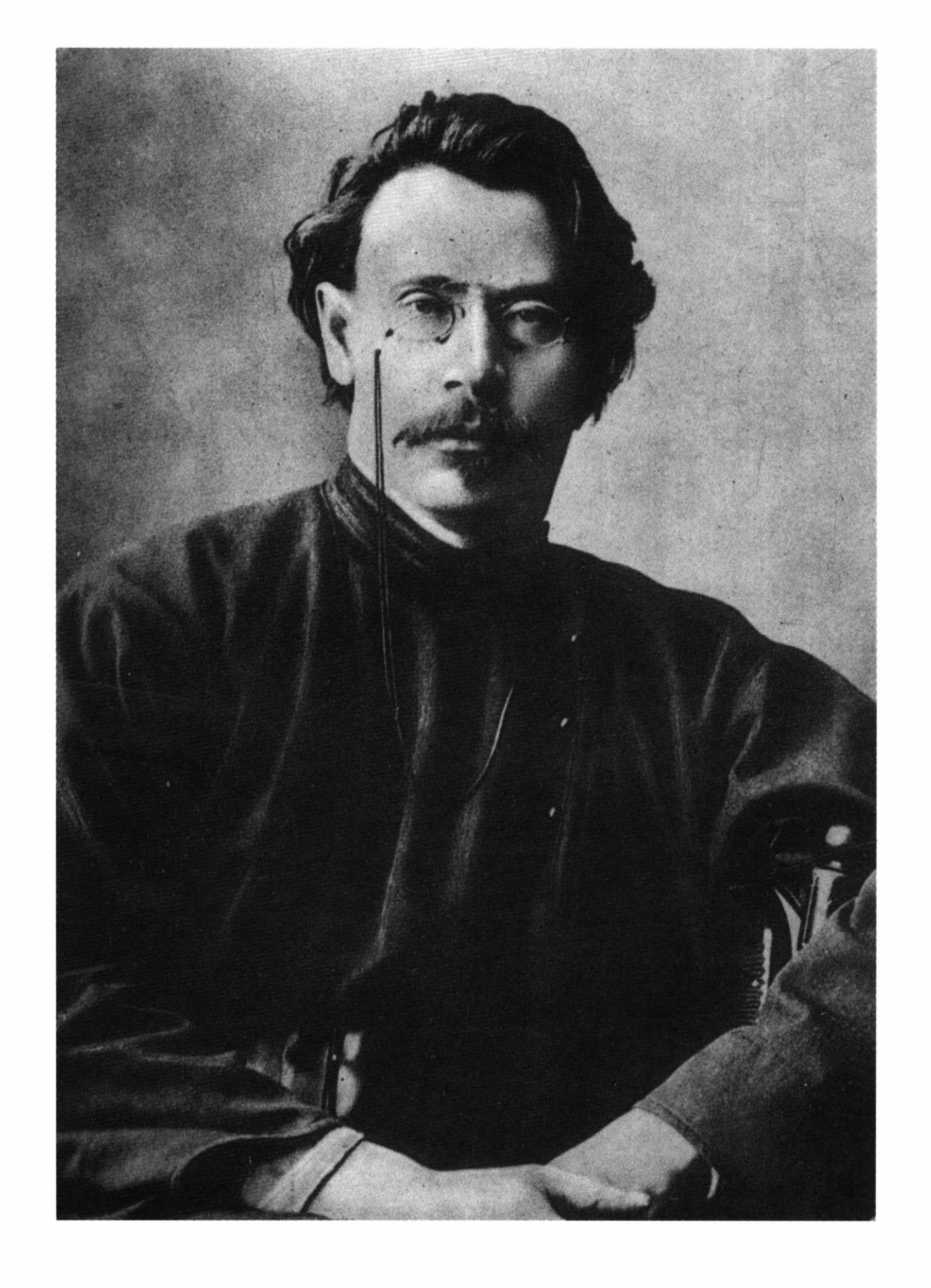
Ф. И. Шаляпин

Ю. А. и И. А. Бунины

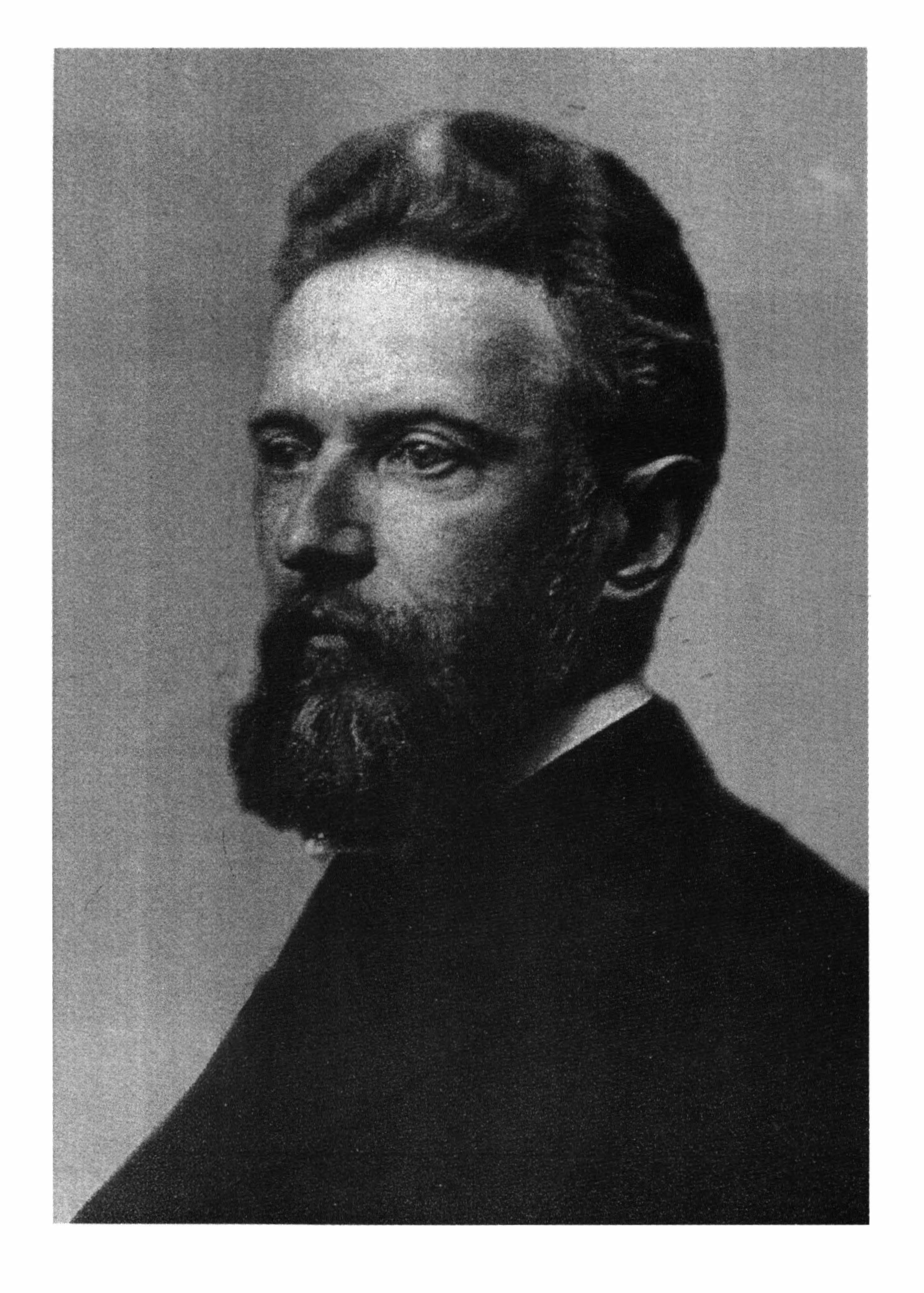
Н. Н. Златовратский



П. Д. Боборыкин

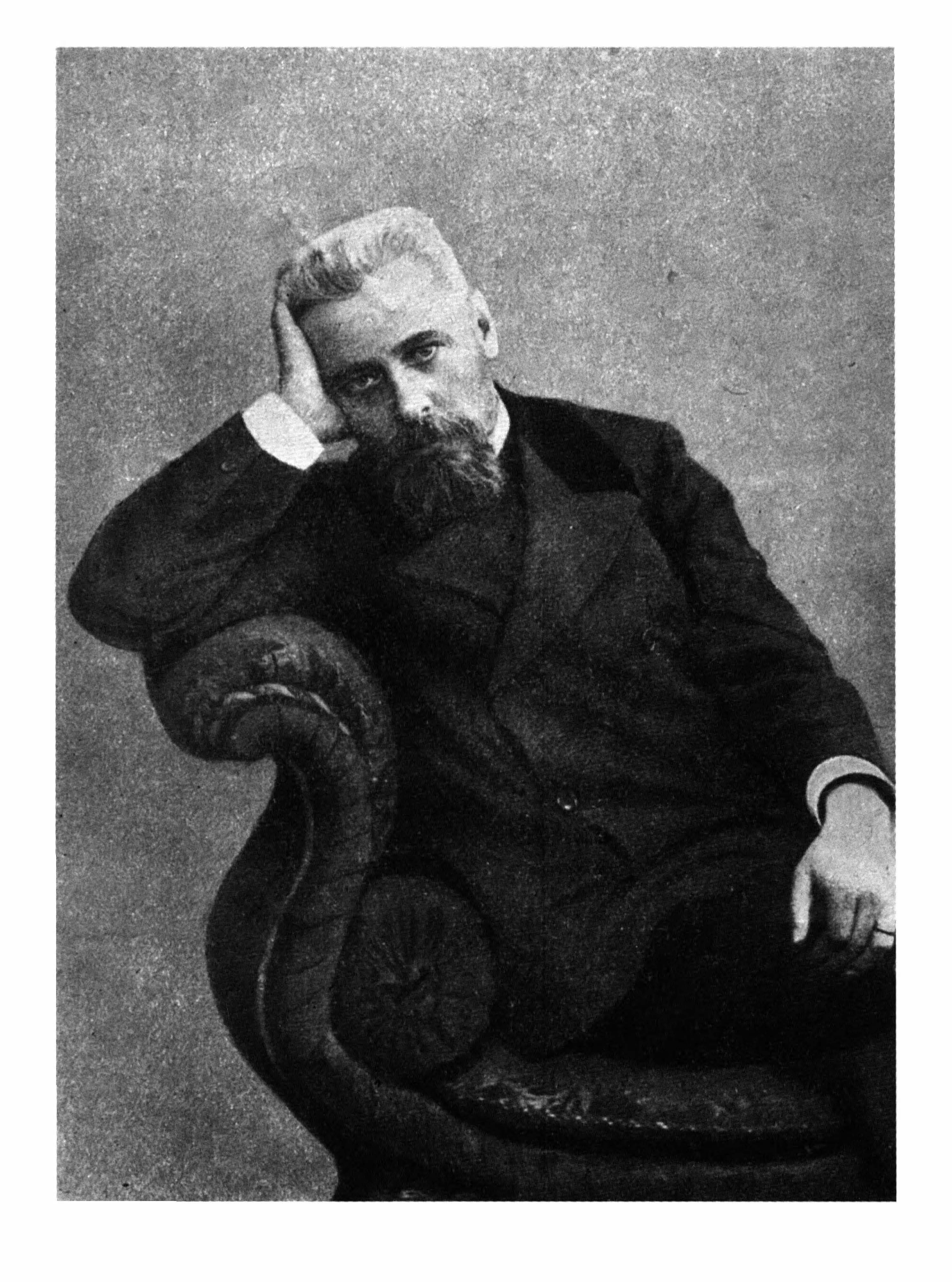


С. Г. Скиталец

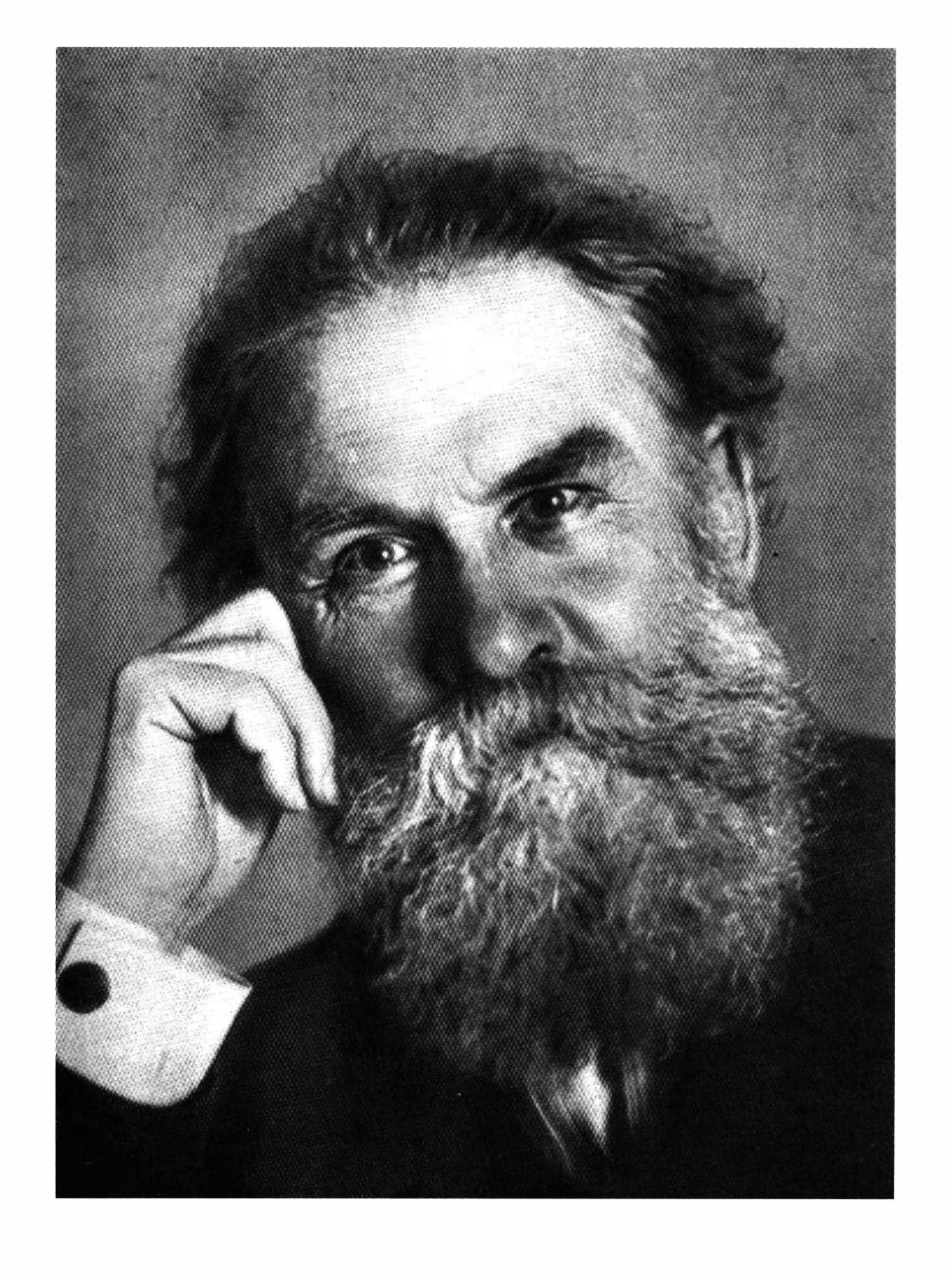


С. В. Зенченко

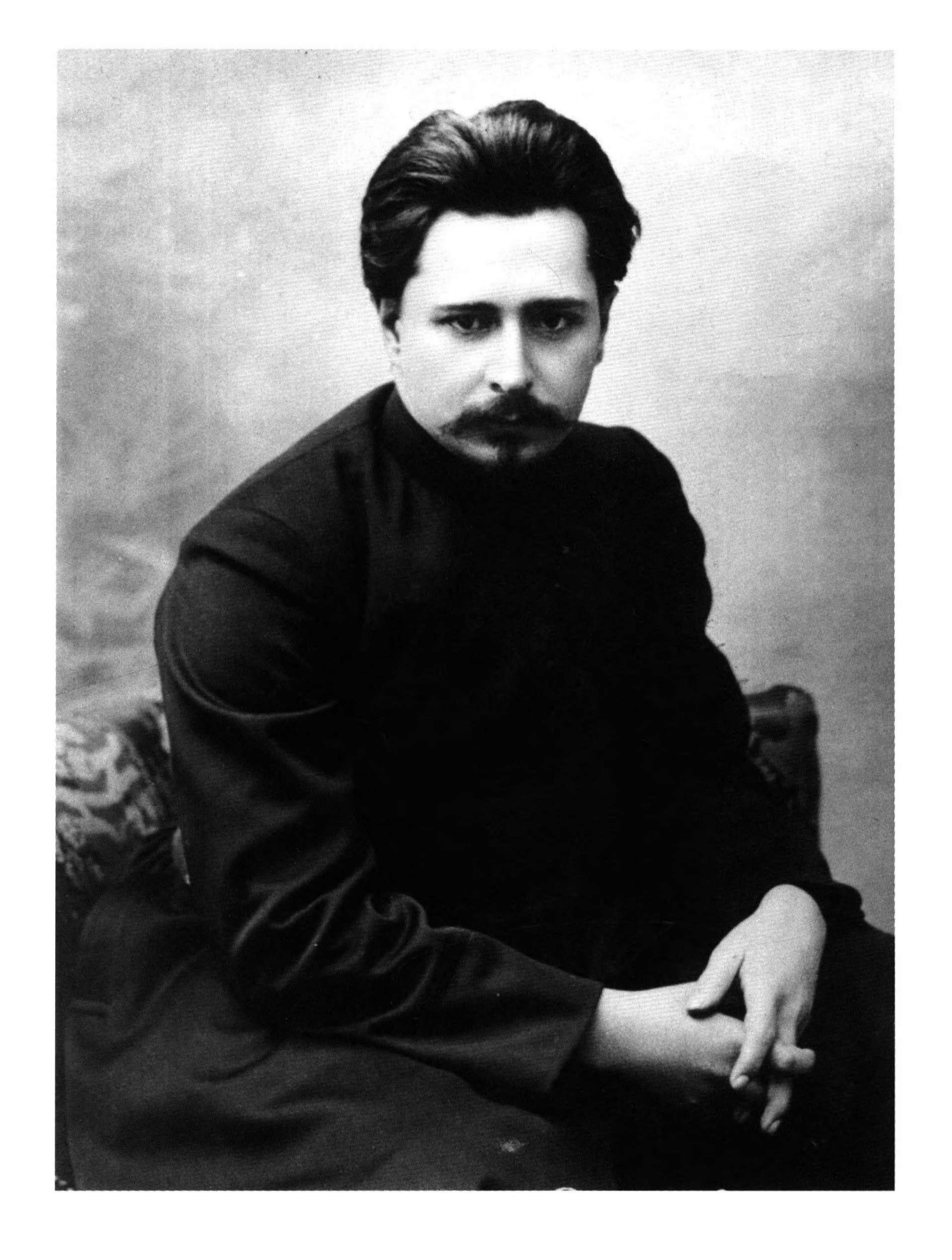
А. И. Куприн



Н. Г. Гарин-Михайловский



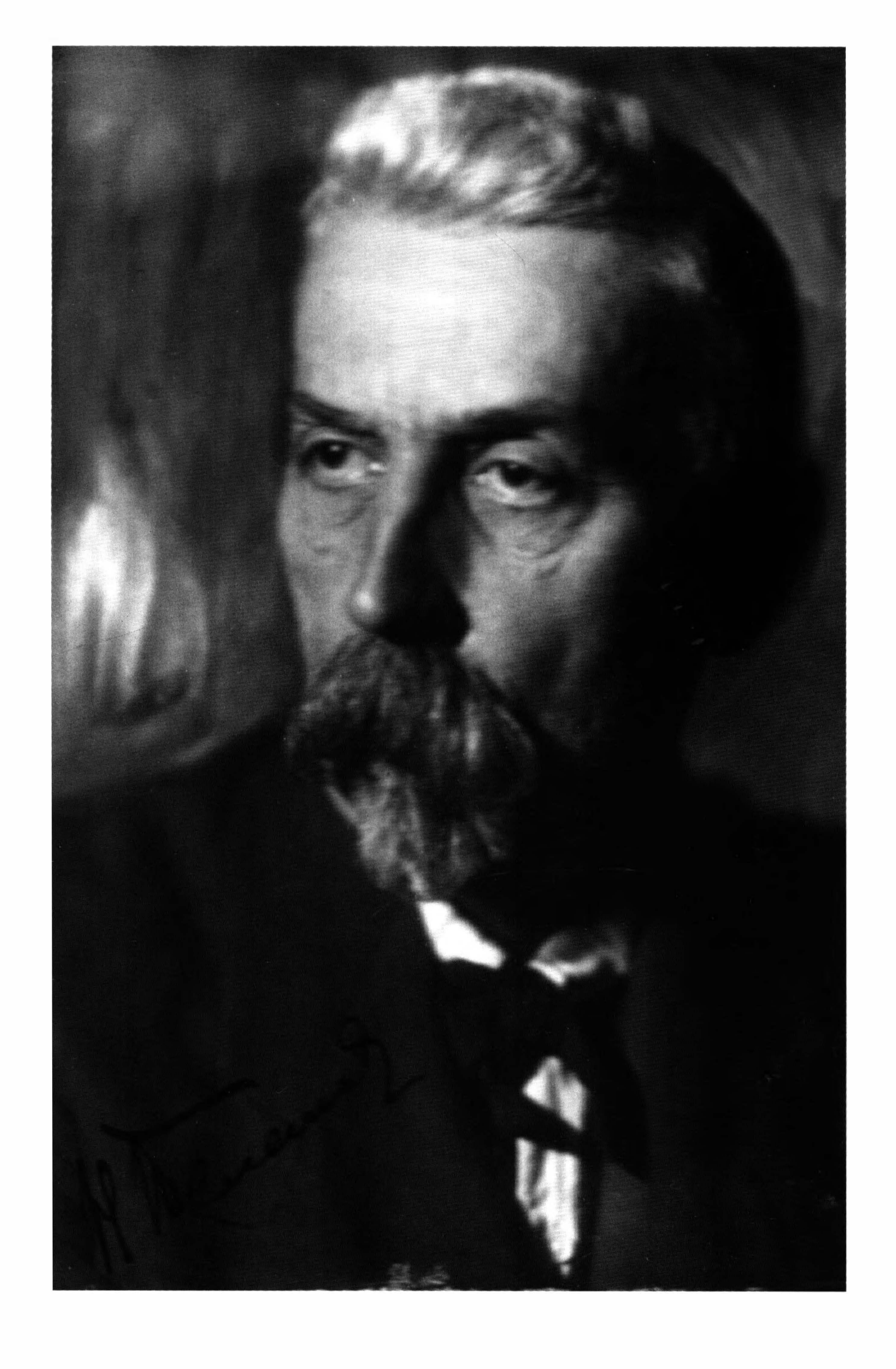
В. Г. Короленко



Л. Н. Андреев

М. Горький, Д. Мамин, Н. Телешов, И. Бунин

В. В. Лужский,Ф. И. Шаляпин, Н. Д. Телешов



Н. Д. Телешов

Л. Ю. Логинова в гостях у внука Н. Д. Телешова — В. А. Телешева

В. А. Телешев

Ещё дед Александра Андреевича собирал былины и песни и основал солидную фамильную библиотеку. С 1850-х годов в доме устраивались литературно-музыкальные вечера, на которых бывали А. Н. Островский и Ф. М. Достоевский. Главным же делом жизни последнего Карзинкина стала Третьяковская галерея. Александр Андреевич являлся одним из четырех членов её Попечительского совета, вложив в галерею громадные деньги и не менее громадный труд.

В 1898 году нижний этаж дома Телешовых заняла семья сестры А. А. Карзинкина, художницы Елены Андреевны, вышедшей замуж за писателя Николая Дмитриевича Телешова — тоже из купцов. С тех пор до 1916 года особняк славился в Москве своими «Средами». <...>

Литературная судьба Николая Дмитриевича сложилась относительно удачно. Главная книга — «Записки писателя» и детская сказка «Белая цапля» востребованы и сегодня. В сталинские времена ему хотя и оставили всего две комнаты на первом этаже, но обласкали орденами и званиями. Народническая по духу проза Телешова печаталась. Да, он творил согласно «правильным» канонам соцреализма, но в тогдашних травлях не участвовал, доносов не писал. И тщательно скрывал свои страдания, сознавая, что его «Среды» — главное дело жизни — разгромлены, что никогда не возвратятся в Россию Шаляпин и Бунин, а вернувшиеся из-за границы Горький, Цветаева и Куприн стали совсем другими людьми. Молчал он и о том, как гадал про себя (а ведь наверняка гадал!) — посадят или не посадят, получив в 1950 году из Франции от Бунина гранки цикла рассказов «Тёмные аллеи» с авторской правкой нобелевского лауреата. Бунинское письмо и гранки — один из экспонатов семейного музея, который основал Николай Дмитриевич и потомственными хранителями которого стали последующие три поколения рода Телешевых (все потомки Н. Д. Телешова были уже Телешевыми, дом же остался Телешовским).

Сын писателя Андрей Николаевич в 1941 году пошел добровольцем в московское ополчение и, возможно, остался жить благодаря одному только шагу из строя на призыв: «Фотографы есть?». После войны А. Н. Телешев работал фотографом в книжных издательствах. Ныне его работы украшают стены музея.

Внук, Владимир Андреевич, был врачом. Сейчас в доме живут его вдова, юрист Татьяна Юрьевна Телешева и пятеро их детей. Старшему — Юрию, флейтисту президентского оркестра — 29 лет[7], младшему — школьнику Николаю — 12. И всем им хватает работы по сохранению четырёхкомнатной квартиры-музея — а не музея-квартиры, в чём и состоит уникальность дома на Покровском бульваре. Пусть на дверях нет вывески, а в маршрутах автобусных экскурсий музей фигурировал лишь в брежневские годы, — «трудится» он куда как напряжённо. 18 апреля и 18 мая, в День музеев и День

[7] Сейчас, в 2009 г., упомянутым молодым людям соответственно 34 и 17 лет. — *Прим. Л. Логиновой.*

культурного наследия города, квартира открыта для посетителей. Постоянно приходят школьники, пенсионеры. Сюда приезжали потомки Шаляпина и других участников «Сред». Семья консультировала (и предоставляла материалы) устроителей выставки памяти В. А. Гиляровского, авторов книг и фильмов о Бунине, Шаляпине, Рахманинове. Между тем помощи от государства Телешевы не получают и живут весьма скромно...

Однако сегодня кое-кто не прочь от музея избавиться. На втором этаже «дома Телешовых» — ресторан (жарят шашлыки в легендарном саду) и юридическая фирма. Её хозяева уже сказали: «Дом нам нужен целиком». Дальше может сработать обычная схема: особняк дряхлеет, а деньги на ремонт есть только у бизнесменов, которые раскошеливаться не собираются; семья выселяется в Жулебино, музей гибнет, здание же превращается в бетонный муляж, где лишь мемориальная доска будет напоминать о старине.

Последние Телешевы обещают бороться до конца. Но ведь так же храбрились хранители и десятков других — в итоге, увы, исчезнувших — «культурных гнездовий» Москвы...

Что же ждет Дом Телешова?

О. Тишинова[8].

Действительно — что? Квартира Телешевых — единственное жилое пространство, оставшееся в целом, когда-то густо населённом доме. 18 апреля и 18 мая, в День культурного наследия города и в День музеев, Телешевы принимают у себя экскурсионные группы. Да и не только в эти дни — приходят экскурсии и в другие моменты по договорённости. Домашний семейный музей — это и нормальный дом, где живёт нормальная семья (ну разве что в семье этой, как будто в России до революции, уживаются на одном пространстве несколько поколений любящих друг друга людей, которых квартирный вопрос не испортил), и музей, в котором сохраняются архив, мебель, другие памятники старины, причём с возможной точностью на тех же самых местах, которые предметы занимали при Телешове. Если учесть, что дом пережил потоп, пожар и грабёж, всё это непросто сохранять. Помощи Телешевым никто не оказывает. Но главное, наверное, в том, что для каждого из них важно прежде всего не то, что они «хранят», «сохраняют» и «берегут», а то, что это живая жизнь живого дома, который вот уже скоро два века является обиталищем одного и того же рода и согревает их из эпохи в эпоху.

[8] «Московский журнал». 05. 2004.

II. ПОСЕТИТЕЛИ «СРЕД»: ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

«Человек должен жить в своём Отечестве»
(О Ф. И. Шаляпине)

Пожалуй, самыми частыми гостями «Сред» и в Москве, и в Малаховке были Фёдор Шаляпин и Иван Бунин. Знаменитый бас не только выходил на подмостки малаховской сцены перед поклонявшейся его таланту публикой, но и, по свидетельству старожилов, был автором рисунка фасада Малаховского Летнего театра в греческом стиле.

Существует предание, будто Федор Иванович, чтобы ускорить строительство культурного центра в дачном посёлке, заключил с землевладельцем П. А. Соколовым, на деньги которого строился театр, пари на ведро шампанского. Пари было заведомо проигрышное для Соколова: за два месяца сгоревшее здание театра плотникам не возвести... Но проиграл-то Шаляпин: к сроку всё было готово. Говорили, что певец специально решил поспорить с землевладельцем, чтобы подстегнуть того к более решительным и энергичным действиям.

Кроме того, певец был частым гостем на даче Николая Дмитриевича Телешова. В 1918 году отдыхал там с семьёй. В эти же дни на территории дачи проходили съёмки фильма «Честное слово» с участием дочерей Шаляпина — Ирины и Лидии. А счастливчики долго вспоминали иные блаженные минуты, когда голос певца звучал с балкона телешовской дачи. Заслышав его, люди устремлялись к дому у озера.

В июле 1920 года Шаляпин давал бесплатный концерт в Летнем театре для рабочих и служащих Люберецкого завода и других предприятий и организаций. Это был его последний выход на малаховскую сцену. Он появился в вызывающе красной рубахе, а когда запел «Дубинушку», песню подхватил весь зал... После концерта на деревянной стене одной из гримуборных Шаляпин оставил свои автограф. К сожалению, пожар уничтожил его вместе с театром, оставив след лишь на фотографии.

Невзирая на триумфы, на мировую славу, он сказал в конце своей артистической карьеры в интервью, данном болгарской газете: «Несмотря на то, что я пользуюсь здесь успехом и хорошо зарабатываю, но всё это не то. Человек должен жить в своём Отечестве, работать среди своих и между своими соотечественниками. В своё время на Родине я составил большую программу, которую должен был исполнять по своему вкусу, здесь же и на других сценах я вынужден придерживаться другой манеры, и не могу дать то, что хотел бы».

«Бунинская» комната
(Об И. А. Бунине)

..Красноречивее всего — слова из переписки Телешова и Бунина[9]. Вот несколько выдержек:

Телешов — Бунину. 22 марта 1899 г.: «Летом буду жить в Малаховке...»

30 мая 1899 г. «Сижу на даче в Малаховке, на берегу большого пруда, топлю печь и пью коньяк. Место, где я живу, довольно красивое; но холодище отравляет всякое удовольствие».

10 июня 1899 г. «... Представь себе картину сегодняшней ночи по следующим составным частям: ночь (12 ч.), луна, отчаянный хор лягушек с пруда, трели соловья, молчаливый лес, папиросы, пиво, неизбежность езды завтра с утренним поездом, только что полученная рецензия "Нового времени", литературная пустота в душе, отсутствие сюжета, желания писать и прочие прелести».

В конце каждого очередного дружеского послания непременно стояла такая подпись — твой Митрич.

Своё дачное житие-бытие Телешов живописал с юмором:

Июнь месяц. Живу я хорошо, в 8 часов утра меня будят, и начинается нормальный день: встаю, пью кофе, бегу на поезд, еду на машине, еду на извозчике, приезжаю, сижу и хожу и уезжаю на извозчике, потом на машине, переодеваюсь в куртку, бегу обедать и в 8 часов вечера начинаю принадлежать себе. Но в 10 уже клонит ко сну. Борюсь до 11 и изнемогаю. В 11 ложусь — вплоть до 8 сплю и опять то же самое и так все шесть дней. Но в праздники дело иное. Встаю в 10, читаю все московские газеты, иду гулять на час в поле, в лес, на озеро. Потом прихожу, пью водку, ем горячую, вкусную ватрушку, курю сигару, опять гуляю, рою огород, сажаю, подвязываю и т.д. до вечера. Очень хорошо! Сейчас пошли лесные ландыши, потом пойдут ягоды, а уж потом — истинное наслаждение моё — грибы.

1900. Малаховка

В письмах Телешова часто звучат настойчивые призывы к своему знаменитому другу приехать в Малаховку. Бунин ведь был заядлый путешественник. Но со временем установился обычай: когда писатель летом оказывался в Москве, обязательно наезжал и в Малаховку.

О своём первоначальном намерении он в 1901 году сообщал Телешову: «Дорогой друг, собираюсь к тебе числа 25–27 мая. Куда и как ехать? Где эта Малаховка?» А в письме сестре Антона Павловича Чехова Марии

[9] *Бунин И. А.* Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 11. Письма. М.: Воскресенье, 2006. Далее произведения Бунина публикуются по этому изданию. — *Прим. авт.*

Павловне Бунин написал: «Собираюсь в Москву... Друзья меня любят — поеду в Москву, заверну на дачу к Телешову...».

Впервые Бунин приехал в Малаховку летом 1901 года. И можно сказать, что с самых первых лет после постройки Телешовым дачи Иван Алексеевич стал здесь дорогим гостем. Даже комнату, где он останавливался, хозяева называли «бунинской». 18 июня 1903 г. Телешов писал: «Дорогой Иван Алексеевич! Живу в хлопотах. Отделывая Бунинскую комнату. В половине июля всё будет готово. Очень хотел видеть тебя. Соскучился. Приехал бы. Только сейчас комнаты у нас нет... Может быть, у станции поживёшь недельку-другую? Там есть». А 13 августа 1903 г. — следующее послание: «Милый Иван Алексеевич! Какого же чёрта ты не едешь до сих пор? Ведь лето прошло. Как тебе не стыдно! Смотри, брат, если не приедешь, то “Бунинскую башню” переименую в Свинскую и выпью всё белое рейнское, которое приготовил для свидания с тобою».

«Спасибо, дорогой, — отвечал Бунин. — Буду в Москве около первого сентября»...

Обычно Бунин приезжал в Малаховку в тёплое время года. Бывал ли зимой?

Во всяком случае, в одном из писем Телешов даёт ему наставления на случай зимнего посещения (Бунин собирается отдохнуть в частном пансионе, который ему посоветовали знакомые):

Если думаешь жить там, я постараюсь приложить все моё «влияние», чтоб тебе было хорошо. Влияние это таково: больница тамошняя, очень хорошая, со мной друг в лице главного доктора Леоненко, человека талантливого и очень хорошего. Они консультировали меня с отцом Елпатием. Земская школа, с учительницами и библиотекой — опять друзья мои. Книги, общество, медицинская помощь — всё к твоим услугам. Всё это будет по твоему желанию. От нашей дачи это близко, версты две. Наш сад, оранжерея, пруд, поля — если на лыжах — всё тебе готово. Но вино красное, извини, заперто и без меня не найдёшь. Телефон, аптека, почта — опять всё знакомые люди и всё тебе сделают, что будет нужно. Наконец, мои 2 комнаты в конторе — в твоём распоряжении. Они отдельно от других, и там есть всё: чернила, книги, камин. Но бывает холодно. Заставь топить. Впрочем, я и сам скажу своему Дон Карлосу (Василию Карловичу).

Место хорошее. Снег там не воняет, а — пахнет. Аромат свежести и холода — и чистота!

Когда решишь ехать или не ехать, скажи мне. Я, в свою очередь, скажу, что нужно и кому следует о приезде его превосходительства, как я назвал тебя на бандероли, чтоб вернее дошла. Превосходительству — дойдёт!

9 декабря 1909 года.

Малаховские впечатления нашли своё отражение в рассказах Бунина, в его знаменитых «Тёмных аллеях». Узнаваемы природа телешовской

усадьбы и сам дом в шведском стиле... Бунин писал: «Жизнь художника на даче, подмосковные дни и ночи там — некоторое подобие (гораздо более поэтическое в действительности) того недолгого времени, когда я гостил на даче писателя Телешова». К сожалению, «бунинская» комната в Малаховке не сохранилась. Телешовский деревянный дом снесён, и на его месте построен спортивный комплекс.

После отъезда Бунина в эмиграцию письма его на родину были и радостными, и печальными, иногда – трагедийными.

Вот письмо из оккупированного фашистами Парижа, обращённое к Телешову, написанное в мае 1941 года:

Дорогой Митрич, довольно долго не писал тебе — лет 20. Ты, верно, теперь очень старенький — здоров ли?... Я был «богат»! Теперь, волею судеб, вдруг стал нищ, как Иов. Был «знаменит» на весь мир — теперь никому в мире не нужен — не до меня миру! В. Н. (Вера Николаевна, жена И. А. Бунина. — Л. Л.) очень болезненна, чему помогает и то, что мы весьма голодны. Я пока пишу — написал недавно целую книгу новых рассказов, но куда её теперь девать? А ты пишешь?

Твой Иван Бунин

На полях этого письма — приписка: «Я сед, худ, но ещё ядовит. Очень хочу домой...»

Открытка Телешову из Парижа от 7 сентября 1947 года более оптимистична. На ней изображён европеец в модной шляпе и с «бабочкой» на шее. На открытке следующий текст:

Нынче получил твоё письмо. Дорогой Николай Дмитриевич, рад, что оно такое бодрое, счастливое! На днях писал тебе, с каким редким удовольствием прочёл книгу Твардовского «Василий Тёркин», забыл прибавить, что недавно восхищён был одним рассказом К. Паустовского «Корчма на Берегинке». Сейчас пишу тебе на портрете старика Ивана Бунина, который вместе с В. Н. от души обнимает тебя.

Иван Бунин

Такова в самых общих чертах история взаимоотношений Бунина и Телешова, возникших «на почве любви к литературе». Следует, быть может, добавить, что потомок эмигрантов «первой волны», крупный учёный-физик, кавалер ордена Почётного легиона Гавриил Николаевич Симонов, основатель международного общества друзей Ивана Бунина, выкупил виллу «Бельведер» в городке Грассе, где великий писатель провёл последние годы жизни. Выкупил, чтобы основать Дом-памятник. Дом... Как дом Телешёвых.

«Старые Триумфальные ворота», он же «Патриаршие пруды»
(О Н. Н. Златовратском)

Скоро ввели присяжных в залу заседаний. Прежде всего, шли они по ней гуськом, боязливо передвигая ноги; затем Недоуздок испугался больше всего священника и налоя с Евангелием и крестом: они произвели на него сильное впечатление. Присяжные старались не смотреть по сторонам и глядели прямо против себя, в упор, на поместившегося против них прокурора и «знаменитого» адвоката, который, рисуясь, метал на них из-под пенсне сердитые взгляды. «Чего этот баринок, подумаешь, взъелся на нас?», — размышлял Недоуздок и никак не мог понять. Раздались известные слова: «Прошу встать: суд идёт». Присяжные-крестьяне вздрогнули, испугались, смешались и, вставши, долго ещё не решались сесть, ожидая, не скажет ли чего-нибудь ещё пристав, но тот начал им молча махать руками. Началась известная процедура, но скоро встал адвокат и развязно, как не особенно важное, что-то сказал. Крестьяне-присяжные никак не могли разобрать, даже Недоуздок, которому очень хотелось знать, что «баринок» про них говорил, но как он внимательно ни вслушивался, ничего не понял. Затем председатель молча качнулся корпусом к прокурору, тот тоже, едва привстав, что-то ответил, а что именно, крестьяне ничего не поняли. Судьи стали шептаться и, наконец, объявили, что сегодня «по неполному комплекту присяжных, заседание не состоится». Стали толковать о причине неявки присяжных; большую часть штрафовали. Недоуздок удивился величине штрафов. «Полсотни... слышь? — толкал он под бок Фомушку. — Купецкий штраф... Нам бы это ни к чему — и взять не с чего».

Наконец их отпустили, сказав, чтоб приходили завтра.

Общее впечатление формальной стороной суда на крестьян-присяжных было очень смутное, неясное: все они словно в тумане ходили и не могли ничего понять.

Им всё казалось, что их куда-то ведут, где-то сажают, поднимают, перекликают и всё приказывают: «Встаньте, сядьте, подойдите, отойдите...

«Писательство своё, в лучшем и дорогом для меня смысле, — признавался Златовратский, — я, собственно, могу считать только с напечатания повести “Крестьяне-присяжные” в “Отечественных записках” в 1874 году». Повесть — с отрывком которой читатель познакомился только что — принесла автору литературную известность.

Посетителем и завсегдатаем телешовских «Сред» Николай Николаевич Златовратский стал в то время, когда пережил свою большую славу и популярность. Крах народнических иллюзий поверг его в тяжёлый душевный кризис. Об этой поре его жизни вспоминал С. Г. Скиталец: «Зимой 1897 г. мне случайно пришлось встретиться в Москве с одним почти пожилым студентом типа “вечных”, ещё существовавших в тогдашней России. Это был хохол-украинофил с длинными, свешенными вниз уса-

ми, горбоносый, с гайдамацкого типа физиономией, с лысеющим лбом и умышленно отпущенным чубом на макушке. Товарищи звали его "Гетманом" и он, по-видимому, давно привык к этому прозвищу: действительно напоминал портрет Богдана Хмельницкого и прозвище своё носил с удовольствием.

В конце 80-х годов, в эпоху народничества, как крупнейший писатель-народник, Златовратский был "модным" писателем, любимцем молодежи. Имя его гремело тогда не меньше, чем впоследствии имена Короленко, Чехова, Горького. К концу 90-х годов наступило неизбежное разочарование в "народе", под которым подразумевалось крестьянство, а следовательно, и в народничестве. Звезда Златовратского тускнела. Народничество всё более уходило в прошлое.

Можно сказать, что творческая судьба Николая Николаевича Златовратского — наглядное доказательство тщеты и мимолётности всякой славы, капризной Фортуны, случайно возвеличивающей своих любимцев и потом безжалостно оставляющей их».

А можно вслед за А. С. Серафимовичем и другими мемуаристами этого толка говорить о том, что «писатели-народники», реалисты, «почвенники», к которым принадлежал и Николай Николаевич Златовратский (бытописатель пореформенной деревни), медленно, почти неуловимо подготовляли почву для колоссального революционного взрыва в России, для подъёма народных, рабочих масс. К этому «взрыву» нельзя сегодня относиться однозначно, но он был неизбежен. Скиталец недаром отмечал, что герои произведений Златовратского взяты прямо из жизни, это типы людей, живших вскоре после объявления «воли», типы глухих, далёких деревень Владимирской губернии.

Возвратимся к упомянутой повести.

В уездный город пришли крестьяне-присяжные. Впервые узнав, что такое суд, они начинают судить сами. Возможно ли такое? Оказывается, если положиться на совесть и здравый смысл — возможно! Судил же народ раньше на сходах и на вече.

Рассказывая о временах ушедших, знакомя читателя с судом присяжных, недолго просуществовавшим в России, автор художественно и правдиво рисует типы крестьян одной из глухих волостей уездного городка, омываемого водами Оки.

А вот воспоминания Николая Дмитриевича Телешова — из тех же «Записок писателя»:

Впервые я увидел Златовратского в Москве на 25-летнем его юбилее, на который собрался весь цвет тогдашней интеллигенции. Колонный зал ресторана «Эрмитаж» и прилегающие комнаты были переполнены публикой. Было много носителей известных и славных имён из литературного мира, учёных, общественных деятелей, как московских, так и приехавших из Петербурга и из провинции, чтобы приветствовать этого прославленного

«мужицкого поэта», как его называли, с искренним увлечением возводившего иногда заурядного деревенского человека чуть не в герои богатырского значения, одного из самых популярных писателей-народников, бытовика и мечтателя, действительного героя восьмидесятых годов, верившего в народные силы.

...Многочисленные ораторы, приветствуя юбиляра и характеризуя его эпоху, невольно взвинчивали и поджигали один другого, и речи всё смелее и свободнее раздавались почти до утра, захватывая внимание и сердца слушателей.

Но обо всём этом, за невозможностью напечатать правдивый отчёт, в газетах было скромно сообщено на другой день только то, что «"дружеская беседа" собравшихся затянулась далеко за полночь». Фраза эта с той поры стала крылатой и вошла в обиход, когда по цензурным условиям нельзя было печатать о том, что действительно говорилось и делалось в каком-либо общественном собрании.

Я начал встречаться с ним в конце девяностых годов в тихомировском кружке при журнале «Детское чтение» и в другом редакционном кружке — «Вестника воспитания», где Николай Николаевич писал критические статьи о новых журналах и книгах.

...Его писательская слава была в это время уже «по ту сторону» жизни, а по «эту» сторону оставалась «библиографическая работа» даже без подписи когда-то славного имени под напечатанными заметками и статьями. Один из первых отзывов в печати о моих рассказах из быта крестьянских переселенцев в Сибирь, об ужасающих условиях в их длительном пути был отзыв Златовратского, которым он доставил мне, начинающему тогда писателю, огромную радость. В дальнейшем, уже значительно позднее, когда мы познакомились, он стал бывать на наших литературных «Средах», и я бывал у него на субботних «вечеринках» в обществе преимущественно писателей из народа и писателей о народе. К таким писателям Н. Н. относился всегда с особым вниманием и интересом.

...В начале девяностых годов наш литературный кружок «Среда» пользовался довольно широкой известностью и влиянием, благодаря тому, что в него входили почти все крупные писатели из тогдашних молодых, начиная с Горького и кончая писателями старших поколений, как Златовратский, Мамин-Сибиряк, Чехов...

И ещё несколько слов Николая Дмитриевича: «старик Златовратский любил приютить у себя талантливую молодежь из народа, из рабочих... Многие были обязаны ему как своим развитием, так и, в дальнейшем, своим участием в литературных изданиях».

«Воспоминания» С. Г. Скитальца не один раз публиковались в нашей стране. Одно из изданий состоялось, например, в 1960 г. (издательство «Московский рабочий»), другое — значительно позже, в 1989 г. («Правда»). Вот строки о Златовратском:

Златовратский жил рядом с моей квартирой. Жил никому не нужный и не интересный, несправедливо оставленный той самой публикой, которая ещё так недавно преклонялась перед ним.

Писатель Белоусов (поэт из народа) часто укорял меня, почему я не бываю у Златовратского (живущего по странной случайности в одном подъезде со мною, выше этажом)... Решил собрать к нему нашу «компанию»... (Вересаев, Найдёнов, Фёдоров)...

Златовратский жил с семьёй в очень скромной квартире. Кабинет его находился в задней комнате с мрачными окнами, выходившими во двор. Большой, базарной работы, писательский стол на точёных ножках, и ни одной книги, ни одной бумаги на столе. Впрочем, в комнате стоял книжный шкаф с книгам,и и больше никакой мебели.

Мне казалось странным, почему этот большой писатель, написавший столько значительных крупных вещей, бросил писать...

Злобой дня в тогдашней литературе был непомерный и не вполне объяснимый успех Горького и молниеносная слава Леонида Андреева, первая книжка которого только что вышла.

Казалось недостаточным объяснить их быструю и громкую славу только большой талантливостью: центр тяжести находился в «ударности» проблем, которые они ставили, в повышенной «революционности» их настроения.

Помню, говорил Вересаев:

— Качественно с Андреевым никто из нас сравниться не может, это художник исключительный. Но ведь бывают книги совершенно не художественного содержания, вызывающие большой успех, как, например, «Записки врача», и бывают произведения высокохудожественные, даже гениальные, не имевшие никакого успеха у современников. Следовательно, условием исключительного успеха некоторых писателей, как, например, успех давно забытого Марлинского, часто бывает общность настроения писателя и публики, созвучность эпохе...

Златовратский, опустив свою большую, с лысеющим лбом, голову, слушал с напряжённым вниманием, волнуясь. Вопрос об успехе и забвении, видимо, больно задевал его.

В присутствии большого писателя, книги которого когда-то увлекали меня, мне не хотелось говорить, но друзья спросили также и моё мнение.

Я высказал мысль, казавшуюся мне общепризнанной: большинство русских писателей до сих пор были гуманистами и являлись выразителями буржуазной гуманности, в которой главным образом нуждается буржуазия для отпущения своих грехов, что все здесь собравшиеся писатели тоже буржуазны, а Горький и Андреев — по их мировоззрению не буржуазны. Они требуют не отпущения грехов, а наказания и отмщения, в этом их мировоззрении и заключается их созвучие с «духом времени», в этом главная причина их успеха, помимо яркой талантливости.

Слова мои о «буржуазности» писателей произвели впечатление разорвавшейся бомбы. Начался всеобщий гвалт. Все возмутились. Я понял, что гуманные друзья ничуть не желали «угождать буржуазии», т. к. считали себя сторонниками будущей революции.

Златовратский с раскрасневшимся лицом, сверкающими глазами крепко стучал увесистой ладонью по столу, желая быть услышанным. Все замолчали.

— Русская литература произошла из гоголевской «Шинели», — начал он взволнованно и резко. — Из этой «Шинели» вышли Достоевский и Толстой, возвышавшие голос в защиту униженных и оскорблённых. А кто же был более унижен и более оскорблён, как не бесправный класс крестьян?

Русская литература была выражением души народа: вот откуда происходит и кого имеет в виду наш гуманизм! Из-за того, что за гуманизм прячется буржуазная идеология, русская литература не изменит великим идеям гуманизма, ибо мы не буржуазные защитники, а требуем человеческих прав для тех, кого она унижает и давит!

Старый писатель говорил горячо и убеждённо, с пылающим лицом и загоревшимися глазами, в которых внезапно вспыхнул таившийся под седым пеплом былой могучий темперамент.

Время нанесло народничеству и народникам сокрушительный удар; секира давно уже лежала у корня этого когда-то всеобщего увлечения интеллигенции.

Пережив революцию 1905 года, Златовратский умер в полном и несправедливом забвении.

Пётр Боборыкин — певец Первопрестольной
(О П. Д. Боборыкине)

К сожалению, сегодняшнему читателю вряд ли хорошо известны литературные достоинства произведений П. Д. Боборыкина «Перевал», «Дельцы», или, скажем, «Василий Тёркин» (появившийся на свет за 100 лет до любимого нами «Василия Тёркина» А. Т. Твардовского). Но среди созданного писателем огромного числа романов, повестей, драматических произведений, литературно-критических статей, несомненно, центральное место занимают страницы, посвящённые описанию быта и нравов буржуазно-дворянской Москвы рубежа 70-х годов XIX века. Воспеваемый героем произведений город сам выступает в художественной прозе Боборыкина главным действующим лицом. Тогдашняя Москва — всего лишь с миллионным населением, удивительными архитектурными и историческими памятниками, с особенной, не похожей на другие города, кипучей жизнью, встаёт перед нами.

Картину того времени очень образно рисует ещё один непременный участник творческих встреч на Покровском бульваре Ф. И. Шаляпин в своей мемуарной книге «Маска и душа», выдержавшей множество изданий:

...Российский мужичок, вырвавшись из деревни смолоду, начинает сколачивать своё благополучие будущего купца или промышленника в Москве. Он торгует сбитнем на Хитровом рынке, продаёт пирожки на лотках, льёт конопляное масло на гречишники... весело выкрикивает свой товаришко и косым глазком хитро наблюдает за стежками жизни, как и что зашито и что к чему как пришито. Неказиста жизнь для него. Он сам зачастую ночует с бродягами на том же Хитровом рынке или на Пресне, он ест требуху в дешёвом трактире, вприкусочку пьёт чаёк с чёрным хлебом. Мёрзнет, голодает, но всегда весел, не ропщет и надеется на будущее. Его не смущает, каким товаром ему приходится торговать, торгуя разным. Сегодня — иконами, завтра — чулками, послезавтра — янтарём, а то и книжечками, таким образом он делается «экономистом», а там, глядь, у него уже и лавочка или заводик. А потом, поди, он уже 1-й гильдии купец. Подождите — его старший сынок первый покупает Гогенов, первый везёт в Москву Матисса. А мы, просвещённые, смотрим со скверно разинутыми ртами на всех непонятных ещё нам Матиссов, Мане и Ренуаров и гнусаво-критически говорим: «Самодур...»

Действительно, эти самые «самодуры» тем временем потихонечку накопили чудесные сокровища искусства, создали галереи, музеи, первоклассные театры, настроили больниц и приютов на всю Москву.

Мы привыкли связывать историю «Старой столицы» и её обитателей с именем незабвенного «дяди Гиляя». Но книга «Москва и москвичи» В. А. Гиляровского, воскрешающего облик великого города, увидела свет в 1926 г., а основной труд П. Д. Боборыкина о Москве и москвичах — роман «Китай-город» — в 1882 г. «Письма о Москве» вышли ещё раньше, в 1881 г. Проза Боборыкина с приметными по месту и времени «картинками» и «картинами», колоритными деталями, милыми русскому сердцу подробностями читается с увлечением. Писатель почти с научной точностью ведёт свой рассказ, прогуливаясь с нами по Первопрестольной. «Первопрестольная» — почётно-торжественное название Москвы с начала XVIII века, когда столица Российского государства была перенесена в Петербург, подчеркивало историческое старшинство Москвы по сравнению с Петербургом.

Ресторанные залы и кабинеты «Славянского базара», мраморные марши Благородного собрания, Ильинка, Пречистенка, Сокольники, Разгуляй — знакомые и полузнакомые нам сегодня названия «боборыкинской» Москвы. Мы проходим по брусчатке Красной площади, подле Патриарших прудов, по узким арбатским и замоскворецким переулочкам, оказываемся у Покровских ворот...

На протяжении всего нашего пути непременно знакомимся с сословными «обитателями» Поварской, Арбата, Сивцева Вражка и других стародворянских «местностей», с представителями нарождающейся московской буржуазии. Это их Ф. И. Шаляпин окрестил «экономистами».

О Боборыкине говорили, что он «даже думать начинает совершенно так, как это прилично какому-нибудь замоскворецкому тузу...». Только вряд ли это справедливо. Уже достаточно потрудились до него, чтобы познакомить публику с этим классическим старокупеческим типом Тит Титычей. То же самое можно сказать о представителях родовой знати. Да и об интеллигентах... Кстати, Боборыкин приписывает себе честь введения самого слова «интеллигент» в русский литературный язык.

Под пристальным вниманием писателя — неудержимо нищающее городское дворянство и в особенности яркая рядом с ним безудержно богатеющая новая русская буржуазия. Как живые проходят перед нами: биржевые спекулянты, игроки и авантюристы, представители денежных олигархий, владельцы амбаров... Вот две основные, с точки зрения Боборыкина, социальные силы московского общества 70-х годов XIX столетия: дворянство (как вариант, чиновничество) и купечество.

Принято думать, что П. Д. Боборыкин едва ли не первый открыл русскому читателю истоки торгово-промышленной жизни страны — его произведения полны наблюдений, анализа, живописных подробностей, характерных сцен. На роль «альтер эго», проводника своих идей, этот писатель выбрал потомственного дворянина, выпускника университета, в прошлом боевого офицера, проходящего, как «пионер», свои «купеческие университеты» — Андрея Дмитриевича Палтусова. Приведу небольшой отрывок из романа «Китай-Город». Напомню, что действие происходит более 100 лет назад. Герой совершает свою первую финансовую операцию.

Палтусов, облокотившись о дубовый выступ кассы, смотрел на то, как считали пачки ассигнаций... Он с особым выражением оглядывал и мальчишек лет 12-10, чумазых, в рваных полушубках, присланных за кушами или с кушами в десятки тысяч. Они брали пачки, перевязанные верёвочками, развязывали их, мусолили грязные пальцы и принимались считать. Иные и совсем не считали, а просто доставали пачки из холщёвых мешков и накладывали на прилавок, перед решеткой кассира, без всякой бережи, точно картофель или репу. В глазах Палтусова так и рябило. Тысячные пачки сторублёвок, выданные из банка и аккуратно сложенные, возвышались стопками на столе и похожи были издали на кипы книжек. На текущий счёт приносили больше засаленные бумажки и мальчишки комкали их, укладывая на прилавок. В десять минут перед глазами Палтусова пропестрели сотни тысяч.

«В такой стране не нажиться? — говорили его разбегающиеся карие глаза. — Да надо быть кретином!»

Петр Дмитриевич Боборыкин не был москвичом. Он родился в 1836 году в Нижнем Новгороде в провинциальной помещичьей семье средней руки. Получил образование, пройдя курс Казанского, затем

Дерптского (Тартуского) и, наконец, Петербургского университетов, где успешно выдержал кандидатские экзамены по «разряду административных наук». Дальше — жизнь профессионального литератора: редактор журнала «Библиотека для чтения», первые романы, повести, пьесы, литературно-критические, философские и театроведческие статьи; заграница, откуда в русские журналы идут от него новые беллетристические сочинения, корреспонденции, отчеты, репортажи с Брюссельского конгресса I Интернационала, из Франции времён Парижской коммуны...

Что для него Москва? Столица или губернский город? В том же «Китай-городе» читаем:

...Типу столицы он не отвечает, как бы его ни величали «Сердцем России» в смысле срединного органа... Её следовало бы считать центральным губернским городом.

...не город вообще, а «город» в особом московском значении, то есть тот, что обнесён стеной и примыкает к Кремлю, — центральный орган российской производительности. Это — громадный мир приемник многомиллионной производительности, проявивший собой все яркие свойства великорусского ума, сметки, мышечной и нервной энергии... Вот в чём Москва — настоящая столица!..

До 60-х годов нашего века читающая, мыслящая и художественно-творящая Москва была исключительно господская, барская... Купец, промышленник, заводчик и хозяин амбара за всё это время стоял там где-то; в «общество» не попадал, кланялся кому нужно, грамоту знал ещё плохо и не далее, как 25 лет тому назад, трепетал не только перед генерал-губернатором, но и перед частным приставом. В последние 20 лет, с начала 60-х годов, бытовой мир Замоскворечья и Рогожской тронулся: детей стали учить, молодые купцы попадали не только в коммерческую академию, но и в университет, дочери заговорили по-английски и заиграли ноктюрны Шопена.

...Хозяйство города к половине 70-х гг. очутилось уже в руках купца и промышленника, а не в руках дворянина.

...Они начинают поддерживать своими деньгами умственные и художественные интересы, заводят галереи, покупают дорогие произведения искусства, учреждают стипендии, делаются покровителями разных школ, учебных заведений...

Картиной торжественного открытия новой залы «Московского» трактира, что против Воскресенских ворот, выстроенного на месте отжившего свой век «заведения» Гурина, заканчивает свой роман «Китай-город» Петр Дмитриевич Боборыкин. Шёл, кстати говоря, 1878 год.

Залы — в два света, под белый мрамор, с тёмно-красными диванами. Уже отслужили молебен. Половые и мальчишки в туго выглаженных рубашках с малиновыми кушаками празднично суетились и справляли торжество от-

крытия. На столах лежали только что отпечатанные карточки «горячих» и разных «новостей» — с огромными ценами. Из залы ряд комнат ведёт от большой машины к другой — поменьше. (Ресторан славился огромной музыкальной машиной, за которую было заплачено Карзинкиным 40 тысяч рублей). Длинный коридор с кабинетами заканчивался отделением под свадьбы и вечеринки, с нишей для музыкантов. Чугунная лестница, устланная коврами, поднимается наверх в «нумера», ожидавшие уже своей особой публики. Вешалки обширной швейцарской — со служителями в сибирках и высоких сапогах — покрывались верхним платьем. Стоящий при входе малый то и дело дёргал за ручки. Шёл всё больше купец. А потом стали подъезжать и господа... у всех лица сияли... Справлялось чисто московское торжество...

Машина загрохотала с каким-то остервенением. Захлебывается трактирный люд. Колокола зазвенели поверх разговоров, ходьбы, смеха, возгласов, сквернословия, поверх дыма папирос и чада котлет с горошком. Оглушительно трещит машина победный хор:

«Славься, славься, Святая Русь!..»

Кто мог знать, что через двадцать лет автор этих строк станет посетителем «Сред» Телешова, хозяйкой которых будет Елена Андреевна, в девичестве Карзинкина! А ведь именно её родственником был построен трактир «Московский»...

«В искренней приязни»
(Об А. Е. Грузинском и И. А. Белоусове)

Настоящими друзьями, «до последнего дыхания», были филолог А. Е. Грузинский, портной и поэт Иван Алексеевич Белоусов и писатель Н. Д. Телешов.

Долгое время портной Белоусов одевал многих литераторов и журналистов. Шили у него костюмы (тогда говорили обобщённо — «платье») А. П. Чехов с братьями, писатели Тихомиров, Златовратский, Глаголь (Голоушев). «Да и кому из литературной братии в своё время не шил он простые будничные костюмы, куртки, шубы, штаны», — вспоминал о своём друге Белоусове Н. Д. Телешов.

Вот что пишет сам Иван Алексеевич Белоусов в мемуарном очерке «Ушедшая Москва»[10]:

Отец мой выучился кройке самоучкой. Мерки он снимал длинными узкими бумажными ленточками, делая на них надрывы, которые обозначали

[10] Этот очерк дал в своё время название целой книге, в которую вошли воспоминания старых москвичей. «Ушедшая Москва: Воспоминания современников о Москве XIX века». М.: Московский рабочий, 1964.

длину, ширину и объём. Для каждого заказчика была особая бумажная мерка, на которой отец записывал, кому и какая вещь заказана. На мерках простых заказчиков он обыкновенно писал: «Ивану рыжему от купца Нюнина поддёвка», или «Жемочкинскому молодцу пальто на барашковом меху». Мерки же благородных заказов подписывались полным именем и фамилией.

Но то, что я пишу и печатаюсь — это я держал в тайне от домашних, т. к. в нашем кругу подобные занятия считались пустяковым делом, баловством. Эту тайну я поведал Ивану Павловичу Чехову.

— А у меня есть брат — Антон, — он тоже пописывает! Хотите, я вас с ним познакомлю, — предложил мне Иван Павлович.

Позже именно благодаря Белоусову Николай Дмитриевич Телешов познакомился с А. П. Чеховым и В. А. Гиляровским. Произошло это на свадьбе Белоусова, где Телешов был шафером.

Фигура Белоусова, конечно, в истории литературы занимает скромное место. Но не в истории «Сред» и их основателя. Об этом Телешов также писал в своих мемуарах.

Мне было лет 18. Белоусову — года 22. Помню, он пришёл ко мне однажды сам познакомиться и переговорить о товарищеском сборнике стихов, который группа начинающих поэтов решила тогда издать. И вот оба мы при первой же нашей встрече, ещё не зная один другого, подали друг другу в первый раз в жизни руки, да так с тех пор и остались близкими друзьями на всю нашу долгую жизнь — до могилы.

В марте 1902 г. наш литературный кружок «Среда» решил товарищески справить 20-летие писательской жизни Белоусова. Собрались, как обычно, у меня на квартире наши друзья. Человек 40. В этот вечер впервые появился у нас на «Среде» — Алексей Евгеньевич Грузинский. Знакомство с Грузинским было для меня приятным и, кроме того, полезным, потому что познания его в области литературы были значительны, и он умел делиться этими познаниями с особой сердечностью и с заражающей слушателей любовью.

Начиная с юбилейного белоусовского вечера, Грузинский стал бывать у нас почти каждую «Среду» и вскоре мы настолько сблизились, что перешли на «ты». И вот с тех пор в течение 28 лет, вплоть до его кончины прожили в искренней приязни.

Сближало всех их очень многое. Настоящая любовь к литературе, к слову. Тонкое чувство и понимание природы. Доброжелательное отношение к людям. В душе и Грузинский, и Белоусов были поэтами. Грузинский был старше Белоусова на пять лет. Филолог, окончивший Московский университет, вовсе не демонстрировал своего превосходства над «портным», ведь Белоусов в это время был ремесленником из Зарядья, прошедшим курс городского училища. Перед одним открывалась широкая дорога учёного, перед другим — серая жизнь мастерской, на верстаке или «катке», с иглой, напёрстком и утюгом, среди буднич-

ных забот и мелких интересов, в затхлой мещанской обстановке одного из московских переулков, лежащих между Варваркой и Москвой-рекой. И отец Белоусова был портной — ремесленник, полуграмотный человек. В доме, где рос будущий поэт, никогда не было ни одной книги; иметь книги считалось излишеством, а сочинять их — делом крайне предосудительным и буквально неприличным.

В доме никто, конечно, не подозревал, что Иван Алексеевич любит книги, много читает и много вычитывает существенного для жизни — не портного Белоусова, но Белоусова-поэта, каким он родился и каковым оставался всю свою жизнь. И юноша, отработав день, по ночам, когда в доме все засыпали, писал свои песни, свои думы, свои стихи. И не только писал, но вскоре начал мало-помалу печатать их в мелких газетах и журналах под разными псевдонимами, тщательно скрывая своё настоящее имя, чтобы не нажить семейной беды.

Из-за сурового домашнего режима оживлённую переписку того времени Ивану Алексеевичу Белоусову приходилось направлять не по адресу, где он жил, а куда-то к Александровскому саду, в какой-то стекольный магазин, на имя какого-то конторщика,

После женитьбы Иван Алексеевич разошёлся с отцом, открыл собственную портняжную мастерскую. Скромная вывеска над воротами сообщала: «Портной Белоусов». А «портным» уже в это время было издано несколько книг стихотворений, переводы из «Кобзаря», из Ады Негри, из Беранже. Он увлечён был переводами Тараса Шевченко, изучал его язык, писал простые стихи о труде и природе.

Алексей же Евгеньевич Грузинский был не только активным членом «Среды», но и просто необходимым для неё человеком. К этому мудрому учёному, широко и многогранно образованному, с его тонким пониманием художественной красоты и любовью к народному творчеству во всех его видах, в том числе и к народной музыке, с огромными познаниями в области народной словесности, приятно было обращаться за советами, справками, беседой. Воспитанник Московского университета Грузинский был долгое время Председателем старейшего литературного Общества любителей российской словесности.

...Менее чем за месяц до смерти Белоусова несколько старых друзей, в их числе и Грузинский, по желанию самого больного, собрались у его постели в день его рождения (ему исполнилось 66 лет). Болен он был тяжело, в сущности, безнадёжно. Все это сознавали, да и сам он отлично понимал своё положение. Он был тем не менее весел в этот вечер... Между прочим говорил, что вот ему сегодня 66 и когда он подсчитал всякие выпуски своих сочинений, то оказалось, что их к сегодняшнему дню вышло в свет в различных изданиях — тоже 66.

— А вот шестьдесят седьмой вещи я уже не издам, — невольно прорвалось у больного во время беседы. — Да и 67-го года тоже, пожалуй, не проживу.

Как бы подводя черту подо всем тем, что было написано поэтом за 66 лет, Николай Дмитриевич Телешов сказал: «Всякое насилие, тем более торжествующее насилие было с ранней юности чуждо его ласковой душе и ненавистно его редкостно чистому сердцу. Просто по натуре своей он должен был идти к обиженным, идти к униженным, быть первым там» (чуть изменённые строки из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»).

Белоусов не протянул с того дня и месяца. Грузинский писал своему умирающему другу нежные и проникновенные слова, которые также привёл в своих воспоминаниях Телешов:

Дорогой мой, милый старый друг, Иван Алексеевич. Слышал, что опять тебе стало нехорошо, и тоскую по тебе, и защемило моё, тоже нездоровое сердце. Годы наши с тобой немалые и ненадёжные, кто знает, когда и как придётся опять свидеться после последней нашей встречи 10 декабря у тебя. И мне захотелось написать тебе то, что сейчас мне думается и чем полна душа.

Мы с тобой водили дружбу очень долго, пожалуй, около сорока лет... за всё время я не помню не только поры, не помню ни одного дня, когда бы между нами прошла тень ссоры или неудовольствия. Для меня эти 30—40 лет дружбы с тобой полны ясного, ласкового света и тепла. И за эту безоблачность, которая не так уж часто бывает в жизни, мне хотелось сказать тебе спасибо и от всей души тебя поцеловать...

Желаю тебе, милый друг, найти ещё сил для борьбы с твоим недугом. Обнимаю тебя по-братски.

Твой Ал. Грузинский.

В день похорон Белоусова с Грузинским случился тяжёлый сердечный приступ, а через две недели он скончался.

«Я — крестьянский писатель. Из крестьян»
(О С. Г. Скитальце)

...Демократы! — неожиданно воскликнул Мирон. — Они говорят этак, иные прочие господа — так, — он повернул растопыренную ладонь сначала в одну, а потом в другую сторону. — И все промеж собой, спор ведут! — он развёл руками, пожал плечами и глубокомысленно нахмурился. — Не нам их разбирать! Мы, мужики, знаем одно: землю. Там вы как хотите, а нам перво-наперво землю подайте! Нарежьте нам землю... а потом мы уже поглядим и сами разберём всю нашу нелегальную литературу...

Когда он заговорил о земле, лицо его преобразилось, приняло одухотворенное выражение, глаза сверкали, грудной голос тепло вибрировал и чувствовалась в нём могучая жажда земли, нежная любовь к ней!

Перед нами отрывок из рассказа С. Г. Скитальца «Лес разгорается». Имя писателя не много говорит сегодняшнему читателю. Но в годы первой русской революции он был очень популярен как поэт и прозаик. Сравнивая двух известных писателей, Леонида Андреева и Скитальца, А. П. Чехов сказал однажды, что в Андрееве нет простоты, и талант его напоминает пение искусственного соловья, а вот Скиталец — воробей, но зато живой, настоящий!

Степан Гаврилович Петров (псевдоним Скиталец), начал писать стихи с двенадцати лет. О себе и своём отце, крепостном крестьянине, он вспоминал:

В 13—14 лет я совсем не нуждался в обществе своих школьных товарищей-однолеток, мне уже нужны были люди, знавшие и любившие литературу. Но из таких людей был около меня только один мой отец.

По моему мнению, это был человек исключительных способностей и большой талантливости, на голову стоявший выше своей среды. Это был оригинальный, своеобразный человек, самоучка, безграмотно писавший, но много читавший, много думавший и много переживший в продолжение своей тяжёлой, интересной жизни.

Говорил он увлекательно, рассказывал художественно: будучи моим единственным и постоянным собеседником с самых ранних лет моей жизни, он имел на меня влияние едва ли не большее, чем все прочитанные мною книги.

В четырнадцать Скиталец написал поэму «Кабала». А начало его литературной известности связано с повестью «Октава» (1900). В ней рассказывается о судьбе плотника Захарыча, певца-самородка с неповторимым природным голосом. Тщетно предлагают Захарычу певческую карьеру в городе – всему на свете он предпочитает родную Волгу с её просторами, волей, свободой. Русская природа и народная песня и в творчестве, и в жизни Скитальца оказались неразрывно слиты:

Захарыч воткнул топор носом в бревно, которое тесал, сел на бревно и не без важности принял меня. Он был в синей своей куртке и в лаптях. Лицо его дышало спокойствием и уверенностью в себе.

— Сколько лет, сколько зим! — сказал он мне.

— Давненько не видались! — отвечал я. — Ты вот ушёл от нас — опять плотничаешь!

Захарыч усмехнулся:

— Опять плотничаю!

— Что же ты из города-то ушёл? Ведь там ты голосом впятеро больше заработаешь, чем здесь топором!..

Захарыч опять усмехнулся.

— А наплевать мне на ваше «впятеро»! — отвечал он. — Ты посмотри только отсюда на Волгу, на горы! Здесь душа покой себе находит, а там она мятется попусту...

— Но ведь красота и в пении есть, Захарыч! — возразил я. — Отчего ты не поёшь в опере или у Славянского?

Захарыч с презрением усмехнулся и промолчал, словно ему приходилось отвечать на ребяческий вопрос...

Огромную роль в судьбе молодого автора сыграл А. М. Горький. Это он привёл младшего товарища-писателя на «Среды». Скиталец впоследствии вспоминал:

Главным и жестоким критиком «Среды» оказался Юлий Бунин, или Бонза, как его метко прозвали участники её. Сам он даже в собственном журнале никогда ничего не писал, но хорошо знал и любил художественную литературу и в своих замечательных «критических речах» на собраниях «Среды» обнаруживал большой аналитический ум.

Всю жизнь свою этот интересный человек, старый москвич, старый холостяк, без гроша за душой, прожил не только в качестве редактора узкоспециального журнала, но главным образом участника и организатора многих общественных организаций, неся, таким образом, несомненно, прогрессивное знамя. Участие в «Среде» было только одним из многих выступлений этого общественника старой складки.

О собственной судьбе Скиталец говорил: «Тернистый путь грустных и долгих скитаний. С младенчества скитаясь, упорно я искал своей дороги и не хотел мириться с рабской долей».

Это было время, как писал позже Скиталец в своих «Воспоминаниях», когда «отовсюду как бы выпирало молодую русскую талантливость, всё расцветало. Сцена — с Художественным театром, Комиссаржевской, Шаляпиным, Собиновым. Живопись — с Васнецовым, Врубелем, Малявиным. Музыка — с Рахманиновым, Скрябиным и Глазуновым. Литература — с Горьким, Андреевым, Буниным. В воздухе веяло обновлением, и казалось, вся Россия пробуждалась, грезила какими-то сказочными, радужными снами».

«...С душою и талантом»
(Об И. С. Шмелёве)

Самым «распрерусским писателем» называл Ивана Сергеевича Шмелёва Куприн.

Телешовские «Среды» проходили зимой в Москве не только на квартирах Н. Д. Телешова. Иногда они проводились и у других писателей. Так, 12 февраля 1917 года Константин Георгиевич Паустовский в письме к жене писал: «В среду, 15-го, иду в “Дом Поленова” на Медынке. Там лекция “О русском писателе”. Читает Бунин, участвуют Шмелёв, Серафимович,

Ал. Толстой, Телешов, Сумбатов, и ещё, и ещё. Одним словом, вся писательская Москва»[11].

Впечатление, которое произвёл на молодого тогда писателя Константина Паустовского вечер в «Доме Поленова», находим в письме Паустовского от 16 февраля 1917 г.

...Анна Ахматова прострелила меня своими египетскими глазами. Сиял лысиной и золотом зубов Серафимович с ужасающим, корявым лицом Квазимодо и хмельными глазами, по-английски строг, изыскан и стар был Бунин, с глухим голосом и лёгким хохлацким акцентом. Тяжёлый Сумбатов, величественный Телешов, пылкий и грассирующий Потёмкин... И просто одетый, суровый, измученный, с презрительной складкой у губ и умным квадратным лицом Шмелёв — самый молодой, резкий и отчеканенный, — как сказал Потёмкин. В публике было «электрическое» настроение. Много шумели. Но почему-то всё это показалось мне отжившим, старым, не волнующим. Для меня были только двое — Бунин и Шмелёв. Бунин, спокойный, тонкий, задушевный, чеканил свои стихи и волновал. У него редкие тонкие руки. Шмелёв бросил публике в ответ на жалобы на оскудение литературы — «Каждое общество заслуживает своих писателей. Гения надо заслужить. Прежде чем говорить о нём, надо спросить себя — достойны ли мы иметь гения. Вы — косная масса под новыми сюртуками, вы — трусость, вы — душевная прострация и та человеческая пыль, от которой тошнит в уме. И если придёт в Россию гений, то какое отчаянное, потрясающее проклятие он швырнёт в лицо России и вам, её «промотавшимся», оголтелым отцам.

А в публике говорили: «Возмутительно! Написал каких-то два жалких рассказа, изданных универсальной библиотекой за 10 коп. и смеет говорить такие вещи». Одна дама, сидевшая впереди меня, сказала, что «такого господина она бы не впустила в свою гостиную»... Что вы, помилуйте! Разве можно. А Михайловский, Щедрин, Некрасов? Даже этот вечер — пример единения. Хорошо единение. «Я бы его в свою гостиную не пустила».

И Шмелёв ответил о том, как затравили всех русских гениев, затравило общество, обыватель, вся дикая русская жизнь, и крикнул о несмываемом позоре и крови на руках русской критики, задушившей свободную мысль, убившей из-за угла безвестных гениев, которые были неизмеримо выше всех столпов русской литературы!.. Будьте прокляты вы, русские интеллигенты, с вашей критикой. Чёрт меня дёрнул родиться в России с душою и талантом.

Шмелёв был всего на три года моложе Бунина и на шесть — Телешова. Печататься начал рано, в 1895 году. Его рассказы были проник-

[11] Письма К. Г. Паустовского публиковались в Собрании его сочинений (*Паустовский К. Г.* Собрание сочинений: В 9 т. Т. 9. М.: Худож. литература. 1984) и в книге «Время больших ожиданий»: Повести. Дневники. Письма: В 2 т.

нуты сочувствием к «маленькому человеку». Знаменитым его сделала повесть «Человек из ресторана», опубликованная в 1911 году. А в 1912 году совместно с Буниным, Телешовым, Зайцевым, Вересаевым Шмелёв стал пайщиком созданного «Средой» «Книгоиздательства писателей в Москве», в котором вышло восьмитомное собрание его рассказов. Он принимал участие в благотворительных публичных вечерах, которые устраивали «Среды». Так на сцене литературно-художественного кружка в 1912 г. шла его пьеса «Мистификация». Пьесы членов «Среды» игрались в пользу пострадавших от неурожая. Летом бывал среди гостей Телешовых в Малаховке...

Остро и болезненно, может быть, острее и болезненнее других ощущал Иван Сергеевич Шмелёв приближение надвигающейся катастрофы. И хотя Февральскую революцию он встретил восторженно, Октябрьскую не принял совершенно и в 1922 году оказался в эмиграции. До конца дней испытывал боль от воспоминаний о старой России, её природе, людях, от воспоминаний детства.

И кто знает, может быть, в его памяти нет-нет да оживали воспоминания о благословенных днях, проведенных на телешовской даче?

« Я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью...»
(Об А. И. Куприне)

Куприн и поныне — один из самых читаемых писателей. Его творчество также связано со «Средами».

Как оказался Куприн в «Среде»? Скорее всего, ему помогло знакомство с Чеховым. Ещё в бытность офицером будущий писатель держал экзамен в петербургскую Академию Генерального штаба. Из этой попытки ничего не вышло, но зато Куприн сумел установить связи с журналом «Русское богатство» и с несколькими писателями: с Чеховым (часто бывал у него в Ялте), с Горьким (с ним и просто сдружился), Елпатьевским, Буниным и со всем чеховским окружением. Несмотря на свои скитания, этих знакомств он не прерывал — ни тогда, когда был безвестным офицером, ни тогда, когда обрёл общероссийскую славу.

По свидетельству Бунина, Куприн свою славу «нёс так, как будто ровно ничего не случилось в его жизни, казалось, что он не придаёт ей малейшего значения, ни в грош не ставит её». Скиталец писал, как Куприн «вспыхивал иногда божественным огнём, щедро отпущенным на его долю». О себе Куприн говорил устами одного из своих героев:

Я — бродяга и страшно люблю жизнь. Я был токарем, наборщиком, сеял и продавал табак, махорку-серебрянку, плавал кочегаром по Азовскому морю... ездил с цирком, был актёром — всего и не упомню. И никогда меня не гнала нужда, нет, только безмерная жадность к жизни и нестерпимое

любопытство... Я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбою, или побыть женщиной и испытать роды; я бы хотел жить внутренней жизнью и посмотреть на мир глазами каждого человека, которого я встречаю.

«Талантлив был, во все стороны талантлив!»
(О Н. Г. Гарине-Михайловском)

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский не жил в Москве, но, изредка приезжая в столицу, был активным участником Телешовских «Сред». Однажды на заседание он принёс бронзовую отливку орла с распростёртыми крыльями. Орёл судорожно вцепился в пустую скорлупу яйца и силился оторвать её от земли. Талантливый безымянный скульптор запрокинул голову орла кверху и заставил его смотреть в пространство. Николай Георгиевич долго рассматривал скульптуру и сказал, наконец: «Так каждый из нас, как этот орёл, тащит пустую расколотую скорлупу своей жизненной цели, а запрокинутая голова не даёт ему видеть, что скорлупа пуста. А впрочем, может быть, в этом и заключается счастье, чтобы не видеть и верить...».

«Талантлив был, во все стороны талантлив! Даже инженерную тужурку свою талантливо носил», — такими словами вспоминал о Гарине-Михайловском хорошо чувствовавший талантливых людей Савва Мамонтов. А он многих поставил на ноги: Шаляпина, Врубеля, Виктора Васнецова...

Дважды предсказывали Николаю Георгиевичу гадалки: жить, мол, будешь 100 лет. Он прожил половину, но какую!

Всё, за что брался Николай Георгиевич, получалось. Он объехал полсвета. То плыл на океанском пароходе через Атлантический океан, совершая зачем-то кругосветное путешествие, по пути заинтересовываясь жизнью островитян или «корейскими сказками», то летел в Париж, то оказывался на юге России, откуда с курьерским поездом мчался на Волгу или Урал. Он многое сумел увидеть своим зорким умным взглядом и сумел не забыть ни крупицы. Он прекрасно знал крестьян и современную ему деревню. Хорошо представлял себе жизнь и психологию рабочих. Тонко чувствовал и понимал интеллигенцию, столичную и провинциальную. Разбирался в литературе, театре, живописи. Мы знаем его знаменитую тетралогию — «Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры». «Целая эпопея!» — говорил М. Горький.

Гарина-Михайловского, инженера-строителя железных дорог, рабочие считали чудаком: он доплачивал из своего кармана за хорошую работу. Зато органически не выносил плохой. Писатель основал полуторамиллионный город Новосибирск (его называли сибирским Чикаго). Он был начальником партии изыскательских работ в Сибири, в ходе которых

именно им было найдено техническое решение для строительства моста через широкую и быструю реку Обь. Это положило начало посёлку, разросшемуся позднее в город-исполин. Сегодня привокзальная площадь Новосибирска носит имя своего основателя. А ещё Гарин-Михайловский разведал трассу для электрической чудо-дороги в Крыму — и сейчас на автостраде между Севастополем и Ялтой в скале вырублен его профиль, и слова золотом по мрамору оповещают автопутников о том, что изыскатель инженер Михайловский нашёл оптимальный вариант дороги не только для современников, но и для дальнейших поколений.

За отличное исполнение поручений во время Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Гарин-Михайловский через год после окончания военных действий был всемилостивейше пожалован кавалером ордена Св. Станислава 3-й степени. Награждён орденом Анны 3-й степени за постройку дороги Уфа-Златоуст (1-й участок Транссибирской магистрали). За участие в дальневосточной экспедиции получил третий орден — Владимира 4-й степени.

«Нет узелков на моих парусах, которые я бы не развязал», — говорил он сам.

С начала Русско-японской войны (1904 г.) он был на фронте в качестве инженера и корреспондента московской газеты «Новости дня». На Дальний Восток рвался не воевать — хотел в горной Корее соорудить подвесную канатную дорогу. Помешала война. Русские войска ушли из Кореи. Возвратившись в Петербург, вошёл в редакцию столичного журнала «Вестник жизни». Михайловский сочувствовал марксизму. Будучи в Маньчжурии, содействовал распространению большевистской литературы в войсках.

Приёмный сын писателя Б. К. Терлецкий вспоминал, что «дядя Ника» был всегда юношески строен, со смуглым лицом, с седыми волосами, светлыми глазами. Нельзя было поверить, что ему пятьдесят, сказать, что это стареющий человек... Такие горящие глаза, такое подвижное лицо, такая приветливая улыбка могут быть только у юноши. Стоило ему заговорить, и на слушателя обрушивались каскады фраз. Захватывал и уносил бурный поток образов, приковывало к себе живое меняющееся лицо, светлый пылающий взгляд. Виделся не только юноша по лицу и фигуре, — нет, человек со светлой и юной, как у древнего эллина, душой.

Гарин-Михайловский писал ночами, в свободные от работы дни и оторванные от сна часы, писал на чём придётся — заявках, папиросных коробках... Короленко полушутливо утверждал: «пишет даже на облучке, на дуге».

Свои воспоминания об этом незаурядном человеке оставили потомкам многие известные писатели, в том числе и знавшие его по Телешов-

ским «Средам» Елпатьевский, Скиталец, Куприн, Горький. Елпатьевский лукаво доказывал, что Гарин единственный из русских писателей, который передаёт свои рассказы по телеграфу. Скиталец подчёркивал, что Гарин-Михайловский писал не для славы или денег, а так, как птица поёт, — из внутренней потребности.

В. Г. Короленко — против диктатуры
(О В. Г. Короленко)

Активный участник Телешовских «Сред», Владимир Галактионович Короленко, писатель-гуманист, является одним из первых российских правозащитников. Об этом далеко не все помнят. Поэтому свой рассказ я посвящу не его литературным выступлениям на «Средах», а вот этой — в своём роде исключительной — стороне его деятельности.

«... Высказывать откровенно свои взгляды о важнейших мотивах общественной жизни давно стало для меня, как и для многих искренних писателей, насущнейшей потребностью»...

Так начинает Короленко своё послание, адресованное А. В. Луначарскому, в то время Народному комиссару просвещения, к тому же писателю. Идёт 1920 год. Короленко живёт в Полтаве. Луначарский вступил в переписку с ним по инициативе В. И. Ленина, считавшего, что с собратом по перу великий гуманист скорее согласится по «спорным вопросам», нежели чем с иными политиками. Во всяком случае, именно так свидетельствовал В. Д. Бонч-Бруевич.

Дело в том, что Владимир Галактионович, убеждённый противник насилия, был категорически против методов, которыми утверждали свою власть большевики. Раньше, до 1917 года, он боролся с царским произволом. Теперь душа писателя протестовала против большевистского террора.

Луначарский приехал в Полтаву для встречи с Короленко в июне 1920 г. На митинге в городском театре писатель обратился к комиссару с просьбой спасти пятерых местных жителей, приговоренных к расстрелу. На следующее утро Короленко получил записку уже отбывшего из Полтавы Луначарского: «Дорогой, бесконечно уважаемый Владимир Галактионович. Мне ужасно больно, что с заявлением мне опоздали. Я, конечно, сделал бы всё, чтобы спасти этих людей ради Вас, но им уже нельзя помочь. Приговор приведён в исполнение ещё до моего приезда. Любящий Вас Луначарский»

Короленко с горечью ответил: «Чувствовалось, что даже и Вы считали бы этот кошмар в порядке вещей...»

«Казни без суда, — писал он, — были величайшей редкостью даже при царизме». «Деятельность» большевистских Чрезвычайных следственных комиссий писатель считал примером, может быть, единствен-

ным в истории культурных народов. Один из видных членов ЧК заметил ему: «Но ведь это для блага народа!..»

«Мне горько думать, — писал Короленко Луначарскому, — что и Вы, Анатолий Васильевич, вместо призыва к отрезвлению, напоминания о справедливости, бережного отношения к человеческой жизни, которая стала теперь так дешева, — в своей речи высказали, как будто, солидарность с этими "административными расстрелами".

Когда-то мы оба считали, что движение к социализму должно опираться на лучшие стороны человеческой природы...

Я никогда не думал, что мои протесты против смертной казни, начавшиеся с "Бытового явления" (заметки публициста о смертной казни. — *Л. Л.*) ещё при царской власти (1910 г.) когда-нибудь сведутся на скромные протесты против казней бессудных или против детоубийства».

Короленко, узнав о расстреле ещё девяти человек, в том числе одной девушки семнадцати лет и двоих подростков, в другом письме также продолжал говорить о казнях: «Я называю их бессудными потому, что ни в одной стране в мире роль следственных комиссий не соединяется с правом постановлять приговоры, да ещё к смертной казни. Всюду действия следственной комиссии проверяются судом при участии защиты. Это было даже при царях... Чтобы не опоздать, как в тот раз, я заранее заявляю свой протест».

После подавления восстания в Миргороде и расстрела карательным отрядом 14 человек, на улице было расклеено объявление об амнистии по этому делу. Но...

«Теперь Губчека опять судит тех же лиц, которые надеялись на верность слову Советского правительства, доверились обещанной амнистии. Неужели возможны казни даже при этих обстоятельствах? Это было бы настоящим позором для Советской власти».

В одном из писем писатель касался и глобального вопроса — судьбы его Родины.

«Над Россией ход исторических судеб совершил почти волшебную и очень злую шутку. В миллионах русских голов в какие-нибудь два-три года повернулся внезапно какой-то логический винтик, и от слепого преклонения перед самодержавием, от полного равнодушия к политике наш народ сразу перешёл... к коммунизму, по крайней мере, коммунистическому правительству... мы перешли от диктатуры дворянства к "диктатуре пролетариата"».

«Отчего у нас, — вопрошал он Луначарского, — после крестьянской реформы богатство страны не растёт, а идёт на убыль и страна впадает во всё растущие голодовки?

Дворянская диктатура отвечала: от мужицкой лени и пьянства...

Вся политика последних десятилетий царизма была основана на этой лжи. Всё ли правда и в нашем строе?.. — Такая ложь есть и даже странным образом она носит такой же широкий "классовый" характер. Вы

внушили восставшему и возбуждённому народу, что так называемая буржуазия ("буржуй") представляет только класс тунеядцев, грабителей, стригущих купоны, и ничего больше».

При переходе к будущему от настоящего не всё надлежит уничтожению и разгрому, — убеждает Короленко Луначарского.

«Это огромная ваша ошибка, ещё и ещё раз напоминающая славянофильский миф о нашем "народе-богоносце" и ещё более — нашу национальную сказку об Иванушке, который без науки все науки превзошёл и которому всё удаётся без труда, по-щучьему велению».

...В Румынии, которая напоминала писателю Россию, однажды рассказали ему реальный случай, напоминающий анекдот. Рассказ этот Короленко записал так:

«Как-то один боярин, путешествуя по Швейцарии, заинтересовался анархизмом, познакомившись с одним учёным садовником-анархистом. Пригласил его к себе в Румынию: обратить одну из земель боярских в общественный парк.

Учёный-анархист на деньги и на земле боярина в одном углу Румынии разбил такой образцовый общественный парк! Вскоре, однако, "раскрылись неудобства, истекающие из молодости народа": на столах, на скамьях, на стенах появились скабрезные надписи, цветы бесцеремонно срывались, ветви на невиданных деревьях обламывались, ретирады превратились в клоаки. Анархист обратился с красноречивым воззванием, в котором объяснил, что парк отдаётся в распоряжение и под защиту населения: не надо, мол, неприличных надписей... Но "Молодой народ" ответил на пафос анархиста-теоретика своеобразным юмором: надписи появились уже вырезанными ножами, цветы и деревья по-прежнему уничтожались...

Тогда садовник пришёл к боярину и сказал: "Я не могу жить в вашей стране. Народ, который не научился, как вести себя в публичных местах, ещё слишком далёк от анархизма в моём смысле"».

«Вы скажете, — пишет Короленко дальше, — что наш народ не похож на тех румын... Но давайте честно и с любовью к истине поговорим о том, что такое теперь представляет наш народ.

Вы допустите, вероятно, что я не менее любого большевика люблю наш народ, допустите и то, что я доказал это всей приходящей к концу жизнью. Но я люблю его не слепо. Когда я путешествовал по Америке, например, я с удовольствием думал о том, что у нас невозможны такие суды Линча, какой около того времени разыгрался в одном из южных штатов. Но это не мешает мне признать, что в Америке нравственная культура гораздо выше. Молоденькая девушка может безопасно путешествовать по всей стране, охраняемая твердостью общественных нравов... У нас такая путешественница может на всяком шагу попасть в сети общей нашей распущенности и развращённости.

...И вы, вероятно, согласитесь, что на тысячу человек, которые прошли бы мимо какой-нибудь плохо лежащей вещи, в Европе процент соблазнившихся будет гораздо меньше, чем в России... И это с тех пор, как вы провозгласили коммунизм, не ослабло, а усилилось в огромной степени...

В этот год картофель уродился превосходный, но... его пришлось выкопать всюду до того, как он поспел... потому, что по ночам его просто крали... Многие задумаются: обрабатывать пустые места — никому неохота трудиться для воров. И никакими расстрелами вы с этой стихией не справитесь. Тут нужно нечто другое, и, во всяком случае, до коммунизма ещё далеко».

Читаем далее: «Вы победили капитал, и он лежит теперь у ваших ног, изувеченный и разбитый. Вы не заметили только, что он соединён с производством такими живыми нитями, что, убив его, вы убили также производство... Увлечённые односторонним разрушением капиталистического строя, вы довели страну до ужасного положения. Голодом поражена вся Россия, начиная со столиц, где были случаи голодной смерти на улицах. И главное — вы разрушили то, что было органического в отношениях города и деревни: естественную связь обмена... Вы нарушили неприкосновенность и свободу частной жизни, ворвались в жильё, стали производить немедленный делёж необходимейших вещей, как интимных проявлений вкуса и интеллекта, наложили руку на частные коллекции, картины, книги. Не создав почти ничего, вы разрушили очень многое, иначе сказать, вводя немедленный коммунизм, вы надолго отбили охоту даже от простого социализма...

И в результате, посмотрите, в чём ходят ваши красноармейцы и служащая у вас интеллигенция...

Вообще, сердце сжимается при мысли о судьбе того слоя русского общества, которое принято называть интеллигенцией. Рассмотрите ставки ваших жалований и сравните их с ценами на хлеб. Вы увидите, какое тут смешное, вернее, трагическое несоответствие. И всё-таки живут. Да, живут, но чем? — продают остатки прежнего имущества... Если перевести это на образный язык, то окажется, что они продают всё заготовленное при прежнем буржуазном строе, который приготовил некоторые излишки. Теперь не хватает необходимого. И это растёт, как лавина. Вы убили буржуазную промышленность, ничего не создали взамен, и ваша коммуна является огромным паразитом, питающимся от этого трупа. Всё разрушается: дома, отнятые у прежних владельцев и никем не реставрируемые, разваливаются. Заборы разбираются на топливо. Одним словом идёт общий развал».

Письма эти получили распространение в списках, а изданы были в Париже в 1922 г. Известно, что В. И. Ленин их читал, а Луначарский на предложение издателя ответил так: «Что касается моей переписки с Короленко, то её издать никак нельзя. Ибо и переписки-то не было...».

Надо же — не было! Ещё бы: нельзя ведь напечатать то, чего *напечатать нельзя*...

Прошло более 80 лет с тех пор, как писались эти письма, давно нет в живых ни В. Г. Короленко, ни А.В. Луначарского.

Но почему так отзывается боль писателя в наших сердцах и сегодня?

Мятежная душа
(О Л. Н. Андрееве)

Весной 1905 г. Горький ввёл Андреева в телешовский литературный кружок «Среда». С этого времени начался, по образному выражению одного из современников, «триумфаторский бег колесницы Леонида Андреева».

Вот деталь, характеризовавшая отношения Телешова и Андреева. В 1902 году Леонид Андреев собрался жениться. Невестой была Александра Михайловна Велигорская, Шурочка. Накануне свадьбы Андреев писал Телешову (заметим, что он был всего на несколько лет моложе инициатора «Сред»): «Милый друг! Будь моим отцом! Будь моим посажёным отцом. Свадьба моя 10-го (через три дня), в воскресенье. Посторонних никого, одни родственники, попросту. Голоушев — шафер. Будь моим отцом! Я прошу тебя: будь моим отцом. Если таковым быть окончательно не можешь, то приезжай в качестве друга. Доставь мне радость, приезжай, и ещё прошу тебя: будь моим отцом. Будь моим отцом!» (текст хранится в семейном архиве Телешевых).

«Посажённым отцом», как бы «заменявшим» настоящего отца на русской свадьбе, обычно становился человек наиболее близкий, такой, с которым жизнь связывается глубоко и прочно.

Пьесу «Жизнь человека» Андреев посвятил «светлой памяти» жены Александры Михайловны Велигорской. Она скончалась от послеродовой горячки, дав жизнь сыну — будущему знаменитому поэту и философу Даниилу Андрееву. «И последнюю картину “Смерть” я писал... в доме, где она родила Даниила, мучилась десять дней началом своей смертельной болезни», — писал Леонид Николаевич Андреев своему старшему сыну Вадиму. Ощущение бессилия помочь любимому человеку, который умирал на его глазах, выразилось в философско-художественной концепции «Жизни Человека». Но, признавая власть неодолимых сил над человеком, автор не отказывался от попыток противостоять ударам судьбы. Уже в прологе пьесы декларирована её главная тема — вневременная трагедия человека, зависимого от воли рока.

А первая завершённая пьеса Леонида Андреева — «К звёздам», та самая, замысел которой родился в разговоре с Еленой Андреевной Телешовой, — написана в революционный 1905 год. Текст — свидетельство искренней веры писателя в плодотворность героической борьбы народа

за свободу.

На сцене Малаховского летнего театра шли пьесы Леонида Андреева «Профессор Сторицын» и «Тот, кто получает пощёчины» с участием знаменитого трагика И. Н. Певцова. В «Профессоре Сторицыне» («малаховская» постановка относится к 1916 году) автор поставил проблему личности в её конфликтных отношениях с окружающей действительностью. В спектакле же «Тот, кто получает пощёчины» вместе с великим трагиком Певцовым выходила на малаховскую сцену будущая великая актриса Фаина Георгиевна Раневская. Это был её дебют.

Леонид Андреев Октябрьскую революцию не принял, хотя незадолго до смерти говорил о том, что хотел бы понять «большевизм». Этому не суждено было свершиться. Из красного Петрограда он уехал на свою дачу в Финляндию, ставшую после революции в России «заграницей».

Одна из его последних дневниковых записей: «Так всё отвратительно в мире, так невыносимо скучно жить, писать, что не хватает силы и желания написать хоть несколько строк. Для кого? Зачем?» 12 сентября 1919 г. писатель скончался от паралича сердца в местечке Мустамякки, на даче у своего друга — врача и литератора Ф. Н. Фальковского...

Леонид Андреев был одним из самых активных членов Телешовской «Среды». Его уход из жизни практически совпал с прекращением деятельности знаменитого литературного кружка.

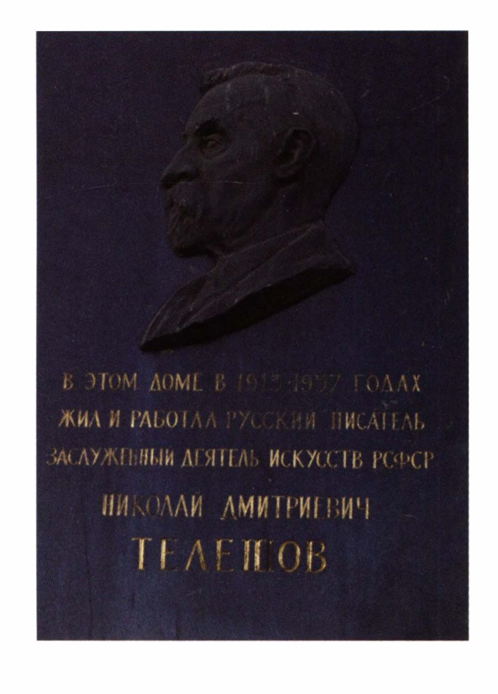
И. А. БУНИН
Из творческого наследия

В степи

Н. Д. Телешову

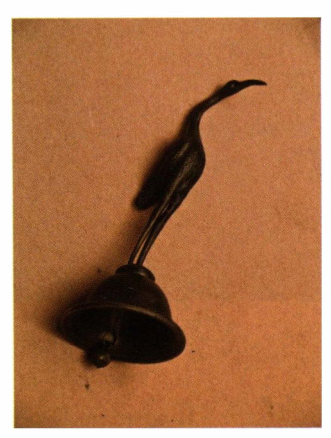
Вчера в степи я слышал отдалённый
Крик журавлей. И дико и легко
Он прозвенел над тихими полями...
Путь добрый! Им не жаль нас покидать:
И новая цветущая природа,
И новая весна их ожидает
За синими, за тёплыми морями,
А к нам идёт угрюмая зима:
Засохла степь, лес глохнет и желтеет,
Осенний ветер, тучи нагоняя,
Открыл в кустах звериные лазы,
Листвой засыпал долы и овраги,
И по ночам в их чёрной темноте,
Под шум деревьев, свечками мерцают,
Таинственно блуждая, волчьи очи...
Да, край родной не радует теперь!
И всё-таки, кочующие птицы,
Не пробуждает зависти во мне
Ваш звонкий крик, и гордый и свободный.
Здесь грустно. Ждём мы сумрачной поры,
Когда в степи седой туман ночует,
Когда во мгле рассвет едва белеет
И лишь бугры чернеют сквозь туман.
Но я люблю, кочующие птицы,
Родные степи. Бедные селенья —
Моя отчизна; я вернулся к ней,
Усталый от скитаний одиноких,
И понял красоту в её печали
И счастие — в печальной красоте.
Бывают дни: повеет тёплым ветром,
Проглянет солнце, ярко озаряя
И лес, и степь, и старую усадьбу,
Пригреет листья влажные в лесу,
Глядишь — и всё опять повеселело.
Как хорошо, кочующие птицы,
Тогда у нас! Как весело и грустно
В пустом лесу меж чёрными ветвями,

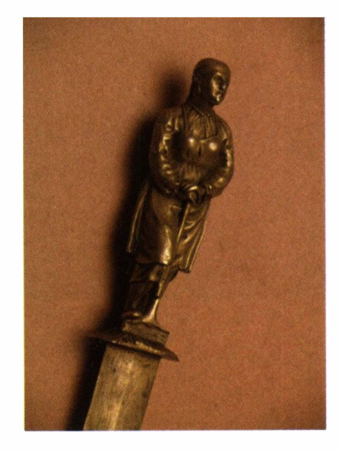
Меж золотыми листьями берёз
Синеет наше ласковее небо!
Я в эти дни люблю бродить вдыхая
Осинников поблёкших аромат
И слушая дроздов пролётных крики;
Люблю уйти один на дальний хутор,
Смотреть, как озимь мягко зеленеет,
Как бархатом блестят на солнце пашни,
А вдалеке, на жнивьях золотых,
Стоит туман, прозрачный и лазурный.
Моя весна тогда зовёт меня,—
Мечты любви и юности далёкой,
Когда я вас, кочующие птицы,
С такою грустью к югу провожал!
Мне вспоминается былое счастье,
Былые дни... Но мне не жаль былого:
Я не грущу, как прежде, о былом,—
Оно живёт в моём безмолвном сердце,
А мир везде исполнен красоты.
Мне в нём теперь всё дорого и близко:
И блеск весны за синими морями,
И северные скудные поля,
И даже то, что уж совсем не может
Вас утешать, кочующие птицы, —
Покорность грустной участи своей!

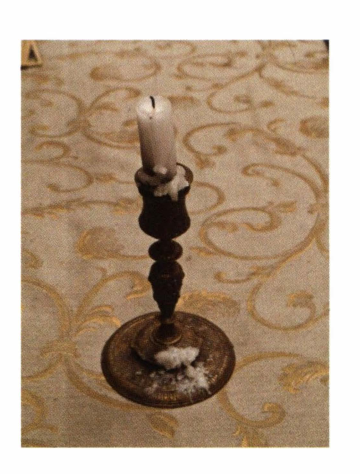


Дом на Покровке

В доме на Покровке





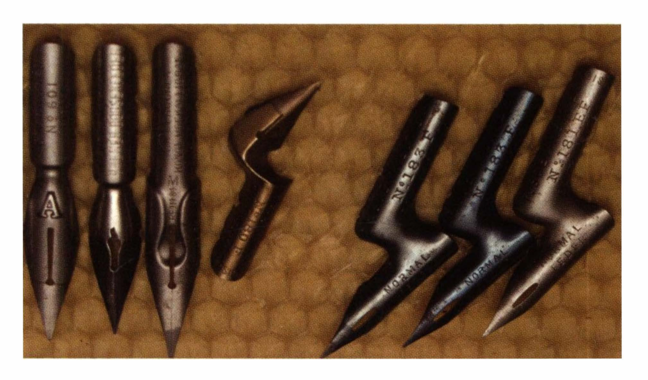


Из личных вещей Н. Д. Телешова

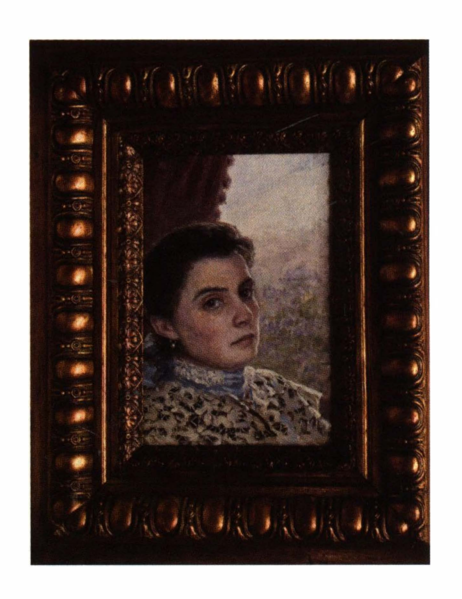
Знаменитый рояль

Камин

Старинный граммофон



Семейная коллекция перьев (фрагмент)



Работы Е. А. Телешовой

Картины из семейной коллекции

В доме с тех пор ничего не изменилось...

Татьяна Юрьевна Телешева —
хранительница истории семьи Телешовых

Автор книги Л. Ю. Логинова и Председатель клуба
«Малаховская среда» Л. М. Ракова

Л. Ю. Логинова и Т. Ю. Телешева
в музее истории и культуры п. Малаховка

Виктор Боков и Елена Калашникова

В. Ф. Боков. «В балалаечке моей поселился соловей...»

«Школа над оврагом»

Праздник в п. Малаховка на фоне декораций театра, 2004 г.

Малаховка

Я произнесу: «Малаховка», — и у вас, молодых, ни одна струна в сердце не дрогнет, — станция по казанскому направлению, дачное место. А я там ребёнком прикоснулась к настоящему искусству, там впервые вышла на сцену, — да можно сказать, я получила образование и воспитание в Малаховке!.. На лето туда съезжалось самое интеллектуальное общество. Но привлекали людей не только сосны и песок. Наверное, не осталось никого, кто бы помнил, что летом центр духовной и культурной жизни перемещался из Москвы в Малаховку.

Мария Владимировна Миронова,
народная артистка России

Откуда она, Малаховка?

Откуда взялось такое название?

Однозначного ответа нет, хотя версий существует множество.

По одной из них, название «Малаховка» пошло от сукновальни и примыкающих к ней земель, что принадлежали некоему купцу по фамилии Малахов. Этой версии придерживался краевед А. Миллер.

Краевед А. П. Ловачёв по этому поводу писал: «При Петре I там, где сегодня деревня Михнево, стоял палашный (палаш — сабля конника. — *Л. Л.*) завод. Работал завод на водяной силе, паровых машин ещё не было. Воды основной плотины на Пехорке не хватало, и как вспомогательный резерв для сброса воды у озера появилась плотина и населённый пункт, а там и сукновальня Малахова. Предположительно, это 1725 год...»

Не противоречит версии А. Миллера и А. П. Ловачёва версия краеведа В. А. Протоклитова: «По рассказам старожилов (Чебышева и др.), значительная часть земельных угодий, где сегодня расположен посёлок, принадлежала Малахову. От фамилии этого владельца посёлок и получил своё название. На карте Московской губернии 80-х годов XIX века обозначена "Сукновальня Малахова" — примерно в районе посёлка»

Есть версии, подтверждённые старинными духовными грамотами, начиная с Ивана Калиты (1327 г.) и более поздними, где, завещая своё имение — «...а се даю княгине своей...», «... большему сыну своему Семёну даю...» — князья перечисляют, среди прочих, узнаваемые нами сёла — «село Малаховское», «Раменье», «село Быково», «село Михнево», «село Малахово», «Малые Вражки» и т.д.

Существует ещё одна версия, откуда взялось название «Малаховка» — но это уже из области фантастики... Мол, шли когда-то в Москву из торгового города Касимова, что по соседству с нынешней Рязанью, караваны с различными товарами. Дорога проходила через густой сосновый бор, где «шалили» разбойники. В Малаховке было спокойнее, там была Малая Аховка. Чуть дальше раздавался воровской клич: «Красть кого?!» — и купцов бросало в краску. И чем ближе подъезжали они к стольному городу, тем сильнее их охватывал страх. У Томилина купцы начинали «томиться»... Народная этимология — штука ненадёжная, но зато она относится к области русского народного языкового творчества, и не обращать на неё внимания нельзя: она прежде всего — свидетельство любви простых людей к слову, в котором можно увидеть целую историю.

Малаховка, Красково, Томилино — так потом стали называться тесно соседствующие посёлки. А разбойничье-романтическая легенда по-

пала даже в путеводитель по Подмосковью. Ссылается на неё в своей книге и краевед А. Белов.

Легенда легендой, но живший в 1895—1896 гг. на даче в Красково В. А. Гиляровский писал позднее в книге «Москва и москвичи», что в те годы этот посёлок продолжал пользоваться разбойничьей славой, деля её с соседней Кирилловкой, откуда много крестьян было выслано в Сибирь.

Малаховка как дачный посёлок ведёт своё начало с того времени, как Фёдор Иванович Шпигель поставил здесь в 1885 году первые четыре дачи, сняв у землевлавладельца англичанина Аллея участок № 1, купленный когда-то непосредственно у суконщика Малахова.

Из архивных материалов краеведа Александра Белова:

*К концу прошлого века — начальным годам нынешнего (*имеется в виду XX в. — *Л. Л.) Малаховка приобрела значение подмосковного оздоровительного курорта. Отсутствие промышленных предприятий с вредными выбросами, уютные деревянные постройки, затерянные в сосновом бору, незагрязненная речка, питающая широкий пруд, чистый лечебный воздух, первозданная тишина — всё это делало Малаховку любимым местом отдыха для жителей шумной Москвы. Дачникам были созданы все удобства; справочники и путеводители перечисляли действующие в посёлке колониальные и мясные магазины, кондитерскую и булочную, аптеку, почтово-телеграфное отделение, два общедоступных телефона, связанных непосредственно с Москвой. Были также парикмахерская, фотография, отделение Петровской библиотеки, выстроенный взамен сгоревшего прекрасный Летний театр в греческом стиле и с садом, образцовый скетинг-ринг, гимназия смешанного типа, деревянная церковь Петра и Павла, конка и, конечно же, железнодорожная станция. Молоко, сметану, творог доставляли с ближайшей молочной фермы. Московское врачебное управление разрешило провизору В. Я. Буянову держать кумысное заведение.*

Кумыс изготавливал лично провизор от собственных кобылиц. Доставка на дачи осуществлялась им же. Во многом преображению Малаховки в модную дачную местность способствовали популярные лекции и частные рекомендации прославленного русского терапевта Григория Антоновича Захарьина. Родился он в 1829 году, а умер по одним источникам — 23 декабря 1897 года, по другим — 4 января 1898 года. Как вы догадались, разницы никакой. Только одна дата — по старому стилю, вторая — по новому.

Основатель Московской терапевтической школы, Захарьин обоснованно считал, что надо лечить не болезнь, а больного. Рассматривал организм как целостную систему, болезнь — как результат неблагоприятного воздействия окружающей среды. Малаховка пришлась ему по душе своими лечебно-климатическими особенностями. Он зазывал сюда москвичей, советовал проводить в сельской глубинке всё лето до самых морозов. «Захарьин-то с ума сошёл, — часто замечал он в кругу друзей, — живёт в

деревне целую осень! Так говорили обо мне, а теперь уже подражают многие».

Антон Павлович Чехов, сам врач, обожал Захарьина. «Из писателей предпочитаю Толстого, — писал Чехов, — из врачей — Захарьина».

В 1897 году у того же Аллея землю справа по железной дороге вплоть до деревни Михнево купили купцы Карзинкины, именитые московские миллионеры. Купили по случаю бракосочетания своей 28-летней дочери Елены Андреевны Карзинкиной с Николаем Дмитриевичем Телешовым. Елена Андреевна, как я уже не раз говорила, была женщиной незаурядной: полиглот, художник, «хозяйка» литературных Телешовских «Сред».

...Ещё раз мысленно вернёмся в Москву, в дом № 18/15 на Покровском бульваре. Когда-то преуспевающий купец Первой гильдии Андрей Сидорович Карзинкин приобрёл у «вдовы майорши Мейер» сильно пострадавший во время пожара 1812 года дом, точнее даже остов дома. Сама «вдова-майорша» купила здешнюю усадьбу не у кого-нибудь, а у замечательного художника, медальера, аквалериста, рисовальщика, скульптора, автора силуэтов Фёдора Петровича Толстого (1783—1873). Но от «эпохи Толстого» во времена Карзинкина ничего не осталось, всё погибло в пожаре. Андрей Сидорович возводил фактически новое здание. Единственно, что сохранилось, — так это подвал, помнящий ещё Белый город XVII века.

По сей день, вот уже почти 200 лет, там живут потомки Карзинкина.

Это семья Телешевых.

Много лет после революции 1917 года они жили в двух комнатах на первом этаже, которые стали частью огромной коммунальной квартиры. Во всём остальном доме также разместились коммуналки. В 60-е годы теперь уже прошлого, XX столетия Телешевым были отданы ещё две комнаты, а сравнительно недавно они получили пятую, большую, бывшую столовую, в которой, собственно, и проходили собрания «Среды». Обстановка столовой воссоздана Телешевыми по старинным фотографиям из подлинных предметов, сохранявшихся в семье все эти годы. В квартиру ведёт отдельный вход с улицы. Остальные помещения бывшей купеческой усадьбы на сегодняшний день заняты различными организациями.

...Здесь по-прежнему гостеприимно... Гостей радушно встречает вдова внука Николая Дмитриевича Телешова, Владимира Андреевича Телешева, настоящая русская красавица Татьяна Юрьевна, и правнук писателя Коля вместе со своими старшими сёстрами. Каждый предмет — история. Квартира уникальна.

В особняке и сегодня продолжаются интеллектуальные встречи. Только теперь уже не «Телешовские», а «Московские» и «Малаховские» «Среды», встречи поклонников творчества Ивана Алексеевича Бунина, Федора Ивановича Шаляпина...

Что же касается имения в Малаховке, то документы свидетельствуют:

Год 1918: у Телешовых конфискуют дома и всё имущество.

Год 1920: начальнику милиции Ухтомского района даётся указание «свыше» — выселить гр. Телешова из пределов Малаховки и по исполнении донести в Ухтомский Совет РК депутатов Московского уезда. Когда указание было выполнено, пришла телефонограмма: «Запрещение проживать писателю Телешову в его даче в Малаховке названо недоразумением». Однако факт изгнания свершился.

Изгнание, «выдворение» из Малаховки проходило настолько грубо, что навсегда осталось одним из наиболее болезненных воспоминаний для Николая Дмитриевича и Елены Андреевны. До такой степени болезненных, что даже разговоры о Малаховке не поддерживались. Ещё бы: ведь им не позволили даже взять чужие, не принадлежавшие им вещи, которые по тем или иным причинам — так часто бывает — «задержались» в малаховском доме.

А между тем дачный посёлок Малаховка был очень многим обязан Николаю Дмитриевичу Телешову и его супруге Елене Андреевне.

Вот строки из архивных записей краеведа А. К. Куршевиц, чья семья — потомственная «малаховская»:

...имение находилось в очень живописном месте рядом с водяной мельницей у Малаховского озера. Около большого деревянного жилого дома был парк, хозяйственный двор и постройки, въезд с угла в то время Телешовского шоссе, а теперь Пионерской улицы. От ворот к дому вела очень красивая аллея из лиственниц... Дом стоял внутри парка, который подступал прямо к берегу озера. Вокруг всего озера была широкая, более двух метров благоустроенная прогулочная дорожка. Были и купальни, и мостик через речку, и лодочные станции. Эту дорожку очень любили жители посёлка и часто гуляли здесь. Гуляли и гости: писатели, многие артисты, художники... Вообще они любили окрестности Малаховки, Красковский обрыв, Малаховский курган и окружавшие Малаховку леса. Приезжавшие к писателю гости — его друзья — не могли все разместиться в белой — основной даче. И писатель имел и второй дом у станции Малаховка, место которого неизвестно.

После приезда в Малаховку Николай Дмитриевич Телешов многое сделал по благоустройству посёлка. Дорогу к имению улучшил, обсадил тополями. Сохранил кусочек леса — парк у Центрального проспекта.

В 1913—14 гг. семьёй Телешовых для сына Андрея был построен кирпичный жилой дом с фасадом на шоссе, благоустроенный одним из первых в Малаховке. В этом доме никто постоянно не жил, в нём размещались друзья писателя, приезжавшие к нему.

В 1920 году летом жила семья Шаляпина Федора Ивановича, который сам к этому времени, заключив контракт с Петербургской Императорской оперой, уехал туда, а потом в первую поездку за границу.

Шаляпин любил петь на берегу озера и выступал в Летнем театре. Его голос был слышен с террасы дома, где мы жили...

Вот почему впоследствии «в семье о Малаховке, — как с горечью отмечал внук Николая Дмитриевича Телешова Владимир Андреевич, — говорить не любили. Это было больное место. Напоминала о ней картина, рисованная там художником Тишиным, другом семьи... Мы с отцом любили мысленно путешествовать: "если пойти от этого дерева...". Мне было лет пять или шесть тогда...».

И даже как памятник истории и культуры дом Николая Дмитриевича Телешова в Малаховке не сохранился. Его разобрали по брёвнышкам, хотели перенести на другое место, но... Растащили брёвнышки-то. Вместе с домом уничтожена и «бунинская» комната. Жив ещё только кирпичный особнячок, построенный для сына Н. Д. Телешова, Андрея.

Купцы Карзинкины

Пришла пора наконец рассказать подробнее: кто же такие купцы Карзинкины?

Вотчто, например, писал журнал «Исторический вестник» в 1893 году:

...Пора вернуться на Покровку. Тот её угол у Армянского переулка, который прилегает к Горихвостовскому дому, застроен владениями знаменитых московских богачей Карзинкиных, крупных мануфактуристов и чайных импортёров. Теперь семья этих миллионеров состоит из вдовы недавно умершего Сергея Ивановича и его малолетних детей. Старик Карзинкин Иван Иванович, вопреки обычаю, установившемуся для московских миллионеров, в силу коего они считают себя обязанными делиться и при жизни, и главное, после смерти с меньшею братией, оставляя более или менее солидные капиталы на благотворительные цели, всю жизнь оставался глух к заповеди милосердия, да и после смерти, кажется, ничего не оставил на бедных. Зато к дорогим обедам с редкими блюдами и заморскими винами питал чрезвычайную слабость, и когда 22 октября, в качестве старосты Казанского собора, угощал обедом духовенство, разных высокопоставленных администраторов и свою бесчисленную и всё такую же богатую, как и он, родню, то обед этот обходился во много тысяч рублей, и вина подавались такие, что даже знатоки только щёлкали языками и пальчики облизывали.

Да и не мудрено, сам он был в этом деле лучший знаток и даже имел особого экспедитора во Франции, который и выписывал по его заказу из Шампани и прочих винных французских центров этого товара свыше, чем на 30 000 рублей в год.

За несколько лет до смерти на него напал каприз домовладельчества и домостроительства: вынув сразу из Московской конторы государственного банка миллионов 7 своих денег, он с азартом начал покупать дома, и так как в этом деле большой опытности не имел, то и покупки эти большой выгоды ему не принесли, обогатив лишь комиссионеров, которые увивались вокруг него, да архитекторов с подрядчиками, потому что каждый купленный дом требовал, по его мнению, самой радикальной переделки. Из новых же построек с его именем связаны лишь два здания: в Охотном ряду на углу Моисеевской площади и Тверской, и в двух шагах от этого места, против Иверской, на углу той же Тверской и Воскресенской площади.

Последнее здание не лишено истории: оно воздвигнуто Иваном Ивановичем на развалинах знаменитой Карновичевской руины, в которой испокон века ютился славный в летописях московских кутежей Большой Московский трактир Ивана Дмитриевича Гурина. Руины эти, за смертию

последнего, всё равно подлежали бы сломке, но тут г. Карновичу судьба послала в лице Карзинкина богатого покупателя, и Иван Иванович отдал за них, с ограниченным количеством занятой ими земли, громадную сумму в 600 000 рублей.

Сломав их до основания, новый хозяин принялся строить на их месте громадное здание для такого же назначения, полагая, вероятно, что без Большого Московского трактира Москве оставаться неприлично. Обстановку восстановленному трактиру он решил дать изумительно великолепную, а т. к. дом предполагался многоэтажным, то к трактиру присоединилась и гостиница, тоже, конечно, и Большая, и Московская.

Действительно, Московская гостиница вышла очень хорошая, а трактир превзошёл даже все ожидания: под ним, кроме множества отдельных кабинетов, занято до 10 громадных великолепно отделанных и богато, хотя и не совсем уютно, убранных комнат. Главная зала в два света и в два этажа, с хорами. Музыкальная машина для неё стоила 40 тысяч рублей. И как она ни велика, и ни звучна, но зала всё-таки и для неё оказалась чересчур обширной, так что звук её оказывается лишённым надлежащей полноты и далеко не производит того эффекта, какой получился бы при несколько меньших размерах залы.

Для себя и для своих друзей Иван Иванович наметил в новом трактире, на половине отдельных кабинетов, целую отдельную квартиру в несколько комнат, но, увы! насладиться её комфортом ему не довелось, ибо вскоре же он приглашён был туда, где нет ни печали, ни воздыхания! Умер он ещё не старым человеком, немного захвативши на шестой десяток, лет пятнадцать назад, оставив после себя, как тогда говорили, миллионов до 20 капитала и в том числе до 5 миллионов в недвижимых имуществах Москвы, и трёх женатых сыновей.

Со старшим из них покойник долго был в ссоре, и настолько серьёзной, что и его, и всю его семью даже из духовного завещания вычеркнул. Но тут сама судьба вступилась за обиженного и, чтобы помочь ему, подстроила забавный случай. Инвентарь недвижимости, принадлежавший завещателю, был так велик, что когда, после прочтения его двумя младшими сыновьями полного и подробного завещания по черновому экземпляру отдали этот черновик перебелить в свою же контору, то с писарем, переписывавшим его набело, случилась оказия: по рассеянности, что ли, он взял да и пропустил как раз целую страницу с перечисленным на ней имуществом, причём так странно вышло, что и нарушения смысла не оказалось, и никакой неловкости в изложении вследствие этого крупного пропуска не усматривалось. Контора представила деловой экземпляр вместе с черновым хозяину, тот последний оставил у себя, а первый, поленившись сверить с черновым, передал нотариусу. Тот не задержал с совершением акта, причём больному стало хуже и он не пожелал вновь выслушивать длинный перечень покидаемых им на сей земле богатств, без дальних околичностей скрепив документ своею и свидетельскими подписями, а вскоре Богу душу

отдал. Не замедлила разнестись молва, что все его миллионы перешли к двум младшим сыновьям — помимо старшего. Последний, понятно, оплакивал не одного отца, но и это прискорбное для себя обстоятельство, не имея основания рассчитывать на великодушие счастливых братьев.

Но что случилось, когда вскрыли завещание и приступили к его осуществлению?

Оказалось, что из завещания исключено несколько ценных имуществ, что общая их стоимость простирается до 3 миллионов рублей и что, следовательно, на 1/2 этой суммы наследником является и старший брат. Вот что значила пропущенная, по рассеянности писаря, страничка: она и старшего брата с семьёй спасла от бедности и нищеты, и младших двух ударила по карману на целых 2 миллиона. Таким образом, Иван Иванович и вынужден был против воли уже после смерти, поделиться своим богатством и со своим первенцем...

Вот такой исторически-родовой курьёз. Справедливости ради надо заметить, что такими «хрестоматийно-типичными» купеческими чертами обладали, разумеется, далеко не все Карзинкины (и не только они одни: едва ли не каждый купеческий род, оставивший в истории России заметный след, мог похвалиться таким вот оригиналом).

Родоначальник династии, уже известный нам купец I гильдии Андрей Сидорович Карзинкин, имел двух сыновей: старшего звали Иван Андреевич, младшего — Александр Андреевич. Они и положили начало двум ветвям известной фамилии московских миллионеров-меценатов.

Карзинкины были очень состоятельными людьми.

Они имели текстильные фабрики, магазины, отары овец, доходные дома, гостиницы, в том числе «Метрополь» и «Гранд Отель» на Воскресенской площади (после 1918 г. пл. Революции). Владели жилыми домами в Москве на Большой Никитской, 1-й Мещанской, Покровке, в Столешниковом переулке, имели дома в тех городах, где располагались их фабрики.

Любопытно, например, что, отправляя открытку «дяде Гиляю», А. П. Чехов указывал такой адрес: Москва, Столешников, дом Карзинкина, В. А. Гиляровскому.

Семья Карзинкиных была довольно большой. Читателю стоит быть внимательным и заметить, что в двух её ветвях — я начинаю с младшей, поскольку именно к ней принадлежала Елена Андреевна Телешова, — повторяются имена: в старшей – Иван, в младшей – Андрей и Александр.

У Александра Андреевича, младшего сына Андрея Сидоровича, было шестеро детей. У его старшего сына, Андрея Александровича — сын и две дочери, одной из которых была супруга Николая Дмитриевича Телешова — Елена Андреевна. Продолжение рода Карзинкиных идёт здесь только по женской линии. Сын Николая Дмитриевича и Елены Андреевны —

Андрей Николаевич, внук Владимир Андреевич, правнук Коля... Сестра Елены Андреевны Софья Андреевна детей не имела. У брата Елены Андреевны — Александра Андреевича — была дочь, тоже Софья, которая тоже детей не имела.

Помимо Малаховки (половины её земель, двухэтажного дома у самого озера, в шведском стиле, с большими террасами и балконами, садом-цветником, доходящим до озера) эта ветвь Карзинкиных имела ещё усадьбу в Одинцове, в селе Яскино (туда незадолго до смерти собирался приехать Исаак Левитан, чтобы повидать Елену Андреевну). С переходом усадьбы в собственность семьи Карзинкиных (в 1890 г.) имение стало одним из центров художественной и музыкальной жизни Москвы. Числилось оно за Софьей Николаевной Карзинкиной (женой Андрея Александровича и матерью Елены Андреевны), у которой постоянно собирались её выросшие дети. Известный своей долголетней и тесной дружбой с Ф. И. Шаляпиным, Александр Андреевич — археолог и нумизмат — в 1904—1913 гг., как я упоминала, состоял в Совете Третьяковской галереи, а с 1918 г. по 1929 г. работал научным сотрудником Исторического музея. Женат он был на известной приме-балерине Большого театра, итальянке по происхождению Аделине Джури (Ф. И. Шаляпин, кстати говоря, тоже был женат в первом браке на итальянке Иоле Торнаги).

Образованные люди, любители и настоящие ценители искусства, музыки, живописи, Карзинкины широко занимались благотворительностью и являли собой замечательный пример русского меценатства.

Познакомимся теперь с другой ветвью родового купеческого древа Карзинкиных, которая ведёт отсчёт от старшего сына родоначальника династии — Ивана Андреевича Карзинкина. Эта ветвь значительно обширнее «малаховской» и своими корнями связана со знаменитой усадьбой Троице-Лыково, раскинувшейся на крутом правом берегу реки Москвы, что напротив Серебряного бора и по соседству со Строгином. Карзинкины приобрели её в 1852 г. Место это прежде всего знаменито памятником архитектуры — церковью Троицы, построенной в 1698—1704 гг. в так называемом «нарышкинском» стиле. Практически в любой книге по искусству среди образцов «нарышкинского барокко» приводится московский храм Троицы в Троице-Лыкове в усадьбе Карзинкино. Село Троице-Лыково одно время принадлежало Нарышкиным, свойственникам Петра I по матери Наталье Кирилловне Нарышкиной (Романовой). При них и был выстроен знаменитый храм.

У Ивана Андреевича был сын, тоже Иван и тоже, как и все Карзинкины, Потомственный почётный гражданин. Именно с ним читатель познакомился в самом начале главы. Однако и он, при всех особенностях личности, был далеко не чужд русской культуре.

Для начала скажу о других его предприятиях кроме названных в историческом источнике. Иван Иванович Карзинкин имел в Старом Гос-

тином дворе два магазина, в которых вёл торговлю чаем. Вместе с купцом Шелапутиным они основали «Торгово-промышленное товарищество Ярославской большой мануфактуры бумажных изделий». Затем в «Товарищество» вошла и Мочаловская мукомольная мельница. Позже присоединили гвоздильно-проволочный завод в Новгородской губернии. После смерти Ивана Ивановича Карзинкина дело продолжали его племянник, уже знакомый нам Андрей Александрович Карзинкин, его внук Сергей Сергеевич (сын Сергея Ивановича) и Н.В.Игумнов.

Городская квартира потомков старшего сына Андрея Сидоровича Карзинкина находилась в центре Москвы, в Мясницкой части 3-го квартала. Немалые деньги приносили семье доходные дома, расположенные в центре города в Тверской части.

В 1876 г. к Ивану Ивановичу и к его жене Екатерине Ивановне, урождённой Медведниковой, перешла усадьба Троице-Лыково. Вступив во владение, И. И. Карзинкин немедленно принял все меры к сохранению древнего деревянного храма во имя Успения Пресвятой Богородицы, которому грозило полное разрушение. Смерть помешала ему привести в исполнение задуманное. Начатые отцом дела продолжил его сын — Сергей Иванович Карзинкин, женатый на Юлии Матвеевне Королевой. В Старом Гостином дворе на Варварке он торговал чаем и сахаром под вывеской «Иван Карзинкин — наследник и К°». Много усилий прилагал он к восстановлению деревянной церкви, поддержанию в должном состоянии двух каменных храмов — Троицкого и Успенского.

Но и Сергею Ивановичу не суждено было завершить работы. Он умер совсем молодым (поэтому-то управление делами обеих ветвей семьи и вёл Андрей Александрович). Все заботы легли на плечи 38-летней вдовы — Юлии Матвеевны (при одиннадцати детях, младшему из которых был лишь год и семь месяцев). Но несмотря на свалившееся на неё горе, она завершает 10-летние работы по реставрации деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы. В 1887 году Юлия Матвеевна, достойно заменив мужа, получила звание Потомственной почётной гражданки. Она «имела жительство в Мясницкой части 2-го участка на Покровке», где «в доме своём торгует чаем и сахаром».

Очень много внимания требовала к себе и усадьба: угодья довольно обширные, но в аренду ничего не сдавалось. Сажали картофель, капусту, лук, свеклу, рожь, овёс, гречку, но ничего не продавали — всё расходовалось на огромную семью.

В самой усадьбе велось большое строительство. Кроме дома, флигелей и сараев, были ещё конюшни, свинарник, птичник, овчарня, скотный двор, кузница с мастерской и водокачкой, каретный сарай, зернохранилище, амбар с подвалом, баня деревянная, оранжерея каменная, а при ней лабаз и теплица и даже биологическая станция.

В Троице-Лыкове тогда было земское училище, конский завод, лавка, трактир и 88 дворов.

В 1889 г. старший сын Юлии Матвеевны, Сергей Сергеевич, принял на себя все заботы об усадьбе. Он был купцом 2-й гильдии, Потомственным Почётным гражданином.

Семья Карзинкиных содержала в Троицком школу, а дочь Сергея Сергеевича Карзинкина, Мария Сергеевна, учительствовала в ней. На собственные средства выстроили в селе амбулаторию, наняли фельдшерицу, которая обслуживала всё население.

Содержали Карзинкины и дороги, и переправы через реку, а также паром, лодки и перевозчиков. Людям, работавшим у Карзинкиных, при вступлении в брак оказывалась помощь при постройке дома и давалось приданое. Открыла Юлия Матвеевна при Троицкой церкви на собственные средства и богадельню для престарелых обоего пола.

Юлия Матвеевна скончалась в 1915 г. и завещала детям завершить организацию «Свято-Троицкой женской общины, которая должна быть в центре богоугодных, благотворительных и просветительских дел». Но выполнению её завещания помешала революция.

Обитатели усадьбы Троице-Лыково — у Сергея Сергеевича и Елизаветы Васильевны (урождённой Сидневой) Карзинкиных было 9 детей — жили в доме, построенном по проекту модного и знаменитого тогда архитектора И. П. Ропета (Иванова). Дивный дом в псевдорусском стиле, в глубине сада, простоял почти до наших дней, так и не дождался всё откладываемой реставрации и сгорел осенью 1991 года.

«В парке с тенистыми липовыми аллеями, разбитом ими в имении, бывали братья Васнецовы (и дети играли в сказочных домиках, построенных по эскизам Виктора Васнецова), Третьяковы, Гнесины, а большая семья Шаляпиных гостевала в знаменитой усадьбе на крутом берегу Москвы-реки целыми летними сезонами», — эта запись взята из материалов краеведческого музея в Троице-Лыкове, публиковавшихся на страницах газет «Строгино» и «Октябрьское Поле».

О многих членах многочисленной семьи Карзинкиных (если у Сергея Ивановича и Юлии Матвеевны было 11 детей, то внуков — уже 28) пока ничего не известно, возможно, они в годы революции эмигрировали.

Летом 1991 г. родные места посетила одна из внучек Юлии Матвеевны — Антонина Георгиевна Карзинкина.

Одна из представительниц фамилии, Ирина Васильевна Халезова (по материнской линии Карзинкина) рассказала мне, что в её семье долгое время хранилось письмо Ф. И. Шаляпина, в котором великий артист писал, что первые в жизни своей золотые часы он получил в подарок от её деда, Сергея Сергеевича Карзинкина. А один из внуков Сергея Ивановича Карзинкина, тоже Сергей Иванович, в 1947 г. установил мировой рекорд в мотогонках...

К роду Карзинкиных принадлежит и знаменитая актриса Ирина Скобцева, и другие люди искусства.

Усадьба Карзинкино постепенно приходила в упадок. Как память об одной из страниц истории усадьбы осталось название переулочка, примыкающего к её территории — Туркменского. Откуда в древнем русском селе туркмены? Ответ: в 1924 г. с одобрения И. В. Сталина под Москвой в Серебряном бору в бывшей усадьбе господ Карзинкиных для обучения туркменских детей (молодой республике нужны были грамотные люди) был создан Туркменский народный Дом просвещения.

Ну а почему фамилию Карзинкиных пишут через «а», а не через «о», как по правилам?

Ирина Васильевна Халезова (по материнской линии — Карзинкина) объяснила мне так: «Вероятно, кто-то когда-то сделал ошибку по своей малограмотности — вышли Карзинкины из крепостных. С тех пор так и пишутся...» Есть, правда, и другая версия, более «научная», этимологическая, но чтобы ознакомиться с нею, необходимо внимательно дочитать книгу до конца.

Летний театр

...Это было... было... в 27 верстах от Москвы.

Летний театр, построенный, как мы знаем, на средства П. А. Соколова, для малаховцев был как Храм Христа Спасителя для москвичей. Легенда XX века! Его называли филиалом Малого театра. Как-то так само собой сложилось, что основной артистический костяк летних малаховских антреприз составили актёры Малого театра.

Первое упоминание о Малаховке театральной я обнаружила в журнале «Театрал» за 1896 год. Речь там шла о любительском кружке, состоявшем преимущественно из служащих Московско-Казанской железной дороги, игравших на открытой сцене и мечтавших построить закрытый театр и ставить в нём спектакли еженедельно. ...И вот уже пресса, в частности журнал «Театральный курьер» за 1903 г., публикует рецензии на спектакли подмосковного театра в Малаховке. А в 1912 г. журнал «Рампа и жизнь» ввела специальную рубрику — «Малаховский театр», выделяя его из общей рубрики «Хроника летних и дачных театров» как театр, ни на какие другие не похожий своими художественными и организационными принципами.

Построенное на рубеже XIX–XX веков здание театра в 1910 году сгорело, но к началу следующего сезона было отстроено вновь: на 500 зрительских мест, по проекту архитектора Льва Францевича Даукша, на средства землевладельца Павла Алексеевича Соколова. Здание театра было возведено артелью рязанских плотников за 52 дня. Торопились к открытию театрального сезона (о том, как своеобразно Фёдор Иванович Шаляпин стимулировал открытие театрального здания, я говорила в самом начале книги). При ремонте в 1966 г. найден договор владельца театра с артелью плотников о строительстве театра. Напомню, что, по рассказам очевидцев, автором рисунка фасада здания является Шаляпин. Облик театра — мощная колоннада с шестиколонным портиком и четырьмя полуколоннами с коринфскими капителями на фасаде — указывал на неординарность постройки.

Пресса начала XX века писала о Летнем театре в Малаховке:

В Малаховке — отличный театр. Красивый, стильный. Его белые колонны так чётко и красиво вырисовываются на зелёной лесной декорации... В нём есть что-то строгое, внушительное. В этом театре артисты Малого театра г.г. Головин и Муратов стараются насадить искусство настоящее, а не специфически дачное.

«Рампа и жизнь», 1911 г.

Если летом кто-либо из москвичей захочет насладиться не скабрезностями, а настоящим, хорошим театром — пусть едет в Малаховку!

«Театрал», 1914 г.

Антрепренёр Малаховского театра П. А. Соколов вошёл в согласие с Суходольским по поводу устройства спектаклей летом текущего года на Всероссийской ремесленной выставке на Ходынском поле. Господин Соколов будет ставить в выставочном театре по одному драматическому спектаклю в неделю со своей Малаховской труппой, в которую вошло много артистических имён.

«Русское слово», 1914 г.

Пóднял флаг Малаховский театр, лучший из московских дачных театров...

«Рампа и жизнь», 1915 г.

В Малаховском театре дело поставлено очень солидно, быть может, даже слишком солидно для летнего дела...

«Рампа и жизнь», 1915 г.

11 мая «Пигмалионом» начинает свои спектакли в театре «Эрмитаж» ансамбль Малаховской труппы... В самой же Малаховке сезон открывается 17 мая «Дон Жуаном» с г.г. Радиным и Тархановым в главных ролях. Постановка явится точной копией постановки Мейерхольда в Александринском театре.

«Театр», 1916 г.

В комментариях к собранию сочинений Жан-Батиста Мольера, сделанных замечательным отечественным театроведом, главой школы по изучению западноевропейского театра Г. Н. Бояджиевым, поставленный в Малаховском театре в 1915 году спектакль «Дон Жуан» отнесён к числу наиболее примечательных на рубеже XIX–XX веков. Среди постановок, между прочим — спектакль Малого театра 1876 г. с участием А. П. Ленского, спектакль Александринского театра в 1910 г. в постановке Мейерхольда с участием Ю. М. Юрьева и К. А. Варламова и... как раз спектакль в Малаховском театре в 1915 г. с участием Н. М. Радина и М. М. Тарханова. Режиссёр И. Н. Неведомов (Перестиани).

Публика валила на спектакли валом. Зрителей собирается так много, что билеты приходится продавать в места для оркестра. Успех соединяет невидимой нитью актёра и зрителя... Такие спектакли редко приходится видеть и зимой в Москве.

«Рампа и жизнь», 1916 г.

Из Москвы в Малаховку

Малаховка. Вид с обрыва у Плаховой

Малаховка. Сквер перед входом на станцию

Малаховка. Платформа

Малаховка. Вид станции со стороны Удельной

Магазин у станции г-на Д.Е. Шлезингера

Храм св. апостолов Петра и Павла, покровителей Малаховки

Конная дорога

Озеро между Малаховкой и Удельной

Малаховка. Шлюз в имении «Озеро»

Малаховка. Мост у мельницы

Малаховка. Купальни на озере

Малаховка. Летний театр

Малаховка. Гимназия

Малаховка. Вход в парк Летнего театра

Вид театра

Малаховка. Дача Н. Д. Телешова

Р С Ф С Р
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ. . . . .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ №2

Пред"явитель сего Н Д ТЕЛЕШОВ

Предоставляется право безденежного проезда за счет ИНСТИТУТА ПО ДЕТСКОМУ ЧТЕНИЮ.

Основания поездки по п. 3 декрета от 9-го июля 1921 г.

Удостоверение № 227 от 31 /III, 1921.

Срок выезда Сентябр.........1921..

Станция отпрвления Москва

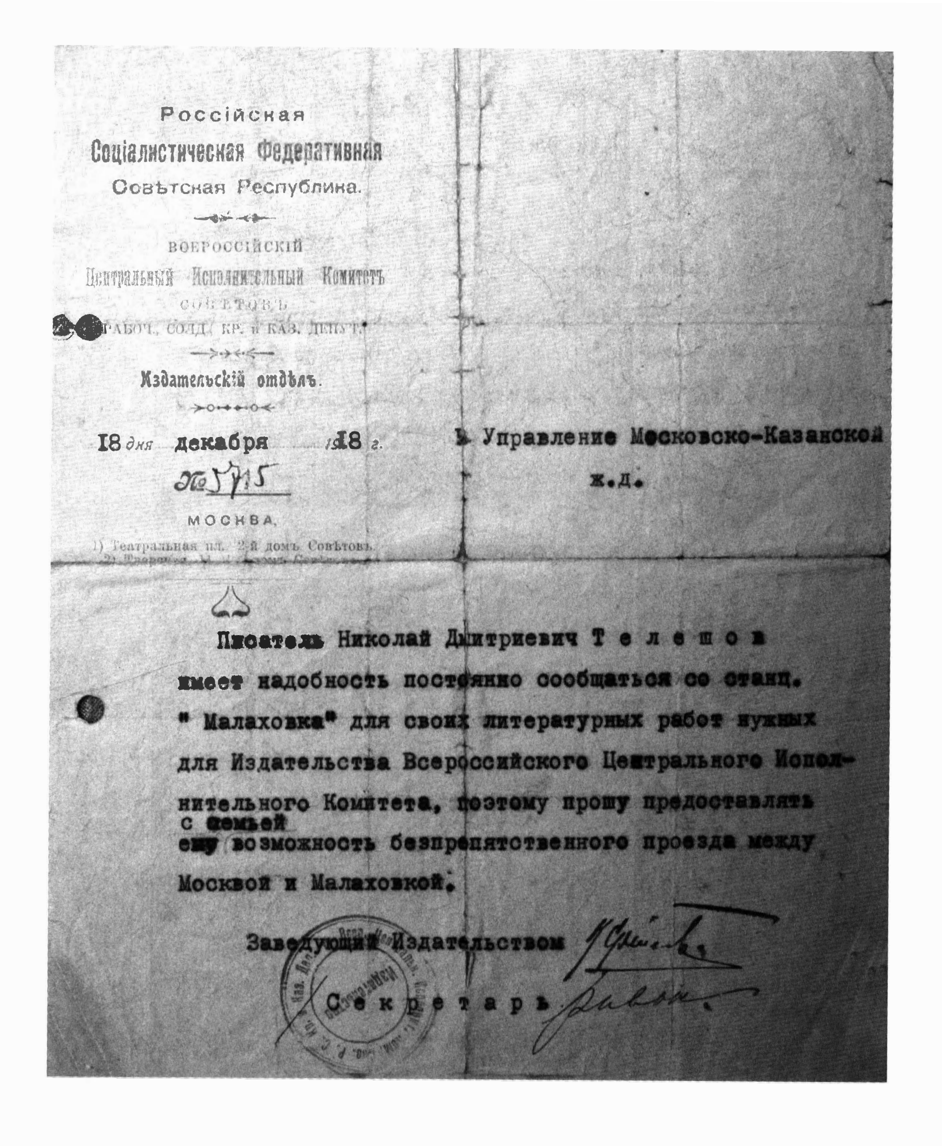
Станция назначечия Малаховка

Путь следования

Срок годности предложения 2 суток

Подпись ответственного лица

Член Коллегии [signature]


Россійская
Соціалистическая Федеративная
Совѣтская Республика.

Всероссійскій
Центральный Исполнительный Комитетъ
Совѣтовъ
Рабоч., Солд., Кр. и Каз. Депут.

Издательскій отдѣлъ.

18 дня декабря 1918 г.
№ 5715
Москва.
1) Театральная пл. 2-й домъ Совѣтовъ.
2) [illegible]

В Управление Московско-Казанской ж.д.

Писатель Николай Дмитриевич Т е л е ш о в имеет надобность постоянно сообщаться со станц. "Малаховка" для своих литературных работ нужных для Издательства Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, поэтому прошу предоставлять ему с семьей возможность беспрепятственного проезда между Москвой и Малаховкой.

Заведующий Издательством [signature]

С е к р е т а р ь [signature]

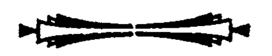
Документы для бесплатного проезда

Въ пятницу 31-го іюля 1915 года.

ВЕЧЕРЪ

СПОРТИВНАГО КРУЖКА

„МАЛАХОВКА“.



Театръ МАЛАХОВСКІЙ и САДЪ.

Имѣніе г. Соколовыхъ.

Въ пятницу 31-го іюля

ВЕЧЕРЪ

СПОРТИВНАГО КРУЖКА „МАЛАХОВКА".

Весь чистый сборъ поступаетъ въ пользу Малаховскаго мѣстнаго комитета Всероссійскаго Земскаго Союза по оказаніи помощи больнымъ и раненымъ воинамъ.

ПРОГРАММА.

I.

ВЪ ТЕАТРѢ

НИ МИНУТЫ ПОКОЯ.

Комедія-фарсъ въ 3-хъ дѣйствіяхъ, Мясницкаго.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Николай Петровичъ Кирпичевъ . . .	*г. Д. Н. Ивановъ.*
Анна Сергѣевна, его жена.	*г-жа А. В. Русанова.*
Лизокъ, ихъ дочь	*г-жа Н. В. Михайлова.*
Валеріанъ Петровичъ Пернатовъ, ротмистръ въ отставкѣ	*г. А. В. Бѣльскій.*
Эмилія Ивановна, его жена	*г-жа В. И. Орлова.*
Сергѣй Николаевичъ Великановъ, докторъ	*г. Н. В. Марковъ.*
Викторъ Андреевичъ Голубецкій, артистъ-любитель	*г. В. И. Прокофьевъ.*
Саша, горничная } Кирпичевыхъ .	*г-жа Р. Ф. Регина,*
Лукерья, кухарка } Кирпичевыхъ .	*г-жа А. В. Асина.*
Василій, лакей Великанова	*г. Н. В. Русановъ.*
Дачникъ	*г. В. В. Михайловъ.*
Мужикъ	*г. А. В. Голубевъ.*

Режиссеръ **А. В. Бѣльскій.**

ПО ОКОНЧАНІИ СПЕКТАКЛЯ

ТАНЦЫ

до 2-хъ часовъ ночи.

МЕЖДУ ТАНЦАМИ **КАБАРЭ** МЕЖДУ ТАНЦАМИ

въ исполненіи Московскаго Общества „Музыка и Драма“.

II.

На скетингѣ.

Въ 1-мъ антрактѣ.

состязаніе на скорость между велосипедистами, роликобѣжцами и бѣгунами, дистанція 5 круговъ.

Во 2-мъ антрактѣ:

Заѣздъ на велосипедахъ: „Тише ѣдешь первымъ будешь“.

Въ 3-мъ антрактѣ:

Международное состязаніе на роликахъ міровыхъ „чемпіоновъ“. Въ заключеніе „ЛОВЛЯ ПѢТУХА“. Участвуютъ всѣ желающіе. Поймавшій пѣтуха получаетъ его въ собственность.

Администраторъ М. И. НЕРОВЪ.

О-во Благоустройства поселка

„ПЛОХОВОЕ"

МАЛАХОВКА, М. К. Близъ ст. ж. д.

Въ Воскресенье 13 Іюня 1910 г.

НА КРУГУ ВЪ ОБЩЕСТВЕННОМЪ ПАРКѢ

ИМѢЮТЪ БЫТЬ:

ДѢТСКІЙ ПРАЗДНИКЪ

Начало въ 3½ часа дня.

И

КОНЦЕРТЪ

при благосклонномъ участіи г-жи А. И. Юховой, В. П. Орловой-Измайловской; гг. В. И. Василевскаго, А. Т. Самбурова и другихъ.

Начало въ 7½ час. вечера.

По окончаніи БАЛЪ.

Распорядитель артистъ ИМПЕРАТОРСК. театр. Д. Н. Шокоровъ.

Оркестръ военной музыки 1-го л.-гр. Екатеринославскаго Его Импер. Величества Государя Императора Александра II полка.

Программа детского праздника

Театръ Малаховскій и Садъ.

Ст. Малаховка, М. К. ж. д. — им. „Соколово-Малахово“.

1-го іюня **„СТАРООБРЯДКА“** драма-быль Барышева (старческая любовь), 5-го іюня **„ДВОРЯНСКОЕ ГНѢЗДО“** инсценир. Собольщикова-Самарина, 8-го іюня **„НОВОЕ ДѢЛО“** Немирович-Данченко готов. къ пост. **„НА ПРОТИВЪ ДОРОГЪ“** А. П. Чехова.

Главн. режиссеръ арт. Имп. Театр. **Е. А. ЛЕПКОВСКІЙ.**

Начало въ $8^1/_2$ ч. веч. Послѣдній поѣздъ въ Москву въ 1 ч. 10 м. ночи (остановкой на всѣхъ станціяхъ.) Въ саду двѣ площ. Тенисъ, скетингъ-ринкъ, кегельбанъ, билліардъ. При театрѣ гаражъ.

Ресторанъ 1-го разряда. Оркестръ Жандармскаго Дивизіона.

Уполномоченный дирекціи артистъ Имп. Театровъ В. А. Зайцевъ.

Моск.-Казан. ж. д. — Моск.-Казан. ж. д.

МАЛАХОВКА

СПЕКТАКЛИ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ТРУППЫ под управл. К. И. КАРѢЕВА.

Въ воскресенье, 31-го мая, предст. будетъ **„ДОНЪ-ЖУАНЪ“**, комедія въ 5-ти дѣйствіяхъ МОЛЬЕРА. Полная реставрація придворнаго спектакля временъ Людовика XIV. Нач. въ $8^1/_2$ ч. веч. Слѣд. спект. во вторникъ, 2-го іюня. Предст. будетъ **„ВѢДЬМА“**, пьеса въ 4-хъ дѣйствіяхъ. Трахтенберга.

Нач. въ $8^1/_2$ ч. веч. Въ саду грандіозное гулянье, лаунъ-теннисъ, скетингъ-ринкъ. Послѣдніи поѣздъ изъ Малаховки въ Москву отходитъ въ 1 ч. 10 м. ночи.

Администраторъ С. В. Ганке.

Не ублажением скучающих дачников занимался Малаховский театр. Любовь к прекрасному, к поэзии, к музыке, к театру и все те лучшие человеческие чувства, каких потом не могли вытравить ни обстоятельства, ни дурные люди, ни жизнь — всё это с помощью прекрасной актёрской игры стремился передать своему зрителю театр.

Малаховского зрителя знакомили с лучшими спектаклями Художественного театра, театра Корша, оперетты, театра «Летучая мышь», театра Незлобина, Малого театра.

На сцене был представлен почти весь репертуар Островского. Шли пьесы Чехова, Шекспира, Бернарда Шоу, Бомарше, Гольдони, Немировича-Данченко, Софокла, Мольера, Лопе де Вега, Леонида Андреева, Ибсена, Гауптмана...

На Малаховской сцене выступали выдающиеся мастера драматического искусства: А. А. Яблочкина, династия Садовских, М. М. и В. А. Блюменталь-Тамарины, М. М. Петипа, И. Н. Певцов, Н. М. Радин, Б. М. Шатрова, Б. Н. Пашенная, А. А. Остужев, А. Г. Коонен, Ф. Г. Раневская... Прекрасная акустика позволяла слушать оперных певцов: Ф. И. Шаляпина, Л. В. Собинова, А. В. Нежданову, В. Р. Петрова. Танцевала прима-балерина Большого театра Е. В. Гельцер. Говорят, что и знаменитая танцовщица Айседора Дункан не обошла малаховскую сцену. Пели Александр Вертинский и Вера Панина. Веселили публику Смирнов-Сокольский и Хенкин...

Я уже говорила, что многие знаменитые актёры обязаны своим появлением на малаховской сцене Николаю Дмитриевичу Телешову. Свои дружеские связи с миром искусства он мобилизовал, дабы привлечь и артистов к участию в благотворительных концертах и спектаклях. Потом в мемуарах он писал: «Малаховский театр два раза в лето отдавал нам бесплатно помещение и своих артистов, а артисты были интересные — из Малого театра и из Художественного. Билеты на такие вечера расхватывались моментально и по ценам повышенным. Благодаря моему обширному знакомству со многими артистами приезжали и пели именитые люди, и это давало солидный доход».

Даже в 1920 году в холод, голод, разруху, когда, по свидетельству очевидцев, по поселку «словно смерч прошёл», летом театральный сезон был открыт. Спектакли игрались в холодном помещении, когда не было электричества, то при свечах, но неизменно при полном зале.

Ряд декораций к спектаклям был написан по эскизам Константина Александровича Коровина. По воспоминаниям старожилов, шли спектакли и в декорациях Марка Шагала, который в первые годы после революции учил живописи детей в Малаховской колонии. И костюмы у актёров были богатые, дорогие. Их привозили из Малого театра.

До Октябрьских событий 1917 года летнюю антрепризу составляли постоянные труппы из ведущих актёров Москвы и Петрограда. После революции постоянных трупп в Малаховке не стало. Инициатором и

организатором гастрольных выступлений стал Иосиф Иванович Дарьяльский.

В беседе с малаховскими краеведами Мария Владимировна Миронова подчёркивала, что для возрождения нынешней малаховской сцены нужны увлечённые и бескорыстные люди:

Ведь Малаховка не механически функционировала год за годом. У неё была душа. Вдохновителя наших радостей и праздников звали Иосиф Иванович Дарьяльский...

Для Дарьяльского единственным критерием был талант. На спектаклях в публике слышались рыдания, кого-то выводили из зала. Жизнь, видимо, была легче, и у людей оставался запас душевных сил на сострадание чужому горю. Нас ведь теперь словом не прошибёшь... Я слушала Шаляпина, сидя в оркестре. Ему кричали так, как сегодня кричат... Пугачёвой.

Трудно перечислить все оперы гастрольных спектаклей оперных театров, которые видела малаховская сцена благодаря неукротимой энергии Дарьяльского. Вот только некоторые из них: «Демон», «Евгений Онегин», «Князь Игорь», «Русалка», «Риголетто», «Фауст», «Травиата», «Пиковая дама»...

Не перечислить и драматических спектаклей, с которыми знакомили малаховскую публику. Сколько их? Триста? Четыреста? Пятьсот?.. Многие пьесы сегодня и завзятый театрал не вспомнит. А когда-то их восторженно принимал интеллектуальный зритель: «Две утки», «Васильковые дурачества», «Джентльмен», «Дикарка», «Тёмное пятно», «Недомерок», «Хорошо сшитый фрак», «Пляска жизни», «Легкомысленная комедия для серьёзных людей», «Старческая любовь» («Старообрядка»), «Подросток», «Я так хочу», «Женщина в 40 лет», «Обнажённая», «Шальная девчонка»...

Множество когда-то любимых актёров сегодня также забыты... Кто сегодня слышал о Б. Горин-Горяйнове, Е. Лепковском, Л. Рындиной, М. Писаревой, Г. Терехове, В. Папазяне, Л. Яворской, Б. Орлове, И. Неведомове, Гондатти, Лешковской, Рощиной-Инсаровой (сестры В. Н. Пашенной)... Только специалисты...

Можно говорить о двух периодах расцвета театра в Малаховке. Первый — с 1911 г. (после пожара) по 1917 год. Второй — с 1919 г. по 1934 г. (когда на смену увлечения театром пришёл кинематограф). Первый связан с антрепренерами С. А. Головиным, М. Я. Муратовым, М. Ф. Лениным, актёрами Малого театра. Второй — с его директором, администратором Иосифом Ивановичем Дарьяльским, «Неистовым Иосифом», или «Королем суфлеров», как величали его актёры «Дома Островского», где прослужил он в должности суфлера без малого пятьдесят лет.

Из воспоминаний дочери И.И. Дарьяльского Тамары Иосифовны:

Красочные афиши расклеивались у станции и у входа в Летний сад, где с пяти часов вечера гремел духовой оркестр. Как сейчас помню, почему-то он начинался с увертюры к опере «Кармен»... Над окошком кассы красовались таблички «Аншлаг». Нарядно одетая публика собиралась заранее, гуляла в саду, слушая музыку, встречая друзей и знакомых. Музыка смолкала. В зале утихал шум, когда на сцене появлялся человек в белых брюках, рубашке «апаш», синем пиджаке и лакированных туфлях, который знакомил с участниками спектакля. Это был Иосиф Иванович Дарьяльский, занимавший в летнее время (по совместительству) должность директора Малаховского Летнего театра. Страстно любя Малый театр, где он почти полвека прослужил суфлёром, он знакомил зрителей с его корифеями...

«Дарьяльский создал Клуб русской интеллигенции, ничего подобного нет сейчас даже в Москве. За это он заслуживает увековечивания своей памяти. Пусть будет мемориальная доска», — эти слова Марии Владимировны Мироновой прозвучали для малаховцев как завещание.

3 октября 1995 года на здании Малаховского Летнего театра была торжественно открыта мемориальная доска — знак памяти о выдающихся оперных и драматических актёрах, выступавших на Малаховской сцене. Там были и такие слова: «С 1919 года по 1934 год администратором и душой театра был И. И. Дарьяльский».

Наверное, вспоминая людей, творивших добро для малаховцев, нельзя не сказать и о малаховской публике, духовно богатой и очень требовательной, которую когда-то Е. Н. Гоголева назвала «особой публикой».

В чём же заключалась её особенность? «В основном это была университетская интеллигенция, — говорила Елена Николаевна Гоголева. — Университетская профессура. Одни имели свои дома в Малаховке, другие снимали дачи летом или приезжали в гости к друзьям. Уходящая русская интеллигенция, составившая потом первую волну эмиграции, но ещё не уехавшая за границу».

«Публика шла в театр на актёра, именно на определённого актёра, потом на другого, чтобы сравнить их игру. Шли смотреть произведение постановщика. Теперь же скажут: “Я уже видела этот спектакль”. Скажут: “не слушала, а смотрела оперу”», — сетовала Мария Миронова.

Кто-то из малаховцев писал в те годы: «Так и подмывало посмотреть, — ну, а что сделали *эти* художники сцены с той или иной пьесой, быть может, уже виденой и перевиденой, но в иных красках... и побывав не единожды на “Дон Жуане” Мольера, пошёл ещё раз на Радина.... Искусство Радина заставляло обо всём забывать, — и о том, что сидишь в Летнем театре в Малаховке под раскалённой дневной жарой крышей...»

...Вернёмся же почти на сто лет назад... Нас приглашают посетить праздник, его броская афиша, написанная по правилам старинного русского письма, с ятями и твёрдым знаком в конце слова.... Билеты на спек-

такль с правом бесплатного входа в сад на всё время праздника заблаговременно можно получить в Малаховке у Телешова Н. Д., в Краскове у Леоненко Е.К.

В пятницу, 31 июля 1915 года в театре-саду «Малаховском» имения господ Соколовых состоится вечер спортивного кружка «Малаховка». Весь чистый сбор поступает в пользу Малаховского местного комитета Всероссийского Земского Союза по оказанию помощи больным и раненым воинам.

Исполнено будет: «Ни минуты покоя» комедия-фарс в 3-х действиях, Мясницкого.

Участвуют...

По окончании спектакля танцы до 2-х часов ночи. Между танцами — Кабарэ в исполнении Московского общества «Музыка и драма».

В саду и на скетинге — спортивные состязания и развлечения.

Начало в 8 часов вечера. Цены местам обыкновенные. Вход в сад и на танцы 50 копеек.

На скетинге в 1-м антракте — состязание на скорость между велосипедистами, роликобежцами и бегунами, дистанция — 5 кругов.

Во 2-м антракте — заезд на велосипедах «Тише едешь — первым будешь».

В 3-м антракте — международное соревнование на роликах мировых чемпионов.

В заключение — «Ловля петуха». Участвуют все желающие. Поймавший петуха получает его в собственность.

А какие балы бывали в малаховском Летнем саду! С лимонадом, мороженым, танцами, играми... Театральный сезон открывал Сиреневый бал, на котором выбирали Королеву Красоты, законодательницу последующих балов и мод. Месяц май — месяц цветения сирени. Сезон начинался в мае и заканчивался поздней осенью. Каждый бал имел своё название. Когда не давались спектакли, балы проводились в самом театре. Из театра заранее выносились кресла. Дамы танцевали в газовых платьях. Играл прекрасный оркестр — и в театре, и в саду: оркестр военной музыки Московского жандармского дивизиона под управлением капельмейстера Н. Е. Солнцева и оркестр 211-го пехотного Троице-Сергиевского полка под управлением А. Х. Бауэра. «Вот Минночка Шпилькина, балерина Большого театра, жена Мелик-Пашаева... Они с братом брали все призы на конкурсах бальных танцев, коронным их номером был вальс», – рассказывала Мария Миронова.

На спектакли, праздники, балы в Малаховку съезжалась публика со всей Казанской дороги. Одних привозили пыхтящие паровички, другие прикатывали сами в нарядных экипажах... В имении господ Соколовых ходила конка расстоянием в три версты от железнодорожной станции до парка.

Гостям малаховских праздников в рекламных объявлениях московских газет сообщалось время отправления и даже остановки поездов, отбывающих в сторону Москвы и в сторону Раменского, говорилось, что ко времени окончания спектакля или танцевального вечера к театру подаются вагоны конного трамвая.

Летом каждую субботу и воскресенье в Летнем саду устраивались детские праздники. Детей привозили из Томилина, Краскова, Удельной, Люберец, Раменского... и из Москвы.

Праздник проходил под чьим-то управлением. Одним из таких «управителей», например, был артист Императорских театров В. Д. Коновалов.

Обязательно в репертуаре всегда значились спектакли для детей. Как правило, это были интересные сказки в красивых декорациях – «Спящая красавица», «Царевна-лягушка», «Гномы-шалуны и живые часы», «У снежной бабы», «Кот в сапогах», «Красная шапочка и Серый волк» и многое, многое другое. В саду были игры и танцы. Вместо спектакля в театре могли давать представление фокусники, акробаты и клоуны. Синематограф для такого случая имел специальные картины для детей.

Конечно, находясь рядом с людьми, живущими в атмосфере высокого творческого духа, царящего на сцене и за кулисами, нельзя было и самой публике не расти духовно. Малаховский зритель был строгим, но благодарным и щедрым на аплодисменты, цветы и даже подношения. В мемуарной книге «Страницы жизни» великая русская актриса Алиса Георгиевна Коонен писала:

Полной неожиданностью для меня, воспитанной в Художественном театре, были подарки, преподнесенные из публики. В одной из корзин с цветами лежал чайный сервиз, весь в трогательных незабудках. Другая корзина была задрапирована старинной шалью с бархатными палевыми цветами. В письме от зрителей, которое я достала из корзины, было написано: «Прекрасной Грезе Русского театра. Малаховские зрители».

...Я ни минуты не сомневалась в правильности своего решения поработать лето в Малаховке.

Малаховский театр всегда имел прекрасную репутацию, здесь всегда играли московские известные артисты, спектакли обставлялись с большой тщательностью, московская публика охотно приезжала сюда.

...Актёрам Малого театра или Корша, из которых главным образом состояла труппа, было легко, так как роли в спектаклях были ими играны. Мне же всё надо было делать заново.

Трудно представить, как могла я выдержать тогда в Малаховке такое сумасшедшее напряжение — и творческое и физическое, я работала буквально 24 часа в сутки, за месяц и десять дней сыграла десять ведущих ролей: среди них были и Полинька в «Доходном месте», и такие гастрольные роли, как Эрика в «Семнадцатилетних», Беата в «Бесчестье», Сильветта

в «Романтиках», Сюзанна в «Царстве скуки». Сыграла даже Мелисанду в «Принцессе Грёзе» Ростана. Эту роль мне пришлось сделать за шесть дней, выучив текст в стихах Щепкиной.

Фаина Георгиевна Раневская тоже вспоминала Малаховский театр. Пожалуй, ни в одной из книг о ней[12] малаховские эпизоды не оставлены без внимания:

Шёл 1916 год. Тяжёлое время переживал тогда российский театр. Театр в Малаховке, где играли во время летних вакаций ведущие артисты театров Москвы и Петрограда, был одним из очагов, где в короткие месяцы летнего сезона теплилась творческая жизнь и создавалось подлинно реалистическое искусство. Там, в Малаховке, мне довелось увидеть великую русскую актрису Садовскую, игра которой меня глубоко потрясла. Там же я играла с замечательными артистами: Мариусом Петипа, Радиным, Правдиным, Певцовым, наблюдая которых, я училась собранности, сосредоточенности, вниманию, всему тому, что лежит в основе системы Станиславского.

Звучат слова и других мемуаристов.
Елена Митрофановна Шатрова:

Малаховская сборная выезжала в Москву, давала спектакли в «Эрмитаже». Участвовать в одном из таких спектаклей — «Старый друг лучше новых двух» Островского — Шуглейт, известный антрепренер, пригласил Ольгу Осиповну Садовскую. Гущина — одна из первых, если не первая, роль, сыгранная Ольгой Осиповной в Малаховском театре. До нашего спектакля она играла Гущину не один десяток лет. Но свежесть исполнения Садовской была такова, что казалось — она играет премьеру. Премьерными были и аплодисменты.

Елена Николаевна Гоголева:

В эти годы, а это были 18-20-е годы: голод, гражданская война, в Москве появились энергичные люди, такие «жучки»-антрепренёры, которые набирали актёров из разных театров на «халтуру». Актёры, свободные от спектаклей, собирались обычно на Страстной площади (теперь площадь Пушкина). Стоявший у подводы администратор выкрикивал: «Кто играл в таком-то спектакле?» А в это время на подводе уже сидел главный герой. Это к нему подбирались остальные исполнители.

[12] *Скороходов Г.* Разговоры с Раневской. М.: ACT, Олимп, 1999; *Раневская Ф. Г.* Дневники на клочках. СПб.: Издательство Фонда русской поэзии при участии альманаха «Петрополь», 1999; *Щеглов Д.* Фаина Раневская. Монолог. М. : Олимп, 1998г.; *Щеглов А.* Раневская: Вся жизнь. М.: Издательство Захаров, 1998.

Без репетиции, условившись о мизансценах, собирали спектакль и показывали его где-нибудь на окраине Москвы — в саду Тиволи, в Сокольниках, в школе в Ростокино или в кинотеатре у Рогожской заставы... Зритель был невзыскательным. Хотя и считались те площадки лучшими. Это в Малаховке была особая публика. Малаховский театр не похож был на всё это... Играть с такими актёрами, как Яблочкина, Правдин, Айдаров, Пров и Ольга Садовские, играть и не знать роли и того, что происходит на сцене, просто нельзя было... Малаховка — это была Малаховка![13]

Несомненно одно, что поселковый Малаховский летний театр (даже не уездный!) с необыкновенной, единственной в своём роде судьбой, овеянный славой мировых артистических имён — одна о важных страниц в истории российского театра. И что эта страница не была бы такой интересной без участия Николая Дмитриевича и Елены Андреевны Телешовых, для которых бескорыстное служение культуре было моральной нормой. Благотворительность супругов Телешовых являла собой замечательный пример русского меценатства.

Ведь и помимо вклада в жизнь Малаховского театра ими сделано много доброго. В дальнейшем читатель узнает историю лучшего земельного надела из всех, принадлежавших Телешовым в Малаховке. На средства Телешовых в 1915 г. здесь же был организован госпиталь. В Красковской больнице за время войны Телешовы содержали оборудованный на их средства лазарет для раненых и больных воинов на 40 человек. Также ими была открыта высшая начальная школа в г. Верее. За счёт семьи Телешовых в течение десяти лет бесплатно или за пониженную плату обучались дети беднейших крестьян и рабочих из нынешнего Подмосковья.

Помимо всего этого, Телешовы были ещё и попечителями одного из строений начальной школы («Черногубки») в Краскове и инициаторами строительства сельской лечебницы для бедных. Сохранились документы (вплоть до квитанций и переводов денежных средств на сумму более 42 000 рублей), связанные с этой лечебницей. Именно о бедных думали Телешовы, когда оплачивали строительство больничных корпусов, чтобы крестьяне окрестных деревень, заболев, могли получить квалифицированную медицинскую помощь. Строительство было начато в 1911 году, а 24 июля 1916 года была освящена и начала работать «Быковская земская лечебница имени Софьи Андреевны Карзинкиной и Дмитрия Егоровича Телешова» (сестры Елены Андреевны и отца Николая Дмитриевича).

Так что Телешов сыграл огромную роль в жизни Малаховки. И уже несколько поколений отечественных интеллигентов задаются вопросом: можно ли возродить под Москвой духовный заповедник?

[13] С богатым собранием материалов о Малаховском театре читатель может ознакомиться в книге: *Логинова Л. Ю.* Легенда XX века: Летний театр в Малаховке. М.: ВИНИТИ, 2004.

На этот вопрос народная артистка России Мария Владимировна Миронова ответила так:

«Сначала надо возродить малаховский образ жизни... Кому теперь захочется просто доставить людям удовольствие? Они вымерли как птеродактили, — с сожалением констатировала Мария Владимировна. — Разве это меценаты? Это же грошовые кутилы!.. Новоявленные Мамонтовы и Морозовы разве что ноги не моют в шампанском. Впрочем, может быть, я отстала от жизни, уже моют...»

Но всё же, всё же, всё же...

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
с памятника культуры Серебряного века

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
Построен в 1911 году по проекту архитектора Л.Ф. Даукша
на средства землевладельца П.А. Соколова.
Здесь пели Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, А.В. Нежданова.
Выступали А.А. Яблочкина, Е.В. Гельцер, С.А. Головин,
О.О. и П.М. Садовские, М.М. и В.А. Блюменталь-Тамарины,
М.М. Петипа, И.Н. Певцов, Н.М. Радин, М.М. Тарханов,
А.И. Южин-Сумбатов, Е.М. Шатрова, А.Г. Коонен, А.П.Зуева,
В.Н. Пашенная, А.А. Остужев, Е.Н. Гоголева, Ф.Г. Раневская,
М.В. Миронова, А.Н. Вертинский, Г.М. Ярон
и другие выдающиеся артисты.
С 1919 по 1934 год администратором и душой театра был
И.И. Дарьяльский.
Памятник культуры Серебряного века
Охраняется законом

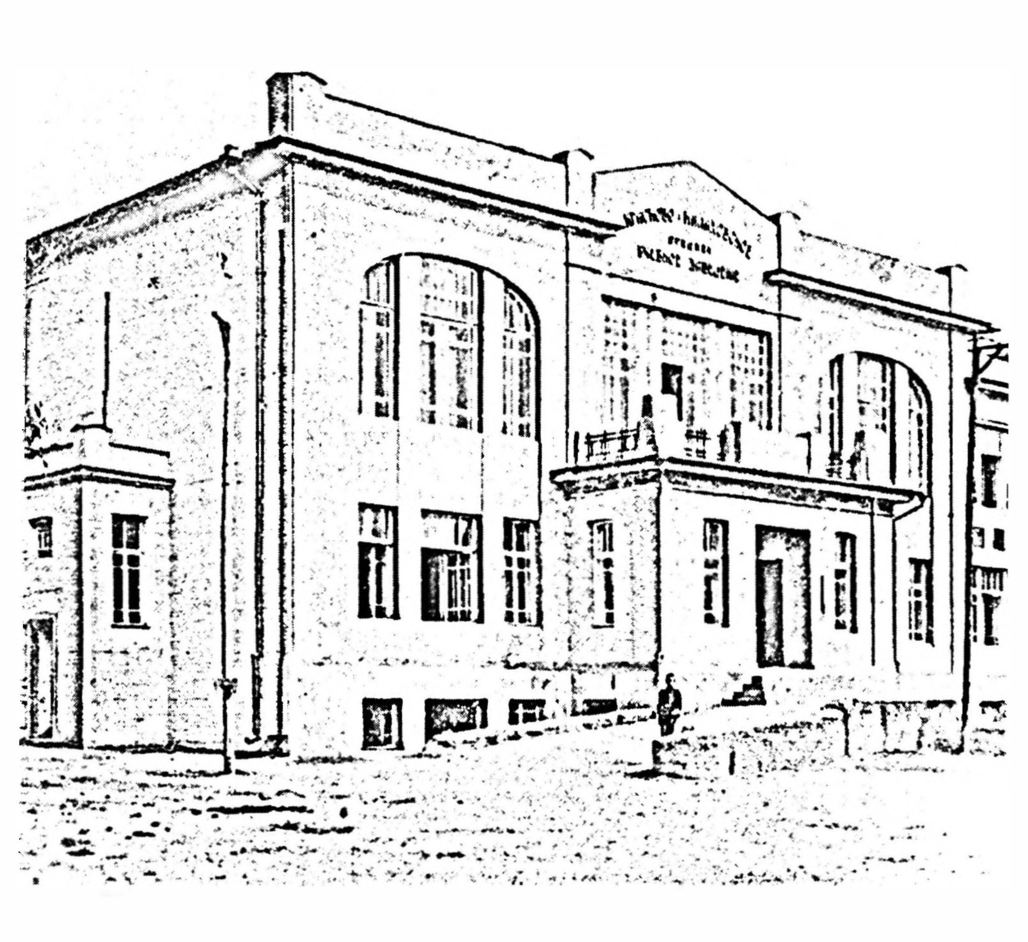
3 октября 1995 года эта мемориальная доска была торжественно открыта на здании Летнего театра.

Люди шли сюда как на свой личный праздник. Ведь для сооружения этой доски пенсионеры чуть ли не год откладывали рубли от своих, мягко говоря, невеликих пенсий.

А теперь лишь хранящиеся в Малаховском музее истории и культуры гранитные осколки, собранные школьниками после пожара, напоминают о былом.

В ночь с 7 на 8 октября 1999 г. «Памятник культуры Серебряного века», охраняемый законом, подожгли.

На месте театра, который ещё называли Храмом искусства, театром Шаляпина, филиалом Малого театра осталось пепелище.



Школа над оврагом

Речь пойдёт о первой в России деревенской гимназии для обучения детей обоего пола. По данным документов областного архива на 1899 г. в Малаховке значилась только церковно-приходская школа, где попечителями были крестьянин К. Самцов и купец А. Челноков. Законоучителем — священник А. Соколов. Учителем — П. Казанцев, а его помощницей — К. Кедрова.

Телешовы отдали один из лучших своих земельных наделов под будущую гимназию, которая строилась не только при их ближайшем участии, но и при их материальной поддержке. Только цена участка по местным ценам в то время составляла 6000 руб.

В 1912 г. была выпущена брошюра, рассказывающая о «школе над оврагом».

Возникновение Красково-Малаховского учебного заведения (первого в деревне под Москвой) неразрывно связано с двумя явлениями экономической жизни последнего десятилетия: с необычайным вздорожанием жизни в Москве, вызвавшем отлив части её населения в местности, расположенные по линии железных дорог, а также возникновением вдоль этих линий крупных промышленных предприятий. Оба названных явления создали по линии Московско-Казанской железной дороги большие посёлки с населением, живущим в них семьями круглый год.

Состав населения посёлков образуется главным образом из служащих на железной дороге, в городских и земских учреждениях, на фабриках и заводах и в разного рода торговых и промышленных предприятиях. Вновь образовавшиеся посёлки тесно связаны с коренным населением близлежащих деревень.

Есть ещё один разряд местного населения, появление которого обусловлено особо благоприятными природными явлениями Малаховки и прилегающих к ней Красково и Удельной, отмеченными в своё время проф. Закортиным и Остроумовым. Семьи, члены которых, взрослые или дети, по состоянию своего здоровья не могут жить в Москве, уже давно селятся в этой местности.

Местное население (как пришлое, так и коренное), желая дать среднее образование своим детям, принуждено было или посылать ежедневно своих дочерей и сыновей для учения в Москву, или помещать их в Москве нахлебниками на квартирах.

В первом случае дети, предоставленные сами себе, с большим вредом для здоровья и для занятий ежедневно тратили до 2—4 часов времени (при 80—

40 вёрстном расстоянии) только на переезды от дома до учебных заведений и обратно, подвергаясь при этом разным случайностям, возможности заболеть и натолкнуться на дурное влияние.

Во втором случае родителям приходилось нести непосильные денежные расходы, при постоянном страхе за физическое и нравственное развитие детей вне семейной обстановки, в условиях жизни большого города.

При необходимости посылать детей за образованием в Москву и при невозможности осуществить это, многие родители должны были отказаться от мысли дать детям надлежащее образование и воспитание.

Такое положение дел неизбежно привело местное население к мысли создать своё учебное заведение. Так естественно возникло среднее учебное заведение при станции Малаховка, занимающей центральное положение между Москвою и Раменским и расположенной в одной из самых здоровых подмосковных местностей.

Чтобы ускорить появление среднего учебного заведения, местные жители образовали «Общество устройства загородного средне-учебного заведения близ станций Красково–Малаховка Московско-Казанской железной дороги», частного восьмиклассного учебного заведения с курсом мужских гимназий. Число членов Общества доходило до 250 человек, вносящих ежегодно до 2500 руб. членских взносов. 30 июля 1908 г. последовало распоряжение открытить среднее учебное заведение в Малаховке.

Из «Записок писателя» Н. Д. Телешова:

Инициатором этого явился популярный среди населения и всеми уважаемый земский врач Михаил Самойлович Леоненко, мой личный давний знакомый и друг нашей семьи. Он увлёк многих — в том числе и меня — этой задачей устроить первую в России деревенскую гимназию здесь же, среди нас...

...Нашёлся и талантливый архитектор, Лев Францевич Даукша, предложивший разработанный план будущего здания, да, кстати, и своё наблюдение за постройкой, совершенно бесплатно, из сочувствия. И через два года был выстроен прекрасный каменный двухэтажный дом с водяным отоплением, куда перевели гимназию в 1910 году из небольшого наёмного помещения. Через год здесь уже открыты были кабинеты: физический, географический, исторический, библиотека и классы рисования.

«Малаховский вестник» в 1913 г. сообщал о том, что когда в 1908 г. для постройки здания гимназии понадобился участок земли, Ф. И. Шпигелем были снесены две принадлежащие ему дачи. Фёдор Иванович принимал деятельное участие в постройке гимназии, состоял членом строительной комиссии.

Первым заведующим гимназией был Н. Г. Правосуд, а с августа 1911 года — С. В. Зенченко. В состав комитета общества, помимо С. В. Зенченко, входили: Н. Д. Телешов — почётный председатель общества, М. С. Леоненко — председатель общества, Б. А. Голуб — товарищ председателя общества, Е. А. Телешова — попечительница учебного заведения. Члены комитета: А. А. Бахрушин, М. Я. Бормотов, А. А. Гедеонов, А. И. Горбунов, Е. С. Дейстфельд, А. Г. Максимов, Е. М. Молодцова, И. А. Целиков (секретарь общества), С. И. Чебышев (казначей общества), А. И. Баталов.

Члены Общества принимали живейшее участие во всём, что могло принести пользу: жертвовали деньги, строительный материал, предметы для обзаведения, например, для преподавания пения — рояль в 850 р.

Средств требовалось много, и Николай Дмитриевич Телешов мобилизовал свои дружеские связи с миром искусства, дабы привлечь и артистов к участию в благотворительных концертах в пользу гимназии.

Здесь имелось 17 стипендий. Среди них учрежденные Е. А.Телешовой (5), Голубом (1), Бронницким уездным земством (3), Боковым (2), Обществом устройства Красково-Малаховского среднего учебного заведения (6). Бронницкое земство ежегодно выдавало своим стипендиатам по 150 руб. на одежду, обувь, завтраки и учебные пособия. Для развития в детях эстетического чувства устраивались силами учащихся литературно-музыкальные вечера и спектакли как для всего учебного заведения, так и для отдельных классов.

Газета «Малаховский вестник» за 1913 год писала: «Когда гимназия открыла свои действия, принимал деятельное участие во внешнем наблюдении за детьми, участвовал в экскурсиях и литературных вечерах Ф. И. Шпигель». Для наблюдения за гигиеной школы и за здоровьем детей, для лечения болезней, учебное заведение располагало постоянной санитарно-медицинской помощью со стороны врачей Красковской земской больницы, расположенной в 1 $^1/_2$ верстах от Малаховки. Для правильного питания детей комитет устраивал горячие завтраки при крайне доступной плате, бедные получали завтрак даром. Для движения на открытом воздухе служила большая площадка. Летом здесь устраивались подвижные и спортивные игры, зимой часть площадки заливалась водой для катка. Бедные учащиеся снабжались бесплатно коньками и лыжами.

Всех, кто принимал самое горячее участие и оказывал материальную поддержку, назвать невозможно... да и не все имена сохранились в памяти.

Взять хотя бы Кирилла Никитича Владимирова. Кто помнит сегодня о нём?

Только случай помог узнать об этом человеке.

Для открытия среднего учебного заведения для детей обоего пола требовалось разрешение министра народного просвещения.

Из воспоминаний Н. Д. Телешова:

Устраивать два учебных заведения, отдельно для мальчиков и для девочек, было бы не под силу местному населению, да и не вызывалось необходимостью.

— Как тут быть? — спрашивал меня Леоненко. — Официальные круги явно против «двуполой гимназии», как они выражались. Взгляд неверный, но что делать?

— А вот что, — ответил я. — Давайте-ка завтра поедем с вами в Петербург, к министру народного просвещения, да и потолкуем.

— К Кассо?! — изумился Леоненко и даже усмехнулся. — Да ведь это же гонитель всего нового и культурного! Это дело вполне безнадёжное.

— А всё-таки поедем, — настаивал я. — Чем чёрт не шутит! Мы ему разъясним, мы ему так прямо и скажем, если он за просвещение, то должен разрешить, а если не разрешит, то он после этого...

Я не стал договаривать, Леоненко улыбнулся и махнул рукой. Однако поехать всё-таки согласился...

Вскоре последовал положительный ответ на ходатайство за подписью товарища министра. Он разрешал на основании высочайшего повеления допустить во всех классах частного восьмиклассного учебного заведения с курсом мужских гимназий совместное обучение детей обоего пола.

Так вот, вместе с Леоненко и Телешовым к министру ходил ещё один человек — Кирилл Никитич Владимиров.

Позже его внук, Игорь Фёдорович Владимиров, рассказывал: «Мой дед и при закладке гимназии присутствовал. А ещё он подарил гимназии лес. Всё внутреннее оборудование здания из его лесоматериалов было сделано...»

Возможно, что и некоторым таинственным дарителем, приславшим в гимназию рояль, два верстака с набором столярных инструментов, большие дубовые библиотечные шкафы, тоже был Кирилл Никитич Владимиров. Крупный лесопромышленник, владелец заводов по обработке дерева, стройматериалов, столярных изделий, участник всех промышленных съездов, а в 1911 году — Международной выставки в Риме.

Малаховская гимназия или, как её называли, «школа над оврагом», была престижным учебным заведением, известным далеко за пределами посёлка. Даже паровичок (единственный железнодорожный транспорт того времени) из Москвы в Раменское ходил по расписанию, соотнесённому с началом и концом занятий. Учащиеся прибывали в Малаховку из местностей, расположенных по линии Московско-Казанской железной дороги между Москвой и Раменским и в шести-восьми верстах по обе стороны от неё. А ещё старожилы утверждали, что при освещении закладки Малаховской гимназии присутствовал председатель

Бронницкой уездной земской управы, предводитель уездного дворянства, коллежский асессор Александр Александрович Пушкин. В те годы Малаховка входила в состав Бронницкого уезда, по-видимому, Телешову приходилось не раз общаться с внуком Александра Сергеевича Пушкина.

Директор Бронницкого музея И. А. Сливка сообщает: «Когда известный писатель Н. Д. Телешов захотел на собственные средства построить в деревне Колонец Бронницкого уезда лечебницу для крестьян и встретил равнодушие власти (из Москвы долго не отвечали на его ходатайство) А. А. Пушкин, внук поэта, по свидетельству В. Д. Терещенко, бывшего в те годы письмоводителем в Бронницкой земской управе, лично вмешался и добился разрешения на постройку сельской больницы, которая существовала до последнего времени и закрылась по ветхости».

Умно задумать, талантливо спроектировать, надёжно построить, да ещё пробить брешь непонимания высокопоставленного чиновника... дело непростое! Но все-таки самое главное — в чьи руки попадёт долгожданное детище?

Малаховке и в этом повезло.

Нереальная в те годы идея создания в России первой сельской гимназии двуполого обучения осуществилась благодаря Леоненко, Телешову, Зенченко.

Редактор-издатель Зенченко

Редактор-издатель «Малаховского Вестника» принимает по понедельникам, средам и пятницам от 12 до 1 часа дня в здании Малаховской гимназии...

Он говорил, что «для жизни необходима известная доля легкомыслия. Поэтому он не “легко”, но с мягким юмором и оптимизмом принимал и понимал жизнь и умел красиво жить», — так писала о Сергее Васильевиче Зенченко его дочь, Ольга Сергеевна Зенченко, в 1933 году, сразу после смерти отца.

Ещё до того, как в 1990-е годы краеведы начали издавать «Малаховский вестник», газету, придуманную Зенченко в начале XX века, было ясно, что Телешова, Леоненко и Зенченко — газета не смеет обойти вниманием.

От Телешова остались воспоминания в книгах, семья, музей.

От Леоненко — унаследованная потомками и ещё раз прославленная в наших краях фамилия, бережно хранимый семейный архив.

Единственная же дочь Зенченко своей семьи не имела и не любила рассказывать о прошлом.

Минул год, как выходила газета, а о первом «редакторе-издателе» рассказать нам было и нечего...

... Зенченко родился в 1862 году в Воронеже, в семье присяжного поверенного. Жизнь уже через пять лет приобрела горьковатый привкус, который ещё долго примешивался к сладким блюдам бытия. Умерла от туберкулёза мама, оставив пятилетнего Сережу и трёхлетнего Васю. Присяжный поверенный вскоре снова женился, и, видно, пошла ему в ту пору удача и деньги — зажили шикарно, переехали в столицу. А когда деньги и удача так же быстро и одновременно улетучились, мальчиков оставили бедной родственнице и куда-то уехали. Обещанные на содержание детей средства не высылались, вестей от отца не было. И бедная родственница отдала сыновей «талантливого стряпчего, прекрасного оратора»... в Серебряный приют для детей ссыльнокаторжных.

Так прошла зима. К весне, видимо, проявился отец, и какая-то дама снова взяла братьев в свой дом на содержание. Сергею было уже 10. За них снова забывали платить, но на этот раз до приюта не дошло. Отец с мачехой приехали сами, на короткий срок семья воссоединилась. Перебрались из Петербурга в Москву, Сергею, вошедшему в ученический возраст, было предложено выбрать учение: военное или штатское, т. е. гимназию.

«Так как папе больше нравились кепи и мундирчик, — писала Ольга Сергеевна, — он предпочёл гимназию». Мачеха была настоящая, детей не любила — и на банку варенья, крючки для рыбной ловли и билеты на цирковую галерку Серёжа зарабатывал уроками. Но и сомнительная «семейная идиллия» длилась недолго: Сергея пристроили на квартиру и, забрав Васю, родители уехали в Одессу. Больше они не виделись. Отец приезжал как-то, когда сыну было уже лет 16, но на квартире его не застал, ушёл, не дождавшись. Когда же, узнав о визите, Сергей бросился разыскивать его по всей Москве, того и след простыл. С братом Васей довелось, правда, увидеться через 16 лет разлуки, тот заезжал на памяти Ольги Сергеевны — и опять как в воду канул, теперь окончательно.

В бездомье был причал — семья Гордецких, где жило ещё несколько мальчиков, в том числе и брат его будущей жены Марии Михайловны, тогда — гимназисточки Машеньки Сидоровой. Вскоре и за квартиру пришлось платить из денег, заработанных уроками. Хозяева были невредные, но всё же однажды дошло до того, что Сергей продал пальто и всю зиму бегал в гимназическом мундирчике, перекрещенном башлыком. Это было в IV гимназическом классе (14 лет), а к пятому соседи-товарищи сшили Зенченко шубу, которая и прослужила ему ещё четыре зимы, до самого окончания гимназии. Потом Сергей перешёл жить и столоваться в хлебосольную купеческую семью, где за занятия с детьми его не только кормили, но и, по воспоминаниям, собрали для него целое приданое...

... К окончанию университета Сергей сложился и как учёный, и как опытный педагог. Профессор Корш оставлял его при университете, но он отказался, потому что, как пишет Ольга Сергеевна, «любил живое дело и общественную жизнь с борьбой». Один из его благодетелей-купцов состоял почётным опекуном Елизаветинского института, куда он и рекомендовал Зенченко преподавателем старших классов. От этого времени остался целый альбом в семейном архиве: девочки в белых пелеринках с лицами, каких нынче не бывает, разве что в монастырях, а на обороте карточек — надписи «Любимому учителю» и инициалы. Или даже так: «Многоуважаемому Сергею Васильевичу от глубоко и искренно уважающей Вас ученицы Е. А. на память об Ваших уроках истории и педагогики, которые я никогда не забуду: они заставили меня ценить интерес самой науки, а последнее время дали и иной взгляд на жизнь, под влиянием которого я постараюсь переделать себя и не сложу оружия пока хватит сил. Думаю, что они произвели такое же действие и на большую часть нашего класса, как это видно из разговоров. Москва 1892 года».

Прошло совсем немного времени, и Сергея Васильевича за заслуги назначили инспектором классов. По натуре он явно не был исполнителем. Видел, что делается не так, представлял, как должно быть. Начатые им реформы вызвали недовольство начальницы Елизаветинского инсти-

тута. Жизнь снова начала приобретать горьковатый привкус, но, видно, Зенченко имел к тому времени солидную репутацию — и в 1899 году его специально пригласили «реформировать Александро-Мариинский институт».

Здесь, в «захолустье на Пречистенке», Зенченко впервые смог осуществить некоторые из давно задуманных преобразований. Из того, что известно: навёл порядок, всерьёз наладил преподавание, а кроме того, ввёл в программу кройку и шитьё, бухгалтерию, письмо на пишущей машинке и кулинарию. Наладил институтское хозяйство, библиотеку и музей.

Одновременно с преподаванием Сергей Васильевич активно занимался общественной деятельностью, состоял, организовывал и руководил самыми разными педагогическими обществами и комиссиями. Преподавать мог разные науки — от древних языков до технических дисциплин, но особой его заботой пользовалась постановка дела педагогического образования в России. Всерьёз педагогику в ту пору у нас никто, пожалуй, и не преподавал.

А он усердно читал лекции учительницам на земских курсах в Вятке, Саратове, Пензе. И получал на память большие коллективные фотографии с разными благодарными словами, писанными на обороте.

В 1895 году Сергей Васильевич подготовил учебник по истории «Восток и Греция», который сразу был признан лучшим и стал классическим учебным пособием для всех русских гимназий.

За годы труда состояния Сергей Васильевич не приобрёл, зато заработал туберкулёз легких. Несколько богатых друзей — из тех, чьих детей он учил когда-то — обеспечили ему средства для поездки на лечение за границу.

С 1901 по 1910 год он регулярно уезжал на долгий срок в Европу, где не только лечился, но и преподавал, и пополнял собственное образование. Послушал множество лекций в Сорбонне, объездил и изучил опыт лучших школ Франции, Германии, Швейцарии.

Приезжая в Россию, снова развивал бурную деятельность, служил и уходил в отставку. Однажды его «ушли» за то, что слишком много его учениц поступило в высшие учебные заведения...

В 1910 году поездки за границу прекратились. Это явно было связано с тем, что Зенченко открыл для себя «Подмосковную Швейцарию», столь же целительную для туберкулёза.

В Малаховке в начале улицы Февральской стоит дача, над одной из островерхих мансард которой вырисовывается старый деревянный орнамент в швейцарском стиле. Хорошо, что впоследствии жившие здесь дальние родственники жены Зенченко не стремились сломать ненужную теперь и загромоздившую угол кафельную печь, хранили альбомы с неизвестно чьими фотографиями без надписей. Я же всё пыталась разглядеть за вереницей лиц, канувший в лету, лик России.

А на отдельном альбомном листе специально наклеены фотографии, посвящённые этому дому: вот тут видны стропила и строящийся остов, здесь он новенький, «с иголочки», орнамент над обеими мансардами. На третьей сам Зенченко в саду, а из окна какой-то человек протягивает ему пачку бумаг, надпись: «Два строителя». Мария Михайловна в креслах, гостиная, рояль.

Не знаю точно даты постройки и времени переезда, но уже в 1908 году, когда была открыта будущая гимназия, Зенченко вошёл в её организационный комитет. И пять лет наблюдал, как вполне здравые идеи, в том числе те, что столько лет пробивал он сам, никак не воплощаются в жизнь. Знали бы вы, скольких усилий понадобилось Сергею Васильевичу, чтобы доказать, что дети в школе должны получать горячие завтраки, что классы необходимо проветривать, побольше гулять и давать детям возможность играть в подвижные игры. Доклады писал, учил, спорил, в конце концов взял и сделал всё это сам в Красково—Малаховском учебном заведении.

Ещё пропагандировал он устройство обществ, организующих летний досуг ребят в городе и в дачных посёлках.

А так как, опять же, пустословия не любил, — взялся сам организовать таковое в родной теперь Малаховке. И, поразмыслив, начать решил — с прессы, для чего пришлось изобрести дачную газету. В её первом номере за 1913 год и появилась такая фраза: «“Малаховский вестник” будет служить организации правильного использования летнего времени детьми, устраиваемой комитетом “Общества устройства Красково—Малаховского учебного заведения”».

Сам Зенченко и половину статей писал, сам редактировал, и авторов «тряс», посетителей опять же принимал. Потому, видно, и номеров тогда вышло всего три. Был Сергей Васильевич человек энергии и инициативы необычной, но силам человеческим есть же предел.

Да и, как я понимаю, дело было сделано: общественность ещё раз обернулась лицом к школе, «организация правильного и т.д.» прекрасно себя показала, а директор (заведующий) взялся на свой лад реформировать среднюю школу в «отдельно взятом посёлке».

Чтобы помнили!
(О М.С. Леоненко)

Несколько слов пора сказать и об известном и уважаемом семействе с фамилией Леоненко, по большей части, о его родоначальнике — Михаиле Самойловиче.

Михаил Самойлович был земским врачом. Сын его, Петр Михайлович, — тоже доктор, ставший со временем главврачом Красковской больницы, а позже директором крупнейшего клинического института МОНИКИ, поначалу ассистировал отцу.

Приведу лишь несколько выдержек из поздравительного адреса Михаилу Самойловичу Леоненко 2 ноября 1908 г. на десятилетие службы его в Красковской больнице:

Земские врачи — одни из немногих подвижников на русской земле. Имея возможность устроить свою жизнь в городе — среди его приманок и удобств для занятий наукой, — предпочли городу деревню, с ея тёмными, неприглядными сторонами. Непосильный труд, борьба с недоверием народных масс к науке, материальная необеспеченность — на всё это сознательно обрекает себя земский врач... Мы хотели бы, во-первых, выразить Вам свою глубокую благодарность и пожелать на долгие годы сил и здоровья для столь же славной деятельности, а во-вторых, прикрепить Вас к той земле, на которой Вы трудитесь, и с этой целью собрали меж собой скромную сумму, которая да поможет Вам создать в Краскове свой уголок.

А когда-то двадцатипятилетний специалист, выпускник медицинского факультета Московского университета, имея возможность остаться в Москве при Глазной больнице, сам попросил направить его в одну из земских больниц Московского уезда. Около трёх лет работал он ассистентом, затем штатным врачом в Мытищах. Но вот в 1898 году на границе Московского, Богородского и Бронницкого уездов, в селе Красково, решено было открыть новую земскую больницу, и уездный Санитарный совет избрал М. С. Леоненко её заведующим.

Начинали с больнички на 10 коек со штатом в пять человек: один врач — сам Михаил Самойлович, одна фельдшер-акушерка — его супруга Елена Константиновна, сиделка, кухарка и дворник. Что земский врач должен быть специалистом-универсалом, для теперешних читателей необходимо оговаривать: ведь всё — от выбора микстуры до операции — он делал сам. Телефонной же связи с городом не существовало,

и в Москву тяжелобольного не отправишь — несколько часов на бричке, да ещё в распутицу по нашим дорогам.

Михаил Самойлович, как известно, блестяще справлялся с хлопотной службой и всегда оставался верен клятве Гиппократа.

Вновь вернусь к тексту поздравительного адреса:

Не только медицинская помощь, но всё, что нужно для улучшения жизни крестьянства, находит у Вас и отклик, и инициативу. Укажем лишь на только что осуществившуюся великую Вашу мечту — загородную гимназию. Вами задуманное, Вами созданное, это огромное культурное дело вместе с Вашей больницей говорит о Ваших заслугах гораздо лучше и гораздо громче всех наших слов.

Поздравление подписали семьдесят человек: дворяне и разночинцы — медики, учителя, литераторы, священники, члены попечительского совета.

32 года — таков итог его славной деятельности в Красковской (Малаховской) сельской больнице.

Малаховская «Среда»

Возрождение былых духовных традиций, слава Богу, в Малаховке всё же началось.

Оно началось около двадцати лет назад с восстановления православной святыни — Петропавловской церкви. Возрождение храма накрепко связано с именем его настоятеля — Александра Ивановича Осипова. Следующий немаловажный шаг — возобновление в 1991 году издания местной газеты, того самого «Малаховского вестника», первый номер которого вышел в 1913 году. Почти в это же время в Малаховском Летнем театре начались первые концертные сезоны, которые и продолжались до тех пор, пока не поднялась чья-то преступная рука и не подожгла здание.

Хочется сказать много добрых слов о празднике на территории театра, проведённом попечительским советом по восстановлению Малаховского Летнего театра во главе с его председателем Вячеславом Губиным. До двух тысяч жителей посёлка пришло на праздник! Пожалуй, ничего подобного здесь начиная с 1934 года не было. Первый практический шаг к возрождению «малаховского образа жизни»!

Скоро отметит пятнадцатилетие клуб «Малаховская среда». Это не прямое продолжение Телешовских «Сред», но участники имеют перед собой блистательный образец из прошлого. Я думаю, что «Малаховская среда», как когда-то и Телешовская, есть «товарищеское объединение на почве любви к литературе» и вообще к искусству.

«Среди нас нет профессионалов, но все — увлечённые люди: литературой, музыкой, пением, словом, люди творческие. Своими увлечениями мы делимся друг с другом, это украшает нашу жизнь», — говорит организатор и практически постоянный ведущий клуба «Малаховская среда» Любовь Михайловна Ракова. По её же инициативе издаётся литературно-краеведческий альманах «Малаховка».

Здесь создан и Музей истории и культуры. Открывая совместно с «Малаховским вестником» историческую серию «Старая Малаховка» (в открытках начала XX века), сотрудники Музея первое издание предварили такими словами: «Только если все мы осознаем своё кровное родство с нашими предками, умевшими ценить то, что получили в наследство, способными рачительно относиться ко всему окружающему — будь то клумба у станции, тропинка в лесу или дренажная траншея вдоль дороги, — только тогда у нас как у человеческой общности есть будущее. Смотрите, завидуйте, гордитесь!»

Я же хочу остановиться на выездных клубных встречах. На двух из них — вечере памяти Николая Дмитриевича Телешова, проведённом

Домом журналистов, и на встрече в особняке на Покровском бульваре, 18/15, у внука Николая Дмитриевича Телешова, Владимира Андреевича, где «Малаховская среда» собиралась не один раз.

Вот что я писала тогда:

Малаховцев встретили очень тепло. Оказалось, устроители вечера знали и о «Малаховском вестнике», и о том, что газета наша первой объявила 1997-й год годом Николая Дмитриевича Телешова, и о «Малаховских средах» — тоже.

В Центральный Дом журналистов, что в Москве на Суворовском (Никитском) бульваре, мы приехали за полчаса до начала. Большой зал на 2-м этаже Домжура, флигеля бывшей усадьбы князей Голицыных, построенного в начале XIX века, заполнился к 18 часам почти до отказа. Запаздывал главный виновник торжества (пробки на дорогах в часы пик были тому причиной) — Владимир Андреевич Телешев, внук Николая Дмитриевича Телешова. Ему-то и был посвящён этот торжественный съезд гостей, как приглашенных, так и тех, кто случайно прослышал о готовящемся вечере памяти писателя (исполнялось 130 лет со дня рождения и 40 лет со дня смерти). Памяти когда-то весьма почитаемого и уважаемого (слава Богу, всё-таки не забытого и сегодня) известного русского литератора, общественного деятеля и просто замечательного человека...

«Телешовские Среды» — именно так назвали этот вечер его устроители, Международный Союз музыкальных деятелей и Шаляпинский центр. Думаю, не случайно этот вечер проводился в среду.

Разные люди пожаловали на торжество, и атмосфера в зале сложилась удивительно доброжелательная. Среди приглашённых были потомки бывших участников «Сред» — из семей Серафимовичей, Шаляпиных. К сожалению, не смогли приехать на вечер внучки А. М. Горького — Дарья и Мария Пешковы. Но зато присутствовали сотрудники музеев Бахрушина, Шаляпина, МХАТа, где Николай Дмитриевич Телешов сначала был научным сотрудником, а потом бессменным директором — до 1952 года, до 85 лет поднимаясь каждый раз пешком к рабочему месту на восьмом этаже...

Звучала музыка Вагнера — любимого композитора Николая Дмитриевича. Скромный букетик садовых гвоздик, привезённый внуком, украшал портрет писателя, тот самый, который был сделан дальневосточным художником Н. Кощевским. <...>

Вместе с кандидатом филологических наук Кларой Михайловной Пантелеевой мы окунулись в эпоху глубокого и блестящего прошлого. Мы прошли по страницам, пожалуй, самого главного его литературного труда, почти единственного документа эпохи — «Записок писателя», где немало страниц посвящено рассказу о литературных «Средах».

Ностальгическому настроению воспоминаний о писателе соответствовала и музыка: звучали Рахманинов, Чайковский, арии из опер, романсы, гремел голос Ф. И. Шаляпина. На сцену выходили студенты консервато-

рии. Отрывки из «Записок писателя» исполнял хорошо известный старшему поколению замечательный чтец Георгий Сорокин. Он же прочитал «Одиночество» Бунина, рассказ о знаменитом первом свидании-«сидении» К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в «Славянском базаре», где решено было создать МХАТ, и о первом спектакле — «Царь Федор Иоаннович», поставленном на сцене МХАТа 14 октября 1898 года.

Не обошёлся вечер памяти и без сюрпризов. Международный союз музыкальных деятелей и Шаляпинский центр, в лице их представителей Ю. М. Матвеева и Ю. И. Тимофеева, вручили Владимиру Андреевичу Телешеву памятную медаль в честь 850-летия Москвы. Идея награждения возникла в Шаляпинском центре. Б. Н. Ельцин подписал указ. Это не просто памятная медаль — она дана за значительный вклад в развитие культуры Москвы.

Сегодня, как и прежде, в доме 18/15 на Покровском бульваре продолжают собираться те, кто верит в возрождение идеалов передовой русской интеллигенции. Туда приходят почитатели талантов Бунина, Телешова, Шаляпина. Приезжают зарубежные друзья. Например, русские эмигранты из Харбина.

Небольшое сообщение о Малаховке Телешова сделали мы с Любовью Михайловной Раковой. Рассказ о Малаховке вызвал интерес. А главное, мы приобрели много друзей, желающих оказать посильную помощь в продолжении благородного дела, начало которому положил Николай Дмитриевич Телешов.

Об одной встрече «Малаховской среды» в особняке на Покровском бульваре, 18/15, написал на страницах «Малаховского вестника» поэт Александр Карамазов:

Как-то один мой друг высказался по поводу смерти своего дяди: «Странно, люди уходят, а их взаимоотношения остаются». Взаимоотношения ушедших, всплывшие из памяти, будто намекают на некоторую незавершённость, причастность к текущей сегодня жизни. Зачастую историю и характер взаимоотношений хранят сами стены дома... Подобные мысли занимали меня, когда мы, участники «Малаховских сред», знакомились с домом Телешова.

В ходе встречи была зачитана заметка из «Малаховского вестника», касающаяся Телешовских «Сред», причём "Те́лешовских" произносилось как "Телешо́вских".

И хозяин терпеливо несколько раз поправил: «Не Телешо́вских», и рассказал по этому поводу историю, произошедшую с художником Серовым:

«Когда после революции, буква «ять» была заменена на «е», т.е. могла читаться и как «ё», Серов сочинил двустишие: «Раньше звался я Серов. А теперь я — Сёров». Известно, — продолжал хозяин, — что Бунин не признал новую орфографию и до смерти продолжал писать с твёрдым знаком и

ятями. То же происходит с написанием фамилии Карзинкины, многие выводят корень от «корзины», хотя нужно от «карзы», что означает «люк, подвал».

С разными Малаховками мы знакомили друг друга — участники «Малаховских сред» и хранитель архива Н. Д. Телешова.

Малаховцы делились своими планами: «Хотим издавать свой альманах, но с тем, чтобы авторов не правили, не корёжили. В первый альманах войдёт неизвестная 21-я глава "Белой гвардии" Булгакова. Во втором номере хотим открыть рубрику "Жизнь замечательных людей Малаховки"»... Священник церкви Петра и Павла совершил подвиг, буквально «поднял» храм на Советской улице, бывшей Петропавловской. Видимо, к закладке мог иметь отношение и Телешов. В 1901 г. место было освящено, в 1903 г. прошли первые службы. При советской власти в храме была мебельная фабрика... И вот 95 лет спустя на храме воздвигнут крест и снова идут службы.

В связи с подготовкой альманаха к печати Любовь Михайловна Ракова, организатор «Малаховских сред», сказала, что готовящийся в альманахах материал будет прочитываться на «Средах».

Видимо, сами стены дома диктовали иное прочтение и иную (не линейную) увязку во времени. Про некоторые трудности, связанные с работой Телешовского фонда, Владимир Андреевич выразился таким образом: «Фонд держится на энтузиазме и... на бумаге, как при социализме». И вроде совсем без повода хранитель припомнил ставшую хрестоматийной шутку: «Когда актрису Яблочкину спросили на каком-то ответственном экзамене: "Что такое социализм?" она якобы ответила: "Это очень хорошо. Так хорошо, как... почти как при капитализме".

Хозяин подходит к шкафу:

— Здесь у меня всё по Малаховке... Целый шкаф, посвящённый Малаховке. Или вот на этой картине изображён телешовский дом, что находился на нынешней территории спортивного института. Комната, называемая бунинской, та, в которой гостил Бунин, бывая у Телешова, находилась на втором этаже; виден бунинский балкон.

Знакомство с «Малаховскими средами» продолжилось чтением произведений малаховских авторов. Один читал стихи. По поводу другого автора, Михаила Ермишина и прочитанного им рассказа «Счастливая Жанна», Владимир Андреевич выразился так:

— В рассказе есть прочувствованность женской природы. Это мне напомнило рассказы Андреева.

— Пока я не вышла из этого состояния, — откликнулась певица Елена Калашникова, — я спою романс.

Прозвучала «Чайка» Жураковского. Выстрел в чайку сравнивается с появлением в душе девушки нового чувства к ранее неизвестному человеку. Что-то подталкивало участников встречи на проведение подобных аналогий («Жанна» — Леонид Андреев — романс «Чайка»). Должно быть, не один я выстраивал в уголках подсознания такие ассоциативные ряды. Позже Ми-

хаил Ермишин рассказывал в кругу друзей: «Лена Калашникова была украшением нашей встречи. Её чудный голос устремлялся ввысь, так и хотелось сказать — к облакам, заставляя нас сдерживать дыхание. Кто-то предложил считать Леночку чудесным талисманом наших «Сред»...

По поводу прочтения А. Карамазовым «Смерти дерева» хозяин провёл параллель с забытым, но бережно сохраняемым в памяти, рассказом своего деда:

— Мне было 14 лет, т.е. это 1944 г... Николай Дмитриевич прочитал нам рассказ «Золотое сердце». Дело в том, что в рукописях я его не нахожу. В рассказе говорилось о том, что у жены некоего человека было «золотое сердце». Ему часто повторяли об этом. И вот, чтобы убедиться, он убил жену, разрезал ей грудь и достал сердце...

Небольшой по объёму рассказ «Дядя Миша», написанный от лица ребёнка, прочитал В. Нестратов.

И много ещё разного звучало в стенах дома Телешова, чего он явно не чаял услышать.

Штрихи к портретам

В галерее портретных зарисовок наших современников, подводя читателя ко дню сегодняшнему, мне хотелось протянуть ниточку духовности, которая неразрывно связывает нас с нашими предками.

Через много лет для наших детей и внуков важны будут не политические или экономические страсти, раздирающие современное общество, а переходящее из поколения в поколение общечеловеческое богатство — культура во всех её проявлениях.

Слова Н. Ф. Фёдорова об отсутствии благоговейных чувств к отдалённым предкам да и вообще к отцам, сказанные философом более ста лет назад и ставшие эпиграфом к моей книге, не потеряли своей актуальности и сегодня.

Но для того чтобы питать благоговейные чувства, надо знать свою родословную. А знаем ли мы? Думаю, что знание — скорее исключение, чем правило.

Не один год скрупулёзно собирал сведения и вычерчивал на огромном бумажном листе родословные древа двух известных московских купеческих семейств — Телешовых и Карзинкиных — Владимир Андреевич Телешев. Знание своих истоков помогает человеку неукоснительно соответствовать своей фамильной чести и её достоинству.

Но бывает и так, что документы утрачены, а старшие родственники умерли. И тогда чувство принадлежности к национальной культуре заменяет человеку историю его семьи. Тогда ощущение, что по тем местам, где так любишь ходить ты, когда-то ходили замечательные люди — поэты, писатели, художники, артисты — чьё творчество составляет общенародное достояние. Об этих людях и о тех, кто занимается их творчеством, мой рассказ.

Цветок неповторимый
(О Сергее Есенине)

Есенин к жизни своей отнёсся как к сказке. Он Иван-Царевичем на сером волке перелетел океан и, как жар-птицу, поймал за хвост Айседору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами, то, как из карт, раскладывал пасьянсы из слов, то записывал их кровью сердца. Самое драгоценное в нём — образ родной природы: лесной, среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве.

Борис Пастернак.

В последний год жизни поэт Сергей Есенин не раз приезжал в Малаховку.

Воспоминания об одной из таких поездок оставил Дмитрий Фурманов, автор известной книги о Чапаеве.

...Сижу, вспоминаю последние мои с Серёжей встречи. А прежде всех — самую наипоследнюю.

Пришёл он с неделю-полторы назад в отдел — мы издаём ведь его собрание сочинений, так ходил часто по этому делу.

Входит в отдел. Пьяненький, вынул из бокового кармана свёрток листочков — там поэма на машинке:

— Прочесть, что ли?

— Читай, читай, Серёжа.

Мы его окружили. <...>

Он читал нам свою предсмертную поэму. Мы жадно глотали ароматичную, свежую, крепкую прелесть есенинского стиха. Мы сжимали руки один другому, переталкивались в местах, где уже не было силы радость удержать внутри...

...Потом поехали мы гуртом в Малаховку к Тарасу Родионычу: Анна Берзина, Серёжа, я, Березовский Феоктист — всего человек 6–8. Там Серёжа читал нам последние свои поэмы: ух, как читал!

А потом на пруду купались — он плавал мастерски, едва ли не лучше нас всех. Мне запомнилось чистое, белое, крепкое тело Серёжи — я даже и не ждал, что оно так сохранилось, это у горького-то пропойцы! Он был чист, строен, красив — у него эти одни русые кудельки чего стоили! После купания сидели целую ночь — Серёжа был радостный, всё читал стихи...

А кто же такой Тарас Родионыч, к кому в Малаховку приезжал поэт?..

Вот что об этом рассказал на страницах «Люберецкой правды» литературовед Леонид Ермилов:

... Мне довелось, а может быть, посчастливилось несколько лет назад встретиться и беседовать с сыном Тарасова-Родионова — Виктором, который был свидетелем пребывания Есенина в Малаховке. У него — нелёгкая судьба сына «врага народа». Отца расстреляли в 30-е годы, а его самого, хотя сын за отца не ответчик, тоже репрессировали — он оказался в концлагере. Человек искусства, он и в лагере служил сцене: имея хороший голос, выступал в концертах для заключённых. Однажды встретился там с убийцей Зинаиды Райх — тот отбывал срок за «мокрое дело», получившее тогда известность в артистической среде. Оказывается, и такие встречи могут случаться.

Сам Тарасов-Родионов, на даче которого гостил Есенин, был следователем Верховного Революционного трибунала, потом литературным деятелем — ему и Фурманову незадолго до смерти поэт в Госиздате читал поэму «Чёрный человек», над которой работал два с лишним года, но опубликовать нигде не мог: редакторы почему-то её не брали. Из того, что рассказал мне Виктор, встаёт образ Есенина — нежного, ласкового и одновременно горестного.

Лето 1925 года — последнее в жизни поэта. Однажды вечером, когда гости вместе с отцом отправились на прогулку в малаховский лес, Виктор услышал, как вдруг залаяла во дворе собака: кто-то подошёл к калитке. Виктор увидел юношу, который спросил: «Дома ли отец?» Услышав отрицательный ответ: «Пошёл с гостями в лес», — юноша решил идти туда же. «Вас проводить?» — предложил свои услуги мальчик. «Найду сам», — ответил новый гость и пошёл по указанному направлению. Виктор незаметно последовал за ним. Юноша быстро нашёл тех, кого хотел увидеть. Его встретили радостными возгласами: «Серёжа приехал!» Когда все возвратились на дачу, постоловались ещё раз, встал вопрос, где Есенину (а это был он, очень моложавый на вид) разместиться на ночлег.

— У нас во дворе стоял сарай, на первом этаже которого была моя мастерская, на втором — небольшой сеновал, где я спал, — рассказывал Виктор. — Так вот Есенин решил, что ночевать будет на сеновале. Приезжал он к нам не один раз...

— Кто же с ним бывал в Малаховке? — спросил я. Услышав ответ, вспомнил есенинские строки:

Много женщин меня любило,
Да и сам я любил не одну,
Не от этого ль тёмная сила
Приучила меня к вину...

В Малаховке было и то, и другое. Гостевал на этой даче и Владимир Маяковский, возле которого, как вспоминает сын Тарасова-Родионова, постоянно вертелся человек в кожаной куртке. Кто это был, Виктор не зна-

ет. Однажды отдыхавшие на веранде гости попросили Есенина спеть свои стихи. Он ведь пел и под гармонь и под гитару, сам сочинял мелодии. Сергей Александрович взял в руки гитару и проникновенно, как умел исполнять свои вещи только он сам, с большим чувством спел одно из лирических стихотворений, продемонстрировав и большое актёрское мастерство. Присутствующие зааплодировали, безучастен был только Маяковский, который после паузы сказал всего лишь одно слово: «г....» Такой отзыв не только ошеломил Есенина, но и глубоко задел за живое. Расстроенный, он быстро вошёл в комнату, где на столе стояли напитки, «хватанул» одним махом наполненный стакан и вышел на веранду. Его стали успокаивать. Что было потом, Виктор не помнил. Но этот эпизод, видимо, был характерным во взаимоотношениях Есенина и Маяковского: хотя они тянулись друг к другу, что-то мешало им сблизиться.

Известно, что Есенин любил цветы, хорошо их знал — цветы присутствуют во многих его произведениях. Эту любовь он проявил и на малаховской даче. Как-то вечером, когда уже смеркалось, Виктор с братом шли по саду и вдруг увидели Есенина. Он стоял на коленях возле цветочной клумбы и, обхватив ладонями цветок, целовал его. Может быть, пришли к нему в этот момент его же строчки: «Цветы мне говорят — прощай», и он сам с ними прощался.

Оставил свои воспоминания о Есенине и хозяин малаховской дачи. Последний разговор Тарасова-Родионова с поэтом состоялся перед отъездом Есенина в Ленинград, в пивной, рядом с издательством, где тот должен был получить свой гонорар, как вышло, последний в жизни. Говорил тогда Есенин о двух женщинах, которых любил по-настоящему — Зинаиде Райх и Айседоре Дункан.

Есть ещё одно место в Малаховке, где бывал Сергей Есенин. Из мемуаров родного брата редактора газеты «Бакинский рабочий» П. И. Чагина — В. И. Болдовкина (цитирую по книге В. А. Вдовина «Факты — вещь упрямая»):

Летом 1925 года В. И. Болдовкин приехал в Москву, и в одну из первых встреч с Есениным у них произошёл такой разговор:

— Нам нужно с тобой, Вася, поехать к Шумяцкому, ты хотел меня с ним познакомить, он ведь долго был полпредом в Персии?

— Лет около трёх.

— Хочу обязательно с ним встретиться.

— Ну что ж, — отвечаю я. — Как-нибудь поедем к нему, он будет очень рад. На днях должен приехать в Москву Пётр, он его хороший приятель, вот все вместе и поедем.

Через несколько дней приехал брат в Москву, и каждый день мы встречались с Сергеем...

В одну из суббот (поездка состоялась в среду-четверг 24—25 июня 1925 года) после работы мы поехали в Малаховку, на дачу к Б. З. Шумяцкому. Вечерело. Сидели на веранде, пили чай. Оживлённая беседа, но Сергею и брату как-то было не по себе.

— Борис Захарович, чай да чай, — говорит брат, — уж очень холодный напиток.

— Нужно бы чего-то погорячее, а то вечер довольно прохладный, — говорит Сергей.

Шутка за шуткой, Борис Захарович говорит:

— Я-то человек непьющий, в доме горячих напитков не держу. А вам поделом, нужно было бы предупредить о своём посещении, здесь не город, скоро не найдёшь.

Старушка-няня, хлопотавшая за столом, лукаво улыбнулась и говорит:

— У меня есть немножко, чем попотчевать гостей. — Сергей вскочил со стула, взял няню под руку и стал с ней шушукаться. Через минуту он с ней пошёл в её комнату и явился оттуда сияющий, с бутылкой какой-то настойки, не то «перцовки», не то «дубняка».

— Прямо из-за образов святых вытащил. Вот и влага, которую воспел Хайям.

Беседа пошла более оживлённо. Уже за полночь. Хозяева оставляют нас на ночёвку, вряд ли мы успеем к поезду, а первый поезд в пять часов утра.

Всё же прощаемся. Пьём на посошок. Лидия Исаевна, жена Б. З. Шумяцкого, просит написать что-нибудь на память, Сергей пишет четыре строчки и поднимает бокал.

— До свидания, спасибо за проведённый вечер!

А теперь с любовью братскою
Пью за Лидию Исаевну Шумяцкую,
За чай без обеда
И мужа её — бывшего полпреда.

«Учитель, перед именем твоим...»
(О Виталии Вдовине и учителях)

Человек, о котором написан этот очерк, ушёл из жизни неожиданно рано, но оставил свой след не только на земле малаховской. Имя его — Виталий Александрович Вдовин. Отклик на его безвременную кончину я когда-то, в статье для «Малаховского вестника», назвала «Уходят наши мальчики». Мальчики моего поколения, поколения детей сурового военного времени.

...В детстве определяются основные черты взрослого человека.

Наше детство было голодным, холодным, военным. Мы вместе со взрослыми разделяли все тяготы. Что сохранила память из тех далёких тревожных дней?

...Скупое освещение закрашенных синей краской лампочек по вечерам. Заклеенные крест-накрест оконные стёкла. Ежедневные сигналы воздушной тревоги (с немецкой пунктуальностью в одно и то же время), возвещавшие об очередном налёте фашистов на Москву. Вырытые в каждом дворе спасительные бомбоубежища. Хлебные и продуктовые карточки и длинные (занимали с полуночи) очереди. Звучащие на полную мощность слова из уличных динамиков (чёрных тарелок), бросали в дрожь: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!»

Но что бы там ни было, мы учились. «Школа над оврагом» № 1 и школа № 5, построенная незадолго до войны, были заняты военными. Поэтому мы занимались в старой деревянном строении начальной школы, что на улице Советской. Учились в три смены. Первым освободилось здание школы № 5, и потому-то тогда ей присвоили первый номер. Кажется, это было в конце 1942 или начале 1943 года. А когда освободилась «школа над оврагом», ей достался пятый номер. Так они поменялись номерами.

В «школе над оврагом» во время войны был расквартирован 26-й гвардейский Висленский полк воздушно-десантных войск. Он был сформирован 12 декабря 1942 года в составе сформированной в эти же дни в первой люберецкой школе 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Почётное наименование — Висленский — 26-му полку было присвоено 1 сентября 1944 года за отличные боевые действия при форсировании реки Вислы и освобождении города Сандомир.

Зимы сороковых годов выдались на редкость суровыми. Ртутный столбик порой зашкаливал за минус 40 градусов. Школа не отапливалась. За партами сидели в пальто, платках, валенках. От стужи замерзали чернила, застывали пальцы. Всё время хотелось есть. Как радовались мы тоненькому, как тетрадный листок, ломтику ржаного хлеба, который получали на большой перемене. Как ждали этой минуты! И без сожаления расставались со своими драгоценными кусочками, когда, сложив их снова в буханку, несли заболевшему учителю.

Когда же наступали летние каникулы, в один ряд со взрослыми становились на уборку урожая: собирали картофель, свёклу, морковь, турнепс. Выполняли и другие работы. Приходилось вырубать и мёрзлые капустные кочаны, ездить на торфоразработки для школы. Детский труд наш получил высокую оценку. Мы были удостоены (спустя годы) правительственной награды — медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Учителя у нас были замечательные. Любовь к истории и литературе у нас от них. Благодарность к ним мы пронесли через всю жизнь.

Последние представители вымирающей старой русской интеллигенции.

Наикультурнейшие люди!

Яков Васильевич Васильев, учитель словесности. Сухой, как казалось нам тогда, излишне желчный старик, не только сам тонко чувст-

вовал, глубоко понимал и любил поэзию. Он ещё, как хороший актёр, умел донести эту любовь до наших сердец, приобщить их к таинству прекрасного. О роли его в своей поэтической судьбе многократно вспоминает известный поэт Николай Добронравов, тоже выпускник нашей школы.

Иметь даже «тройку» по математике у Петра Филипповича Фомина (Петруши, как звали мы его за глаза) было непросто. Ни один из его учеников не провалился на экзамене в вуз по его предмету.

По отличному ответу абитуриента на билет по химии безошибочно определяли его учителя. Имя Елизаветы Францевны Гурчинской было известно, пожалуй, во всех столичных институтах в наше время.

Но больше всего мы любили учителя истории. Владимир Алексеевич Протоклитов, первый малаховский краевед. На его уроках сорванцы и непоседы сидели смирно, слушали Владимира Алексеевича, затаив дыхание. Ему и прозвище дали какое-то ласковое — «Котик». Была у него привычка закрывать глаза во время объяснения урока. Но при этом он ухитрялся видеть всё, что творилось в это время в классе.

Добрейший и самый старенький из наших учителей — физик, Николай Мартынович. Преподаватель немецкого языка Зоя Александровна Дементьева... Наши учителя не только передавали нам свои воистину энциклопедические знания. Они учили нас быть интеллигентными и порядочными: своим поведением, своими манерами, своей речью. Никогда не позволяли себе унизить наше достоинство. Бывало, вместо грубого окрика покачает головой и скажет нашкодившему юнцу «дойчлерерин» Зоя Александровна: «Ну что же ты, дружочек!» — и тем обезоружит его. «Дружочек» от стыда не знает, куда глаза деть.

В восьмом классе в нашу школу № 1 пришёл Виталий Вдовин. Это было в середине 1940-х. Мы с ним учились в параллельных классах. Уже тогда он отличался от сверстников философским складом ума и какой-то удивительной целеустремленностью. Поставил цель — получить золотую медаль, и — получил. Мечтал поступить в университет. Поступил. И исторический факультет окончил с красным дипломом.

Когда все бывшие однокласники уже стали студентами, именно Виталию пришло в голову, как можно сохранить школьное братство. Он организовал Клуб любителей искусства, где все мы собирались. Просуществовал клуб года полтора. Встречи проходили у кого-нибудь дома: у Жени Саксоновой, Юры Малкина, Ирины Лебедевой. Готовились к встречам очень серьёзно. Каждый выбирал себе тему по душе. Кто-то — Шаляпина, кто-то Левитана, Серова. Я взяла Константина Симонова — тогда самого любимого нами лирика. Виталий же со школьных лет был очарован поэзией Сергея Есенина.

Говорят, кто-то из чиновников усмотрел нечто антиправительственное в наших встречах. Пришлось расстаться...

Позже мы с Виталием иногда перезванивались, виделись редко. Я знала лишь, что он преподаёт в университете и по-прежнему занимается исследованием творчества Есенина. И не более того. Скромным он был человеком.

На исторический факультет МГУ Виталий пришёл преподавать в 1960 году, до этого работал завотделом в Центральном архиве Октябрьской революции. В университете Вдовин читал общий курс истории России XIX века и спецкурс «Культура России XIX — начала XX века», общий курс по истории стран Азии и Африки, вёл семинар для дипломников и аспирантов по истории культуры, истории религиозных обществ начала XX века.

Театрал, большой любитель Театра на Таганке, он был в курсе жизни литературной богемы. Совершал многочисленные экспедиции со студентами и аспирантами по литературным и историческим местам. Каждый год — на родину Есенина. В 1975-м состоялась юбилейная экспедиция в Архангельск, в село Ломоносово. Вдовин читал лекции морякам на корабле в Холмогорах, в Архангельске, на Соловках. Вся его квартира была заставлена книгами. Работал на кухне. Все деньги тратил на книги, и все они были им прочитаны.

Значителен вклад Виталия Вдовина в науку. Он принимал участие в написании вузовских учебников по истории, был автором сборника документов по истории России, монографии «Крестьянский банк России». Это — не считая множества публикаций в разных газетах и журналах. А параллельно с историей российской он читал лекции о творчестве Сергея Есенина. Знаком был с сёстрами поэта, дружил с его сыном.

«Виталий Александрович — один из первопроходцев создания советской есенианы, — рассказывал Б. П. Евсюнин, один из исследователей творчества Есенина. — Опубликованные им материалы вошли во все ставшие академическими издания о Есенине. Он "нарыл" массу материалов. В эти издания статьи вошли не полностью, но в комментариях постоянно ссылаются на В. А. Вдовина. В. А. Вдовин — добросовестнейший исследователь творчества Сергея Есенина, выше многих других».

В 1975 году к восьмидесятилетию поэта в октябрьском номере журнала «Вопросы литературы» была большая публикация Виталия Александровича «Материалы к творческой биографии С. Есенина». Вот что писал сам В. А. Вдовин: «Среди материалов, составивших данную публикацию — атрибутированная мною статья Есенина, не вошедшая ни в одно из изданий поэта. Уставы некоторых творческих объединений, участником которых был Есенин в первые годы советской власти; анкета, заполненная поэтом; протокол собрания секции поэтов Московского Союза журналистов, у истоков создания которой, как показывают приводимые здесь документы, стоял Есенин. Не печатавшаяся в нашей

стране заметка Д. Бурлюка о встрече с Есениным в Нью-Йорке и письма Бурлюка к С. А. Толстой».

Из воспоминаний В. Е. Кузнецовой:

Впервые с Виталием Александровичем я познакомилась 20 сентября 1986 года в Москве на встрече есенинцев. Я впервые рассказывала о работе школьного есенинского музея. Тревожилась перед поездкой — получится ли общение деловое, ведь Виталий Александрович — историк, литературовед, работает в МГУ. Но оказалось, что в нём так много детского! Это верный признак незаурядной личности. Он не опускался снисходительно до детскости. Он умел общаться с детьми на равных: серьёзно, по-деловому, но понятным детям языком, с юным жаром души. Оставаться юными всю жизнь — это уникальное качество, свойственное большим, настоящим людям. Виталий Александрович учил ребят в работе быть к себе требовательными, каждый факт жизни Есенина доказывать документами, воспоминаниями, письмами современников. Не быть голословными.

Несколько слов из воспоминания о Вдовине В. Н. Полякова, кандидата исторических наук:

Впервые я увидел кандидата исторических наук, доцента Вдовина Виталия Александровича в 1965 году. Мы, несколько студентов третьего курса исторического факультета МГУ, записались к нему на спецкурс «Периодическая печать пореформенной России». В аудиторию вошёл высокий, плотный мужчина тридцати шести лет, с огромным сократовским лбом и необыкновенно мягкими добрыми глазами. В нём всё было красиво: и внешность, и одежда, и голос. Говорил он мягко, но убедительно. Он никогда не повышал тональность, не мучился в подборе слов для выражения своей мысли. Речь лилась как бы сама собой без томительных пауз, словно журчащий ручеёк. С первого занятия я был поражён широчайшим интеллектом, глубиной познания исторических событий и явлений, индивидуальностью в оценке той или иной исторической личности. С 1965 по 1987 год мы были связаны прочными узами ученика и учителя... Предметом особенного научного интереса для моего учителя был Сергей Есенин. Поэтому не случайно на могильном памятнике моего незабвенного Учителя выгравирована есенинская берёзка.

«Мой брат, — говорила его сестра Антонина Александровна, — всю свою жизнь занимался научной деятельностью, как историк, оставаясь верен литературе, особенно есениноведению, любовь к Есенину он пронёс через всю свою жизнь. Он был серьёзным исследователем жизни и творчества С. А. Есенина. По творчеству Есенина он опубликовал более 60 работ, но многое осталось и неопубликованным. В последние годы он

работал над большой монографией о Есенине, но работа осталась, к великому сожалению, незавершённой».

На подаренной В. А. Вдовину книге стихов Сергея Есенина Екатерина Александровна Есенина написала: «Борцу за честь автора этой книги...» Племянница Есенина, дочь Екатерины Александровны, Наталья Васильевна на книге «Воспоминания родных о Сергее Есенине» оставила такую надпись: «...другу семьи... от всего сердца». Младшая сестра поэта Александра Александровна на книге своих воспоминаний о Есенине «Родное и близкое» в унисон дарственной надписи Екатерины написала: «...борцу за общее дело».

В архиве В. А. Вдовина сохранились инскрипты Надежды Давыдовны Вольпин:

«Виталию Александровичу Вдовину с товарищеским приветом и дружеским теплом. Надежда Вольпин. М., 86 г.»

«Милому Виталию Александровичу Вдовину с уважением и добрыми чувствами. М., 21.04.87 г., Н. Вольпин», и поздравление от 6 мая 1988 года:

«Дорогая, дорогая Витенька! С праздником Великой Победы и в предвидении новых — внутренних побед!! Спасибо за неизменную память. Крепко-крепко Вас целую. Обнимаю. Люблю! И помню о Вашем большом мужестве и стойкости. Была бы рада повидаться».

Сохранился и буклет репродукций картин Аристарха Лентулова с дарственной надписью его дочери Марианны Аристарховны Лентуловой:

«Виталию Александровичу в память о нашем знакомстве и общих делах по розыску автографов».

Известный есениновед Евгений Наумов на подаренной Вдовину одной из своих книг написал: «...критику и Человеку».

В архиве рязанца Игоря Николаевича Гаврилова сохранились экземпляры машинописных копий писем Виталию Александровичу Вдовину. И. Н. Гаврилов написал 6 ноября 1975 года: «...кому ж, как не Вдовину, возглавить на родине поэта кафедру литературы и превратить её во всесоюзный центр притяжения всех есениноведов-биографов», и 5 марта 1979 года: «Когда же мы будем держать в руках Вашу монографию или сборник статей о Есенине? Не посчитайте за пошлый комплимент, но ведь в современном есениноведении крупнее Вас нет фигуры исследователя биографии Есенина. И основательнее».

Подводя итог, я приведу слова Владимира Цыбина, которые он написал на книге своих стихов: «Виталию Вдовину — доброму гению русской поэзии. Да хранит тебя Бог для России».

А Зиновию Паперному и прозы было мало:

Если б был я Людвиг ван Бетховен,
Никаких бы слов не говорил.
Я бы сразу Вам, Виталий Вдовин,
«Аппассионату» подарил.

Ваш З. Паперный с семейством

В. А. Вдовин был одним из создателей объединения народных есениноведов — общества «РАДУНИЦА».

Но тогда я этого не знала. Для меня он был всего лишь одним из однокашников, приятным в общении, милым и порядочным человеком.

...Когда Виталий ушёл из жизни, проводить его в последний путь приехали университетские преподаватели, аспиранты, студенты. От них я впервые услышала, что наука в лице Виталия Александровича Вдовина потеряла большого учёного широкого диапазона. «Он как свеча сгорел!» — говорили его университетские друзья.

О Вдовине — учёном, есениноведе и историке, человеке чести — еще много можно рассказать, вспомнить, и такие воспоминания непременно появятся. Некоторые мне удалось записать.

«Помню его, двадцатисемилетнего голубоглазого блондина с ослепительной улыбкой, — вспоминает завкафедрой Владимир Александрович Фёдоров. — Было в его жизни много интересного. Но и вспоминая это интересное, Виталий всегда говорил не о себе, а о людях, которые его окружали. Его никогда не видели унылым. В голове целая библиотека. Студентам было с ним очень интересно, он сообщал им такие вещи, о которых они нигде больше не могли узнать. Ради работы бросал всё. Дать обещание и не выполнить? За ним такого просто не водилось. Человек этики. Пример этики. Он был одним из самых опытных преподавателей. Велика утрата для кафедры».

Интеллигентность и порядочность были основными качествами Виталия Вдовина. Он был незлобив, всегда с доброй улыбкой, с желанием помочь каждому. «Люди открыты один для другого», — учил Виталий своих студентов. Он очень любил их, и был любим.

Быть учёным, чьё мнение настолько авторитетно, быть Учителем, о котором помнят долго, светло и с почтением, дано не каждому. Виталий Александрович оставил такой след в душах своих учеников. И недаром вспоминается Н. А. Некрасов:

Учитель!
Перед именем твоим
Позволь смиренно
преклонить колена!
Ты нас гуманно
мыслить научил!

Память о Вдовине жива в сердцах его коллег. Осенью 2004 года в Москве, а затем в селе Константиново Рыбновского района Рязанской области проходила Международная научная конференция «Наследие Есенина и русская национальная идея: современный взгляд». Среди принявших участие в столь основополагающем разговоре были гости из Франции, Азербайджана, Польши, Латвии, Украины, Москвы, Сарато-

ва, Пензы... На секции «Времён связующая нить» выступила и внештатный корреспондент газеты «Рязанские зори» Г. П. Иванова. Её выступление было посвящено памяти есениноведа В. А. Вдовина: «В плеяде видных российских исследователей и пропагандистов жизни и творчества С. А. Есенина особое место занимает историк и литературовед Виталий Александрович Вдовин... Он был необыкновенно доступен, он предлагал свою помощь, как будто это ему было надо. К нему можно было обратиться с любым вопросом в любое время, не опасаясь помешать, оторвать от его собственных дел, и он не просто консультировал, он не отсылал к необходимым источникам, а сам включался в исследование и выдавал готовый результат. Это было тем более ценно, что не было в есениноведении специалиста более глубокого и основательного».

...Занимаясь историей появления Сергея Есенина в Малаховке, я в какой-то момент задалась вопросом: а не бывала ли здесь и Айседора Дункан? Говорят, бывала. Говорят, не обошла вниманием сцену знаменитого Летнего театра. Но мало ли, что говорят...

У кого бы спросить? Может, Виталий знает?

Я задала ему вопрос. Он обещал посмотреть в своих записях, но при этом обнадёжил: якобы располагал сведениями, содержавшимися, по его словам, в одном из переводных материалов с английского.

Не успел...

Лучших людей рождает провинция!»
(О Викторе Бокове)

Мои стихи не сочиняются,
Суть в том, что их душа поёт.
Они во мне всегда рождаются,
Их кто-то свыше подаёт.
Виктор Боков

До начала Отечественной войны маленький очаг «малаховского образа жизни» продолжал теплиться в доме Леоненко. Михаила Самойловича уже не было в живых. Благородное дело его продолжал сын, Петр Михайлович Леоненко.

Вот что рассказал мне о духовной атмосфере, царившей в доме Леоненко во второй половине 30-х годов XX века, Виктор Фёдорович Боков, известный поэт-частушечник и песенник, хранитель русских фольклорных традиций.

Будучи ещё совсем молодым студентом Литинститута, он познакомился с сёстрами Валентиной и Надеждой. Их отец, журналист, был знаком со Львом Толстым, бывал у него в Ясной Поляне. Надежда Давыдовна

была замужем за ответственным работником, кажется, заместителем министра лёгкой промышленности. Валентина была супругой Петра Михайловича Леоненко, видного врача-хирурга. Ещё вспоминает Боков дочь Леоненко, девочку-подростка Беллу.

Молодой Боков стал бывать в этой семье в Москве, но чаще приезжал в Малаховку. Из бывавших в доме гостей он вспоминает Давида Ойстраха и скрипача Фейгина, сына известного в Малаховке детского врача. Вениамин Лазаревич получил высшее медицинское образование в Германии. Его, бывало, вызывали на консультации и в Москву. Память Бокова хранит и образы поэта Александра Безыменского, адмиралов флота, профессора Марии Александровны Рыбниковой, преподававшей в Малаховской гимназии, составителя школьных хрестоматий по литературе. Она же читала в Литинституте курс лекций по стилистике.

Вся семья Леоненко, включая двух сестёр, Валентину и Надежду, и самого Петра Михайловича, обожали талантливого юношу. «Был очень балуем, — улыбается Виктор Фёдорович, — оберегали они меня... Сижу, в саду на скамейке, пишу... и — чтобы шуму никакого...»

Спрашиваю, нет ли строк в его стихах того времени, посвящённых Малаховке или малаховским друзьям? «К сожалению, нет. А вот эпиграмма одна была».

Автор читает её, но воспроизведению на бумаге противится. История же появления дружеской эпиграммы такова. Как-то во время танцев произошёл конфуз: поэт Александр Безыменский наступил даме — хозяйке дома Валентине — на ногу. Вот тогда-то и пошутили друзья над неудачным танцором.

Увы, война, армия, эвакуация, арест, пять лет в лагере прервали дружбу поэта с семьёй Леоненко. Остались лишь давние приятные воспоминания...

Лучших людей рождает провинция!
Там крапива растёт без идей!
Уж такая сложилась традиция
Там готовить толковых людей...

Утверждение поэта, что провинция является для России поставщиком талантов, относится и к самому автору этих строк, лауреату государственных премий Виктору Бокову. Подарила России Бокова деревня Язвицы близ Сергиева Посада. Семейство Леоненко сумело увидеть и оценить незаурядный талант в деревенском пареньке, студенте Литинститута.

Стихотворение «Лучших людей рождает провинция» вошло в юбилейную книгу поэта «Жизнь — радость моя», вышедшую в московском издательстве «Эллис Лак» в 1998 г. «Легендой XX века» назвала его в

предисловии известная поэтесса Лариса Васильева за «мощную силу самовыражения, страстность и долголетие». Книга увидела свет накануне 85-летия поэта. Сегодня поистине народный поэт Боков перешагнул свой 90-летний рубеж.

Моя поэзия не крадена,
Не списана ни в коем случае!
Она на русской печи прадеда
Сушила сапоги с онучами.
Моя поэзия — не паинька
И не растение тепличное,
Хулите! Но она останется,
Она к земле родной привинчена!

И добавляет – в одном из прозаических отрывков:

Малая моя Родина — место, где я родился, где нашёл свой первый гриб, где поймал первого своего окуня — деревня Язвицы Сергиево-Посадского района, Московской области. Это в двадцати километрах от Троице-Сергиевой лавры...

Большая моя Родина — вся Россия, все люди, с которыми сталкивала меня жизнь, которым я отдавал часть своей души и брал у них то, что нравилось самому!

Солдат великой армии защитников Отечества в 1941-м, заключенный в 1942-м, он говорит сегодня: «Я Русь родную не оставлю, хотя и каторжником был». Не озлобился, не очерствел... А как живётся ему в наше смутное время? Поэт со свойственным ему чувством юмора и большим оптимизмом говорит: «Терплю жизнь!»

Меня признали — Пастернак и Пришвин,
Андрей Платонов, а ещё — народ.
Под веткой наклонённой старой вишни
Ко мне стучится слава у ворот.
Что там ни говори — пришла поздненько
И потому чуть-чуть она горька...
Но я ещё хожу землей резвенько,
И рифма у меня, как кнут, звонка.

Таков поэт, поющий вечную славу русскому трудовому человеку, пишущий ясные, простые стихи. «У него незалитературенная речь», — так отзываются о поэзии Бокова его собратья по перу. Особенно он известен и любим как поэт-песенник. Их у него более ста пятидесяти. «Оренбургский пуховый платок», «На побывку едет», «Белый снег», «Я назову тебя зоренькой»... Многие его песни стали истинно народными. Это ли ни самая высокая награда для автора!

Мы привыкли слушать песни Виктора Бокова в исполнении Людмилы Зыкиной, Александры Стрельченко, Ольги Воронец, Анны Литвиненко. Есть ещё одна прекрасная исполнительница боковских песен — заслуженная артистка России Елена Калашникова. Её творческое содружество с народным поэтом России Виктором Фёдоровичем Боковым прошло испытание временем.

Я пишу о Лене уже много лет. Мне посчастливилось бывать не однажды на юбилейных и творческих вечерах поэта и певицы. И каждый раз в праздничной атмосфере зала восхищённые зрители задавали один и тот же вопрос: почему же настоящему таланту, да ещё с русским народным репертуаром, практически невозможно появиться на нашем телеэкране? Не жалует таких исполнителей наше независимое телевидение, обрекающее нас на музыку из двух нот и песни из двух слов, на вопли самовлюбленной посредственности.

А меж тем ушёл из жизни друг и первый соавтор Виктора Фёдоровича феноменально талантливый Григорий Пономаренко. Ушёл в мир иной и композитор Александр Аверкин. Ему было всего 17 лет, когда он написал музыку к стихотворению Бокова «На побывку едет...».

«Сегодня нет русского композитора. Полурусский мне не подходит, — с сожалением заявляет поэт. — Пришлось браться самому. Знаю многие музыкальные инструменты. Знаю многие народные песни. Могу спеть песни воронежские, рязанские, сибирские...»

Переложить мелодию помогает ему Лена. Когда в одном из красивейших уголков Подмосковья с таинственным названием Барвиха проходила очередная встреча с заслуженной артисткой России Еленой Калашниковой, приехал туда и Боков. Лена исполняла песни на его слова, и трудно порой было различить, где песня старинная, народная, где авторская, боковская. И вдруг неожиданно зал замер под звуки знакомого раздольного напева русской народной песни — «Летят утки и два гуся, кого люблю не дождуся». На два голоса повели песню Лена и Виктор Фёдорович. Певица спустилась со сцены, села рядышком с Виктором Фёдоровичем, и они вместе запевали теперь уже его песню «Роса на землю катится с береговых ракит». Зал не скупился на аплодисменты.

На музыкально-литературном вечере в ЦДРИ Виктру Бокову, когда-то тяготившемуся неизвестностью, зрители кричали «Бис!» даже с подоконника, а по залу катилось троекратное «Ура!». На встречу с поэтом пришло столько почитателей его таланта, что людям, кому не досталось места, пришлось более трёх часов (столько продолжался вечер) простоять вдоль стен, в холле за открытыми дверями. Люди выражали своё почтение и благодарность «чародею слова» за русскую песню, за то, что всё становится поэзией, к чему бы он ни прикоснулся, — стихи, песни, частушки.

«Я не пишу идейных песен, — говорил Боков, — но когда меня спросили, какая идея в песне “Оренбургский пуховый платок”, я ответил: дети остаются вечными должниками своих родителей. Быть не свиньёй — великая идея жизни».

На том же вечере в ЦДРИ Елена Калашникова впервые исполняла песни, в которых Виктор Боков выступил как автор и стихов, и музыки.

На заре, на зорюшке
Да во чистом полюшке.
На заре на утренней
Кони клевер спутали... —

пела Лена, а публика аплодировала ей под выкрики: «Браво!»

«С Леной я очень дружу, ей единственной доверил песни, музыку к которым пишу сам. Сегодня пошлость на эстраде. Там нет народной песни. Песня — душа народа, великая душа русского человека», — говорит Боков.

К сказанному о Бокове хочется добавить, что Виктору Фёдоровичу в его насыщенной, даже перенасыщенной, творческой жизни пришлось выступать и как актеру кино. Только об этом я узнала не от самого Бокова, а из очерка писателя Ю. Грибова о писателе Г. Маркове. Вот что рассказал ему о своём «актёрстве» Виктор Фёдорович: «В артисты меня сам Георгий Макеевич определил. Ты, говорит, балалайкой владеешь, бороду тебе приклеим, и будешь вылитый Федот, побывавший под Цусимой на японской войне. Я ещё у него во “Второй весне” кузнеца играл...». А Федота Боков сыграл в экранизации романа Г. Маркова «Строговы».

На творческий вечер Елены Калашниковой в ЦДРИ приехали друзья из Малаховки. Боков в Малаховке — личность известная и почитаемая.

Жизнь — ужасная штука,
Если о ней помыслить...
То захотят повесить,
То захотят повысить,
То тебя — в генералы,
То тебя — в рядовые,
То тебе гонорары,
То тебе чаевые.
То тебя в Гамбург и Дрезден,
То тебя — наоборот,
Сунут в какую-то бездну,
К жабам полесских болот.
И всё-таки, жизнь — это чудо,

А чуда не запретишь!
Да здравствует амплитуда —
То падаешь, то летишь!

В. Боков

«Любовь моя — поющая Россия»
(О Николае Калинине)

Человек, о котором я собираюсь рассказать, родился и вырос рядом с Малаховкой — в Краскове.

Николай Николаевич Калинин (1944–2004) — знаменитый музыкант, художественный руководитель одного из лучших коллективов не только в отечественной, но и в мировой культуре, Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова. Теперь его уже нет; но тем тщательнее храню в памяти эпизод знакомства с ним, тем больше хочу рассказать о замечательном мастере.

...Договариваюсь с маэстро о встрече, еду на «Маяковку», в Зал им. П. И. Чайковского. Здесь обычно проходят репетиции оркестра. Предстоит открытие сезона. Время репетиции закончилось, но она продолжается в кабинете руководителя. Наверное, он сильно устал, но на вопросы музыкантов отвечает доброжелательно, спокойно, с искренним желанием помочь.

В ожидании разговора становлюсь свидетелем тяжёлых будней руководителя большого творческого коллектива. До предстоящего концерта во Дворце съездов ещё около трёх недель, но уже сегодня тщательно обсуждаются все его детали. Кому-то нужна поддержка или рекомендация для присвоения звания. Звонок из Татарстана, из Ижевской филармонии, от директора Брянского оркестра. Николай Николаевич Калинин — член комиссии по государственным премиям в области литературы и искусства при Президенте Российской Федерации, председатель Всероссийского музыкального общества. К нему очень многие обращаются за помощью.

В перерывах между звонками задаю вопросы, стараюсь быть как можно конкретнее, дабы не отнимать у маэстро много времени.

...Детство Коли прошло вдвоём с мамой Зоей Васильевной. Отец погиб на фронте ещё до рождения сына. Мама была учительницей, работала в Перовской школе. Вела уроки физкультуры, была мастером спорта по художественной гимнастике. Всю мужскую работу по дому делал Коля: надо было воды наносить из колодца, напилить и наколоть дров для печки. Мама и сегодня живёт в том же домике с удобствами на улице. Только теперь печку топить не надо, газ подвели.

Окончил Коля Калинин Красковскую среднюю школу № 1. А до того была «Черногубка». Так называли начальную школу. Она состояла из нескольких разбросанных по посёлку строений, где насчитывалось около 700 школьников, и обучались они в три смены. Попечителями одного из строений, как я уже упоминала, были супруги Телешовы. Коля бегал в то здание, что находилось неподалёку от Владимирской церкви. А почему «Черногубка»? Оказывается, более тридцати лет, начиная с конца XIX века, в земской школе учительствовала дочь Почетного гражданина Мария Константиновна Черногубова.

Когда-то в нашей стране ежегодно проводились всесоюзные парады физкультурников. Они проходили на стадионе «Динамо», «Лужников» ещё не было. В парадах принимала участие и Колина мама. Когда Коле исполнилось 10 лет, Зоя Васильевна решила вывести на парад колонну школьников. Подготовка детей сборной проходила на территории ЦКШ, Центральной комсомольской школы в Вешняках.

Калинин вспоминает:

Туда приехал ансамбль Локтева. Позже я сказал маме: давай попробуем поступить в ансамбль. Мы пришли в Дом пионеров, меня прослушали. Поступил в хор. Стал солистом. Начал учиться играть на ударных инструментах. Поступил в музыкальную школу. Перед оркестром выходил, запевал «Марш москвичей», «Песню о Ленине». В 1958 году на Мосфильме снимали кино «Концертная программа ансамбля Локтева». После этого выдали зарплату. Мы купили первую в истории нашей семьи люстру. До сих пор, как реликвия, она висит в маленькой комнатке.

1950-е годы для Коли Калинина, как и для многих его сверстников, были овеяны романтикой юности с красными пионерскими галстуками.

«Я, юный пионер Советского Союза, вступая в ряды пионеров, торжественно обещаю, что буду всегда стоять за дело рабочего класса...»

Отрядные сборы, песни у костра, жаркие обсуждения детских проблем. Следуя гайдаровским героям, он вместе с друзьями создаёт тимуровскую команду. Помогают престарелым и беспомощным людям: носят из колодца воду, пилят и рубят дрова. Выступают с концертами в детских садах и школах. А во дворе — свой театр, дворовый. Сами писали пьесы, сами ставили, сами играли...

Они учились и трудились для чего-то большого и хорошего. С благодарностью вспоминает и Николай Николаевич своё красковское детство, школьную дружбу, общественную работу. Пионерию. Комсомол. Уже тогда, в той детской жизни у него складывались черты лидерства: председатель совета дружины в начальной школе, потом в семилетке, секре-

тарь комсомольской организации. Он, будучи учеником старших классов, года два учил детей пению, поскольку учителя-«предметника» в школе не было. Если кто-то забывал ноты или ещё что к уроку, обязательно требовал у провинившегося дневник. Ему и прозвище такое дали: «НикНик, дай дневник!»

Путеводной звездой всегда была музыка. Музыкальные способности его обнаружились в пении: в хорах детского сада, школы. В школе Калинин организовал свой хор — в клубе силикатного завода.

В 12 лет Коля впервые встал на дирижерское место. На детском фестивале в Чехословакии возглавил сводный пионерский ансамбль. В 15 лет он организовал и возглавил свой первый музыкальный коллектив — Московский молодёжный оркестр русских народных инструментов при известном детском хореографическом ансамбле «Школьные годы» Дома культуры автомобилистов. Руководил им в течение двадцати лет. «Молодёжному оркестру под руководством Николая Калинина непросто было поднять большую, сложную и благородную тему любви к России. Но успех оказался очевидным!» — писали газеты. Наблюдая за творческим ростом молодёжного оркестра русских народных инструментов, пресса отмечала его способность быстро реагировать в своих программах на важные, актуальные события современности.

По путёвкам комсомола молодёжный оркестр во главе с Калининым побывал на многих ударных комсомольских стройках Сибири и Дальнего Востока.

В течение 10 лет Николай Калинин был музыкальным руководителем международных фестивалей и праздников, проводимых ЦК ВЛКСМ. Несколько лет он был музыкальным руководителем и дирижером Красноярского ансамбля танца Сибири. Он — лауреат многочисленных премий и конкурсов оркестров народных инструментов, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. Успешно окончив Московскую государственную консерваторию по классу ударных инструментов, он всё же решил посвятить себя профессии дирижёра. С 1979 года народный артист России, профессор Николай Николаевич Калинин стал художественным руководителем и главным дирижёром оркестра им. Н. П. Осипова.

Любовь к русской песне, народным мелодиям была у него с детства. Превратившись в сказочные неповторимые голоса домр, гуслей, балалаек, она стала творить чудеса:

Вдруг радость у каждого в сердце разбудит,
и душу любого из нас растревожит,
и словно другими становятся люди:
добрее, счастливее, ласковей, строже,

— так в книге отзывов кто-то из восторженных зрителей выразил состояние своей души во время выступления прекрасного оркестра.

Между прочим первый концерт Первого Московского Великорусского оркестра народных инструментов состоялся в московском саду «Эрмитаж» 16 августа 1919 года. Этот день коллектив и считает своим днём рождения. Первыми руководителями были Петр Алексеев и Борис Трояновский. Впоследствии оркестр стал носить имя выдающегося музыканта и дирижера, виртуоза-балалаечника Николая Петровича Осипова. К слову, Н. П. Осипов часто бывал в Малаховке на даче у В. Р. Петрова, знаменитого баса Большого театра.

Оркестр поначалу состоял из маленьких домр и балалаек. Многокрасочные тембровые баяны, духовые инструменты симфонического оркестра появились позже. Теперь каких только инструментов там нет — «от ложки до гармошки». Домры от самой маленькой (пикколо) до самой большой; балалайки альтовые и басовые; гусли щипковые и звончатые. Ударные инструменты, всевозможные гармоники, гобои, владимирские рожки, флейты в форме животных, рыб, птиц.

Сегодня оркестр им. Н. П. Осипова называют национальным достоянием нашего народа, а за рубежом — «визитной карточкой России».

Через некоторое время после интервью я присутствую на первом концерте сезона. Встречи по четвергам — и вот она юбилейная, десятая. Зрительный зал полон. Свободных мест нет. Молодые, пожилые, юные любители музыки, ветераны с орденскими планками — такое искусство, объединяющее поколения. Это радует. Люди истосковались по хорошей музыке, по хорошей песне.

На сцене всё торжественно и красиво: расположение оркестра, цветовая гамма костюмов. Они как бы воспроизводят последовательно цвета российского флага — красный, голубой, белый.

Дирижёр берёт в руки дирижёрскую палочку.

Зал замирает.

Мгновение — и маэстро, весь поглощённый красотой мелодии русского напева, переносит её настроение в зрительный зал. По ноткам дарит её каждому, погружает в мир сказочный и неповторимый. Вот чуть слышно, откуда-то издалека, раздаётся перезвон колоколов. Он звучит всё сильнее. Мелодия захватывает, уводит в волшебный мир. Последний аккорд... Оркестр замирает, но зал ещё живёт музыкой. Чудодейственная палочка дирижёра застывает в воздухе, а на лице его счастливая улыбка. Восторг зала описать невозможно: шквал оваций, крики «бис», «браво» — и цветы, цветы, цветы. А в заключение вечера зрители, захваченные общим порывом, встают и очень долго не отпускают музыкантов, заставляют их играть ещё и ещё. Маэстро поворачивается лицом к зрителям и начинает дирижировать их дружным прихлопыванием в такт музыке...

Не видела, чтобы кто-то из зала вышел до того, как оркестранты покинули сцену.

Под руководством Николая Калинина оркестр сохранял и развивал лучшие традиции народной музыки, песни и исполнительского мастерства. Русское народное инструментальное творчество музыканты пропагандировали в самых различных аудиториях.

Вот что говорил сам Николай Николаевич:

Вокруг оркестра имени Осипова сегодня объединились все силы народной музыки, как инструментальной, так и вокальной, фольклорной. Сегодня, к сожалению, процветает попса самого скверного толка. Шоу-бизнес может раскрутить, как у них считают, до звезды практически любого. Безголосого. Знаю, как всё это делается. Можно одну музыкальную фразу записывать в течение недели по нотке. Сейчас такая электроника, что, не умея петь, не имея слуха, можно записать компакт-диск, сделать клип. Крутить по телевидению, имея деньги, по 24 часа в сутки. Коммерциализация искусства разрушительна. В то же время ни один оперный театр, симфонический оркестр, хор, классический или народный никогда себя не окупят. Безусловно, должна быть забота государства о сохранении традиций нашей культуры. Мы говорим о задушевной народной песне, русском романсе... Однако уже десятилетие, как народные инструменты перестали звучать на радио и телевидении...

О том, как сегодня нужна государственная поддержка, забота государства о сохранении традиций нашей культуры, говорилось когда-то и в одной телевизионной программе на канале «Культура», тема которой была «Музыка и власть». В беседе принимал участие Н. Н. Калинин, а также другие известные дирижёры и композиторы.

Участники встречи сошлись во мнении, что сегодня классическая музыка востребована в меньшей степени, чем раньше. В прошлые годы классика звучала чаще, занимала приоритетную позицию — это заметно даже на государственном уровне: ни один правительственный концерт не обходился без целого ряда всемирно известных произведений прошлого. И, конечно, нынешняя развлекательная «продукция» зачастую — ужасающего качества.

Показательный пример. У одного пятиклассника спросили, кто такой Бетховен. Он, немного подумав, ответил: «Собака!» Ребенок знает лишь фильм о собаке, которую звали Бетховен.

«Всё, что должна делать власть, мы делаем сами. Объединяем Россию вокруг оркестра, — сказал тогда Николай Николаевич. — Русские песни, музыка сплачивает народ, страну. Воспитательная и просветительская роль её необходима».

Вокруг оркестра он стремился объединить и школьников. На концертах для детей и юношества знакомил их с народными инструмента-

ми, гордился молодыми талантами. В зрительном зале на концерте «От ложки до гармошки» я видела даже малышку лет четырех. А возвращаясь со «встречи по четвергам», спускаясь по эскалатору в метро, оглянулась, услышав: «Забавный концертик!» Это произнёс подросток лет 14-ти. Видимо, он с другом попал в Зал Чайковского случайно... Но не ушли ведь, остались до самого конца?! Это уже о чём-то говорит.

Отдавая себя целиком служению народному искусству, Николай Николаевич Калинин добился всеобщего признания. В коллективе для него «каждый талантливый музыкант — как прекрасный цветок, обладающий только ему присущим ароматом и формой». Николаю Николаевичу Калинину принадлежала идея каждый год собирать в одном концерте певцов, исполняющих народную песню. Программа эта получила название «Любовь моя — поющая Россия».

Он был награждён медалями и орденами. Получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Когда в 1999 году оркестр им. Н. П. Осипова отмечал свой 80-летний юбилей, его руководитель отметил сразу несколько знаменательных дат: 40 лет творческой жизни, 20 лет — в именитом коллективе и 55 прожитых лет. «Я счастлив, — говорил он, — что судьба определила мне отдать себя служению народному искусству, что у меня есть музыка и вы. Мне радостны ваши улыбки и тревожит ваша печаль... значит, мы вместе».

Живёт и звучит народная музыка, живёт и любовь к ней. И будет жить, «какие бы времена ни носили по Руси шальные ветры».

...Как русский прощальный плач, прозвучало исполнение Людмилой Зыкиной песни Аверкина «Падают листья» на слова Виктора Бокова в концертной программе «Юбилей маэстро», посвященной 60-летию Николая Николаевича Калинина, до которого самому маэстро дожить не довелось.

«Тихо и незаметно ушёл он в небытие 6 июня 2004 года, ушёл, как жил, скромно, с глубоким достоинством и верой в свой великий народ и свою страну», — писали газеты о вечере памяти на сцене столичного Концертного зала имени П. И. Чайковского.

Малаховские берёзки в московском гимне
(о Сергее Аграняне)

«Я люблю подмосковные рощи...»

Вам, конечно, хорошо знакома эта поэтическая строчка.

Она из любимой нами песни о Москве, ставшей в 1995 году официальным гимном столицы.

«“Гимном города Москвы” является музыкально-поэтическое произведение, созданное на основе песни Дунаевского И. О. на стихи Лисян-

ского М. С. и Аграняна С. И. “Моя Москва”», — гласит законодательный документ за подписью мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова.

Гимн «Моя Москва» — о столице, а «подмосковные рощи», кто не знает, — малаховские. При чём здесь Малаховка, спросите вы?

Но сначала об истории создания самой песни. Её поведал известный музыковед, неутомимый собиратель и исследователь военной песни Юрий Евгеньевич Бирюков.

Осень 41-го. Фашисты рвутся к Москве. В эти дни в журнале «Новый мир» появляется стихотворение мало кому известного тогда молодого поэта-фронтовика, младшего лейтенанта Марка Лисянского. А весной 42-го художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Центрального Дома культуры железнодорожников Исаак Осипович Дунаевский, прочитав это стихотворение в вагоне агитпоезда, тут же, прямо на полях журнала записывает мелодию к понравившимся словам. Стихотворение состояло из двух строф. В основу песни ложилась только первая строфа, с хорошим песенным началом и запоминающимся рефреном:

Я по свету немало хаживал,
Жил в землянке, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но Москвою привык я гордиться
И везде повторял я слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

У комбайнов, станков и орудий,
В нескончаемой лютой борьбе
О тебе беспокоятся люди,
Пишут письма друзьям о тебе.
Никакому врагу не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

«Комбайны, станки и орудия» из контекста явно выпадали. Нужна была ещё строфа, и не одна.

Незнакомого автора найти было нелегко — шла война. Песенных друзей-соавторов композитора В. Лебедева-Кумача и М. Светлова война разбросала по разным фронтовым дорогам. Тогда Дунаевский обращается за помощью к режиссеру, любимцу Ансамбля, «замечательному парню», как назовёт он его потом в одном из своих писем — Сергею Ивановичу Аграняну, с которым в первые месяцы войны он написал уже не одну

песню: «Бей по врагам!», «Песня о 62-й армии» и другие. И Агранян написал остальные строфы песни о любви к прекрасному городу, о любви к подмосковной природе:

Я люблю подмосковные рощи
И мосты над твоею рекой,
Я люблю твою Красную площадь
И Кремлевских курантов бой.
В городах и далёких станицах
О тебе не умолкнет молва,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Первая исполнительница этой песни — солистка ансамбля М. Л. Бабьяло — рассказывала: «Мы выступали перед бойцами, которые уезжали на фронт. Я очень волновалась. Трудно было сдержать слёзы. Вот отзвучали последние аккорды. Что творилось! Пять раз подряд мы пели эту песню».

А в 1943 году ансамбль под руководством И. О. Дунаевского впервые исполнил эту песню на концерте, где присутствовало правительство. Говорили, что Сталин как-то спросил одного из секретарей Центрального Комитета: «Почему такая прекрасная песня не звучит по радио?» В радиокомитете срочно стали готовить запись. Кто-то проявил бдительность: «Песня о Москве, а о Сталине в ней ничего нет?!» И вот музыкальный редактор строку: «где любимая девушка ждёт» меняет на: «Где любимый наш Сталин живёт». После того как песня прозвучала в эфире, раздался звонок Сталина: «Скажите, это когда у вас девушка Сталиным стала?»...

Когда же на подмосковном разъезде Дубосеково совершили свой беспримерный подвиг 28 панфиловцев, в песне появились такие слова:

Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в веках будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.

Последние четыре строчки высечены на гранитном постаменте памятника защитникам Москвы на 23-м километре Ленинградского шоссе, где осенью 41-го был остановлен враг:

И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Песня «Моя Москва» стала творческим содружеством не двоих, а троих людей — Дунаевского, Лисянского и Аграняна, объединенных одной задачей и одной мыслью. Только вот почему-то спустя годы, уже после смерти Исаака Осиповича Дунаевского, об одном из авторов стали забывать, а потом и совсем забыли... Писали и говорили лишь о Дунаевском и Лисянском.

Немало усилий пришлось приложить Юрию Евгеньевичу Бирюкову для того, чтобы восстановить справедливость, чтобы среди авторов гимна столицы имя Сергея Ивановича Аграняна по праву занимало достойное место. Для этого ему пришлось обращаться даже в городскую Думу (а ещё Энциклопедия Москвы, изданная в 1980 г., хранила все три фамилии авторов).

Любопытно, как проходило обсуждение текстовой части гимна. Журналисты сообщали об острой дискуссии. Стихи написаны более полувека назад и воспринимались депутатами неоднозначно. Некоторые из них, например, опасались, нет ли в словах о жизни «в тайге» намёка на то, что москвичи более других пострадали от репрессий 1930-х годов. Не вызовет ли строчка «Мы запомним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков» неприятных воспоминаний об октябре 1993 года, когда произошла в столице вторая попытка государственного переворота? А в припеве «Дорогая моя столица, Золотая моя Москва!» нет ли намёка на то, что жизнь в Москве дороже, чем в других европейских столицах?

Двадцатью голосами «за» при двух «против» депутаты города приняли Закон о Гимне города Москвы.

Накануне очередного Дня города я случайно услышала по радио «Эхо Москвы» в прямом эфире Юрия Евгеньевича Бирюкова, который упомянул о том, что признание С. И. Аграняна в любви подмосковным рощам искренне, и что жил он... в Малаховке. Это показалось интересным, и я начала журналистское расследование.

И вот я в гостях у вдовы Сергея Ивановича Аграняна, очаровательной, несмотря на свой преклонный возраст, бывшей балерины ансамбля Сары Александровны Агранян. Дачу Сара Александровна получила по наследству от отца году в 1932–1935-м... Ей было чуть меньше, а Сергею Ивановичу чуть больше двадцати лет, когда они впервые встретились. А познакомил их цирк на Цветном бульваре. Он назывался тогда Первый Госцирк. Она — ученица балетного техникума им. Луначарского. Он — студент ГИТИСа и одновременно режиссёр цирковых представлений, таких как знаменитые в те годы «Индия в огне», «Конная феерия» и др. В его программах принимали участие будущие знаменитости — Игорь Кио, Ирина Бугримова, любимец публики клоун Карандаш. Помимо цирка, Сергей Иванович режиссировал представления и в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. А перед самой войной пришёл в коллектив ансамбля песни и пляски к Исааку Дунаевскому в Центральный Дом культуры железнодорожников.

Время неумолимо. Сегодня, к сожалению, трудно отыскать людей, которым довелось работать вместе с Аграняном в цирке в начале тридцатых годов, выступать в ансамбле у Дунаевского. И всё-таки такие нашлись. Они по-доброму вспоминали человека, с которым встретились в начале своего творческого пути, талантливого, обаятельного, но, несмотря на молодость, очень строгого и требовательного. «Хорошо... Хорошо... Чистенько, — говаривал, бывало, он на репетиции. И вдруг раздавалось: — Всё сначала, пожалуйста!»

Когда началась война, Сергей Иванович работал вместе с Дунаевским в агитпоезде, колесившем по городам и весям России — Урал, Сибирь, Средняя Азия, Дальний Восток...

Из воспоминаний Маргариты Александровны Кожевниковой, солистки ансамбля:

Шла война, театры из Москвы эвакуировались. Оставаться в городе было опасно, и актеры отправлялись в тыл... Ехали на гастроли на 3 месяца, думали, что война через три месяца закончится, а оказалось — на два года... Нас было 220 человек в ансамбле. Каганович, бывший министр путей сообщения, дал нам 9 вагонов. Голубых. Поэтому поезд наш назывался «Голубым экспрессом». Был в нём вагон-ресторан, где нас кормили, в основном — кашей. Пустой вагон — для репетиций... Наше жильё... Нас везде ждали. Война! Но актёры были очень нужны. Иногда начальнику ансамбля Николаю Петровичу Щетинину, незадолго до войны обласканному правительственной наградой, приходилось прибегать к маленьким хитростям. Прокормить 220 человек — дело непростое. Придёт, бывало, на рынок в каком-нибудь городке, а там — пусто. Откроет невзначай полу шинели, а там орден сияет! Орден тогда был редкостью. Помогало...

Дунаевский и Аграняны дружили. Исаак Осипович часто бывал у Аграняна на даче в Малаховке, а в Москве они жили пососедству. Обращались друг к другу: «Знаешь, кацо!..» А Сару Александровну Сергей Иванович ласково называл «мамочкой»: «Мамочка, какую мы с кацо написали песню!» — сообщал он жене о «Моей Москве» в одном из писем (когда началась война, Сара Александровна с маленьким ребенком оказалась в эвакуации в городе Куйбышеве).

Настоящая фамилия Сергея Ивановича — Агранянц, но она трудно рифмовалась в стихах и эпиграммах. Вот и стал он Аграняном.

Пяти лет остался мальчик сиротой. Воспитывал его один из старших братьев — Рубен Иванович, учёный, химик по образованию. В семье было много братьев и сестёр. Самый старший — Тевос Иванович, археолог, выпускник Сорбонны. Сёстры — Антонина Ивановна, Роза Ивановна и Марианна Ивановна, художница.

Сергей Иванович прожил короткую, но необыкновенно интересную жизнь. Он умер в 39 лет. В одном из писем И. О. Дунаевский писал:

«В воскресенье в ванне умер мой хороший друг. Замечательный парень (39 лет), с которым я вместе работал в ансамбле 8 лет, он был режиссёр».

Страшная и неожиданная смерть потрясла Дунаевского. С виду вполне здоровый человек ушёл купаться в собственную ванну, а откуда его вынесли мёртвым. Похоронен С. И. Агранян в Москве на Армянском кладбище.

«— Мы никогда не ездили на курорты, — говорила Сара Александровна, — отдыхали только на даче в Малаховке. Сергей Иванович любил Лукьяновский лес. Правда, грибов не приносил, зато впечатлений... Очень художественно, очень поэтично рассказывал о белой берёзке...»

Так что, «подмосковные рощи» в стихах о Москве и в самом деле — малаховские!

Собиратель
(Об Игоре Владимирове)

Известный исследователь творчества М. А. Булгакова Мариэтта Чудакова в статье «Необыкновенные приключения рукописи» называет человека, сделавшего сенсационную находку текста двадцать первой главы булгаковского романа «Белая гвардия», Собирателем. Вот именно так, с большой буквы.

Имя его — Игорь Фёдорович Владимиров. Жизнь его также связана с Малаховкой, где он прожил много лет.

В 1960-е годы Владимировы, ранее жившие во Владимирской губернии, перебрались в Люберцы. Переезд, видимо, совпал с появлением оживлённой железнодорожной магистрали, на которой как раз и стояли Люберцы. Контора К. Н. Владимирова находилась неподалеку, в Томилине. Когда к состоятельным людям стали обращаться с просьбой помочь новому делу, строительству гимназии нового типа, Владимиров откликнулся. Надо заметить, что он помогал С. В. Зенченко и М. С. Леоненко решать и кое-какие организационные вопросы.

Кирилл Никитич Владимиров занимался строительством не только в Малаховке. В Люберцах построил школу, в которой успел поучиться в 1952 году его внук. Теперь здания уже нет. И двухэтажной аптеки, также построенной Владимировым-дедом в Люберцах, — тоже нет. И родового гнезда, где жила семья...

В декабре 1917 г. Кирилла Никитича арестовали. Новая власть требовала 100 тысяч золотом. Когда выяснилось, что денег нет — все в обороте, — его отпустили. Через несколько дней Кирилл Никитич скончался. Предприятия у него были общие с братом Михаилом Никитичем. Подрастали дети — подходило время раздела имущества. Последние слова люберецкого лесопромышленника были: «Хорошо, что делить ничего не надо — советская власть все разделила». Он всегда говорил: «Голова, руки есть — жить надо!»

Всех вытянула, поставила на ноги старшая дочь Кирилла Никитича Мария Кирилловна. Она успела в 1917 году окончить Московский университет, получить высшее образование.

Остальные, младшие, такой возможности уже не имели. Очень скоро они, как лица купеческого происхождения, стали «лишенцами», т. е. оказались очень сильно ограничены в гражданских правах. В частности, идти учиться в вуз они права не имели. Отец Игоря Фёдоровича, Фёдор Кириллович, правда, учился в МИСИ, но нелегально, скрыв своё происхождение. Если бы обман открылся, не миновать бы Фёдору Михайловичу, как минимум, ссылки. Ведь подвергся же наказанию его менее удачливый брат Александр Кириллович Владимиров: шестнадцатилетним юношей он пошёл работать на железную дорогу составителем поездов, параллельно учился в железнодорожном институте, но на третьем курсе его арестовали объявили вредителем и присудили год условно. В дальнейшем Александр Кириллович отвоевал офицером-артиллеристом все войны, которые вёл СССР.

Фёдору Кирилловичу помогал дядя, двоюродный брат отца, Владимир Михайлович Владимиров. Ему, как и Марии Кирилловне , повезло, к началу новой, советской эпохи он уже имел высшее образование: успел окончить в Петербурге институт гражданских инженеров, Кадетский корпус, учился и в Строгановском училище в Москве. Преподавал как раз в том вузе, в котором учился племянник Фёдор. Конечно, если бы обман открылся, оба — и дядя и племянник — пострадали бы страшно. Однако обошлось.

— Создание Владимира Михайловича Владимирова — знаменитый ДК «Компрессор»,— утверждал Игорь Фёдорович. — Хотя и приписывают здание архитектору Мельникову. В зарубежных каталогах ДК «Компрессор» указывается как творение именно Владимирова.

Опасаясь ареста, Фёдор Кириллович по окончании института собирался уехать в Сибирь. Но направили его как инженера-строителя в Литву на возведение укреплений. В Люберцах оставались родные. Здесь на заводе работал другой дед Игоря Фёдоровича, со стороны матери, Анны Фоминичны, Фома Адамович Островецкий. В голодные годы он уходил на некоторое время в проводники на железную дорогу, но потом вернулся на завод. Анна Фоминична до замужества служила радиотехником на радиостанции ГУЛАГа. Правда, когда вышла замуж за Владимирова, человека, так сказать, социально небезупречного и из-за своего происхождения для советской власти подозрительного, работу потеряла.

— Литву только присоединили к СССР, — рассказывает Игорь Фёдорович. — 17 июня 1941 года мы с мамой поехали к отцу. А через 4 дня началась война, и мы оказались под немцем.

Детство Игоря Фёдоровича прошло в оккупированной фашистами Прибалтике, хотя в том месте, где они жили, немцев было мало. Все же нашелся один... Совсем ещё маленький мальчик носил детское ружьё.

Увидел это немец и спросил: «В кого будешь стрелять?» Малыш, наставив на немца ружьё, ответил: «В тебя!» Немец сорвал с ребёнка золотой крестик и сильно ударил по рукам. Отец крепко побил немца, из-за этого семье пришлось уходить на другой литовский хутор.

Мальчик хорошо говорил по-литовски, хотя книг у него никаких не было: ни русских, ни литовских. Когда же семья ненадолго вернулась в родные Люберцы, друзья и знакомые сразу восполнили этот недостаток. «Со всех сторон нанесли мне столько книжек детских, что я стал обладателем целого сокровища!» — радостно сообщал мне мой собеседник.

Так из детской тяги к книге, из ненасытной страсти к чтению родился библиофил. Который впоследствии... Но не буду забегать вперёд.

— В 1945-м мы ненадолго вернулись в Люберцы, — рассказывает Игорь Фёдорович. — Но нам быстро объяснили, что нас могут в любой момент арестовать, ведь мы находились на оккупированных территориях, а значит, согласно тогдашней политике правительства, считались возможными фашистскими агентами. Поэтому мы вновь уехали в Прибалтику, только теперь уже в Латвию, в Ригу. Отец стал восстанавливать мосты, то есть работал по основной специальности...

Как-то в каникулы, когда мальчику исполнилось 13 лет, отец взял его на стройку. Первая специальность Игоря Фёдоровича называлась «изолировщик». Первые деньги, им самим заработанные, означали возможность покупать книги...

Сегодня никого из старших Владимировых, конечно, нет в живых. Похоронены родители Игоря Фёдоровича Владимирова на старом Люберецком кладбище, часть которого уничтожена. И могила деда Кирилла Никитича Владимирова исчезла.

После школы И. Ф. Владимиров продолжил образование в Рижском политехническом институте. Выпускал там литературный журнал, рукописный, разумеется. Знакомил сокурсников с поэзией Гумилёва и других. Потом уехал в Ленинград. Стал кораблестроителем. Учили его преподаватели из старой петербургской интеллигенции. Давали много знаний, в том числе по литературе. Библиотека была в институте прекрасная. Прививали любовь к печатному слову. Позже Владимиров работал в Риге, в конструкторском бюро. Есть у него изобретения, в своё время получил медаль ВДНХ. Ещё трудился Игорь Фёдорович Владимиров в техническом отделе Министерства морского флота...

Но любовью, тягой, мечтой всегда оставались книги. Накапливался опыт, приходили знания.

И вот однажды, в 1991 году, в первом частном букинистическом магазине в Москве Владимиров увидел кучу бумажного «хлама», кем-то выброшенную, затем кем-то, должно быть, подобранную, положенную в папку из-под диссертации на продовольственную тему и принесённую к

букинисту. Владимирову сразу бросилось в глаза слово: «Николка». Владимиров понял: перед ним рукопись Булгакова.

Некоторых трудов стоило приобрести «хлам» так, чтобы не выказать своей заинтересованности, не спровоцировать интерес невнимательных продавцов... Позже, боясь, как бы текст заключительной, двадцать первой, главы романа М. А. Булгакова «Белая гвардия» не ушёл бы за границу, И. Ф. Владимиров сразу после публикации принёс её в дар отделу рукописей Российской Государственной библиотеки.

А читатель получил наконец возможность узнать, как же заканчивался роман Булгакова...

Машинопись, попавшая в руки библиофила Игоря Фёдоровича Владимирова, начиналась с последней известной на тот момент страницы романа Булгакова. С той, где были сказаны знаменательные слова о брызнувшем в передней звонке... То, что находка, несомненно, являет собой подлинный текст, — мнение специалистов. Сам же Собиратель Владимиров считает, что заключительная глава недаром имеет номер «двадцать один», в то время как предпоследняя обозначена как «девятнадцать»: «Не исключено, — говорит он, — что пропущенный номер был зарезервирован Булгаковым для дополнительной главы».

Овраг нашего детства

Мы выросли во дворе, который видно с электрички, когда подъезжаешь к Малаховке из Москвы. Это шесть двухэтажных домов, огороженных прямоугольником забора из металлических пик.

Дома были построены заводом и заселены нашими родителями. Нас, послевоенных детей, здесь было много. Мы продолжали появляться на свет, вливаясь в шумную и незабываемую жизнь нашего дворового детства.

Пятидесятые годы. Наверное, объективно это было тяжёлое время. Но это было время нашего детства и, беру на себя смелость сказать за всех, — лучшее, что было в нашей жизни. Время Сталина и Хрущёва, патриотических маршей и уголовщины. Коммуналок и керосинок. Старьёвщиков на телегах и точильщиков ножей с деревянным станком на плече. Пионерских горнов в школе и блатных песен под гитару в закоулках.

...Мимо нашего двора, вдоль железнодорожной линии проходит овраг. Он, как река без воды, берет свое начало на «мелководье» у станции Красково и, углубляясь, превращается в поросший соснами «Большой овраг» у Малаховки, около школы, где все мы учились. Да и кто его не знает — малаховского оврага! Но для нас эта данность была нечто большее, чем особенность рельефа. Это была наша заповедная территория.

Весной склон под линией первый покрывался проталинами, обнажавшими камни и лохмы прошлогодней травы. А когда под апрельским солнцем эта часть оврага совсем освобождалась от снежного покрова и земля становилась тёплая, как ладонь, на другой стороне ещё сохранялась зима в виде колючего снега, который можно было зачерпнуть пригоршнями и перекинуть в «лето», и смотреть, как он оседает и тает, превращаясь в мутный весенний ручей. Мы всячески помогали приходу лета, разбивая тонкий с пузырями лёд ботинками в калошах и сбрасывая то, что осталось от вьюг и метелей, в набирающий силу ручей, журчащий на дне оврага.

Летом же мы допоздна просиживали в овраге у костров, возвращаясь домой лишь на сердитые крики матерей. «Колька, иди домой», «Лёшка, паршивец, сейчас же домой», — доносилось из открытых окон. И приходилось идти, отрываясь от уютного, стреляющего искрами костра и вечерних историй про страшные и сверхъестественные случаи. В кострах пекли картошку, принесённую тайком из дома. Горячие, обуглившиеся картофелины перекидывали из ладони в ладонь, разламывали хрустящую

корку и ели рассыпчатое нутро, посыпая его солью. Наши руки и лица становились при этом чёрными от сажи. Ближе к осени на кострах пекли яблоки, насаживая их на обструганный перочинным ножом прут. Кожура на яблоках лопалась, шипели пузыри сладкого сока. В пустых консервных банках мы расплавляли свинец и заливали в земляные лунки, где, отвердев, он превращался в «битки», которыми мы играли в «расшибец». Это азартная игра, где требуется меткость и сноровка, чтобы попасть за несколько метров в кучку медяков, а потом ударом «битки» переворачивать их «орлом».

Иногда на путях над оврагом останавливались и подолгу стояли длинные товарняки. Самые отчаянные из нас забирались на вагоны — посмотреть, что в них. Почему-то чаще всего это были желтоватые куски серы. Тогда в овраге же мы устраивали «занятия по химии», расплавляя серу на костре и наблюдая, как падают мерцающие зелёным пламенем капли, распространяя резкий и едкий запах.

Зимы в те годы были морозные и снежные. Недавно, когда мы со сверстником Димкой ехали на автомобиле из Москвы в Малаховку в слякотную декабрьскую погоду, вспоминали, как кувыркались с разбега в сугробы, которые наметало в овраге. Мы проваливались по пояс в чистый, глубокий снег и с большим трудом выбирались из него.

Обуты мы были в негнущиеся валенки. Снег в них не попадал, потому что поверх натягивались тёплые с начёсом штанины с резинками. Шапки-ушанки завязывались на подбородке на «бантик», который по возвращении домой превращался в ледяной, не поддающийся развязыванию комок. Самыми уязвимыми для мороза были запястья, открытые между заледеневшими вязаными рукавицами и концом рукава. Они краснели, замерзали до боли. Но мы этого не замечали, настолько были захвачены катанием с гор. Съезжали на лыжах, санках, «таратайках», а то и «ни на чем». Сразу после школы мог использоваться портфель.

В длинном овраге можно было найти спуск любой степени сложности. В «Большом каньоне» в выходные дни шум стоял, как на «птичьем базаре», и, как на африканском водопое, никто никому не мешал. Эта территория была нейтральная, в отличие от земель, примыкавших к месту жительства, куда «чужих» не пускали. В «Большом» можно было увидеть искусство «асов» спуска. По крутому склону у школы, стоя на одной короткой лыже, они скатывались, балансируя руками и лавируя между сосен. Зрелище это захватывало дух и вызывало благоговение. К вечеру на дне оврага оставались обломки лыж, санок, а то и следы крови на снегу от расквашенных носов (меня самого однажды привезли домой на санках, когда я, не справившись с управлением, врезался в телеграфный столб).

Когда мы, раскрасневшиеся и возбуждённые, возвращались домой, то в подъезде обметали друг друга веником и обхлопывали выбивалкой для

ковров. Наши обледеневшие пальто и штаны доспехами стояли на полу. Первым делом после этого я припадал к горячему чугуну радиаторного отопления отогревать руки. Блаженное состояние постепенно разливалось по телу, становилось хорошо и уютно. Из пузатого, обтянутого коричневой материей приемника со светящимся зелёным глазком проникновенный голос Николая Литвинова рассказывал очередную сказку про Оле-Лукойе или Нильса, отправившегося в путешествие с дикими гусями. И вечерний отблеск проносившихся над оврагом электричек казался значительным и важным. Сотрясалась горка подушек на кровати с никелированными спинками — символом тогдашнего благополучия...

Детский наш мир был сильно отделён от взрослого. Живя в одно время в одном месте, мы, как керосин и вода, не смешивались. У взрослых хватало своих проблем, и заботы о нас сводились к тому, чтобы накормить, а воспитание — чтобы наказать.

Наказания были разные. Ставили в угол. Тут были нюансы — свободно, лицом к стене, иногда на колени, а шебутного Борьку, по его словам, ещё и на горох. Но самым грозным и популярным воспитателем был ремень. Лупцевали по мягкому месту иногда под горячую руку, иногда — для порядка отложив это дело на вечер. И целый день омрачался ожиданием предстоящей порки. Это был ритуал с сакраментальным «Снимай штаны!». Бывало, родители, вспоминая собственное детство, секли и розгами — пучком очищенных от коры прутьев. Случалось, и крапивой. Мы принимали всё как должное. Это была плата за нашу свободу, и такие «штрафы» показывали границы допустимого. Наказания между нами обсуждались, давались рекомендации, как себя вести при этом, а крепко выпоротый пользовался сочувствием и уважением.

Но, пожалуй, самым тяжёлым наказанием было, когда на целый день запирали дома. От жизни отнимали длинный-длинный день, полный приключений, игр, путешествий, непереносимых, но быстро забываемых обид. Заключённым ухитрялись скрашивать одиночество, общаясь с ними через окно или балкон.

В овраге же выясняли и отношения. Но всё было по правилам: «до первой крови» и «лежачего не бьют». При нарушении кодекса апеллировали к «старшим», т. е. к тем, кто на два, три года взрослее. Было несколько возрастных групп, и старшие патронировали и наставляли младших, и довольно справедливо. Была свобода, и был порядок. Было свое государство. Были и соседние. Были границы, были и междоусобные войны, но были и дружественные делегации, и мирные переговоры.

В «Большом овраге» иногда устраивались «международные» (двор на двор) футбольные матчи. Страсти, бывало, раскалялись так, что футбол переходил в командную свалку. Но, запыхавшись, расходились всегда мирно.

Одним из самых значительных событий была ловля майских жуков, которых теперь почти не стало из-за паров бензина. По вечерам все население двора и соседних территорий высыпало на улицу вдоль оврага (присоединялись и взрослые), и начиналась ловля гудящих толстых жуков, очнувшихся от дневной спячки в ветвях берез и тополей и начавших свой вечерний перелёт. Это была эпопея! Ловили сачками, кепками, руками и чем попало. Сбитого жука с большими пластинчатыми усами рассматривали. Если щётка усов короткая — самка, если длинная — самец. Самыми ценными считались жуки с черной головогрудью. Подсчитывали, обменивались, завидовали тем, у кого больше. На следующий день шли в школу со спичечными коробками, в которых шуршали жуки. Сколько уроков было сорвано из-за гудящих, вылетающих из-под парты жуков! Их даже дарили девочкам.

Невозможно, конечно, пересказать всю ту нашу жизнь, заполненную солнцем, травой, воздушными змеями, пузырящимися в летнюю грозу лужами, пыльным бархатом малаховских тропинок.

...Прошло много лет. Все мы, тогдашние, сейчас в расцвете второй половины жизни. Кого-то уже нет, кто-то вышел в «люди», кто-то так и остался там, в «овраге», спившись, уже без надежды выкарабкаться. В 1960-е годы началось расселение коммуналок, многие переехали на МЭЗ. Мы вырастали, разъезжались, женились. «Как из нашего двора все поразлетелись...» — пели мы песню Высоцкого. Это про нас тоже...

Сейчас наше овражное детство может выглядеть неприглядно, даже являться укором тогдашнему политическому строю. Но другого у нас не было, да нам и не надо.

Из альманаха «Малаховка»

Библиографический список

1. *Боков В. Ф.* Жизнь — радость моя: Избранное. М.: Эллис Лак, 1998.

2. *Бонами Т. М.* Творчество И. А. Бунина в контексте русской культуры. М.: Столица, 2003.

3. *Вдовин В. А.* Факты — вещь упрямая: Труды о С. А. Есенине. М.: Новый индекс, 2007.

4. Встречи с прошлым: Сборник материалов Центрального Государственного архива литературы и искусства СССР. Вып. 3. М.: Советская Россия, 1980.

5. *Гарин-Михайловский Н. Г.* Проза. Воспоминания современников. М.: Правда, 1988.

6. *Горбунов И. Ф.* Сочинения. Т.1, 2. СПб., 1904.

7. *Зайцев Б. К.* Собрание сочинений: В 11 т. М.: Русская книга, 1999—2005.

8. *Златовратский Н. Н.* Деревенский король Лир: Повести, рассказы, очерки. М.: «Современник», 1988.

9. *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. М.: Худож. литература, 1979.

10. *Лидин В. Г.* Друзья мои — книги: Рассказы книголюба. М.: Современник, 1976.

11. *Лидин В. Г.* Люди и встречи: Страницы полдня. М.: Московский рабочий, 1981.

12. Литературное наследство. Том 74. Из творческого наследия советских писателей. М.: Наука, 1965.

13. Литературное наследство. Том 84. Бунин И. А. Кн. 1, 2. М.: Наука, 1973.

14. *Оклянский Ю. О.* Шумное захолустье. Куйбышев, 1969.

15. *Симонов Г. Н.* В XX веке: 21 рассказ русского француза. М.: МИК, 2003.

16. *Скиталец С. Г.* Воспоминания. М.: ГИЗ, 1923.

17. [Н. Д. Телешов и И. А. Бунин: Переписка] // Литературное наследство. Т. 84. Иван Бунин. Кн. 1—2. М.: Наука, 1973.

18. *Теляковский В. А.* Мой сослуживец Шаляпин. Л.: Academia, 1927.

19. Ушедшая Москва: Воспоминания современников о Москве второй половины XIX века. М.: Московский рабочий, 1964.

20. *Щеглов А. В.* Раневская: Фрагменты жизни. М.: Захаров, 1998.

В книге использованыиздания произведений известных авторов: Л. Н. Андреева, И. А. Бунина, В. А. Гиляровского, А. М. Горького, В. Г. Короленко, А. И. Куприна, Ф. И. Шаляпина, И. А. Шмелёва и др.

Кроме того, приводятся материалы архивов РГАЛИ, ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, семейного архива Телешевых на Покровском бульваре и тексты интервью Л. Ю. Логиновой с Н. Н. Калининым, В. А. Телешевым, Е. Ю. Калашниковой В. Ф. Боковым, Ю. Е. Бирюковым, С. А. Агранян, А. А. Вдовиной, и др.

Содержание

МОСКВА

I. ПИСАТЕЛЬ И ЕГО «СРЕДЫ»

II. ПОСЕТИТЕЛИ «СРЕД»: ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

МАЛАХОВКА

ДОБРЫЙ СЛЕД

Литературно-художественное издание

Автор-составитель Лидия Логинова

Телешовские «Среды»:
Москва – Малаховка

Ответственный за издание *Е. Аболенцева*
Редактор *В. Калмыкова*
Корректор *А. Конькова*
Фотосъемка *С. Иванов*

Сдано в набор 10.11.08
Подписано в печать 22.11.08
Тираж 3000 экз.
Гарнитура NewtonC
Формат 60x90/16

Заказ № 1615
Объём 13 усл. печ. л.
3 печ. л. вклейка

ООО «Русский импульс»
http:/ www.rus-impulse.ru

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО «Чебоксарская типография № 1»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15.

ISBN 978-5-90252-537-0

Любовь.

Какъ могуча любовь,
Какъ властна надъ душой!
Въ ней и муки, и рай,
Въ ней и страсть, и покой.
Тутъ ни сила, ни власть
Надъ собой невластна.
Сердце горючимъ огнемъ
Разжигаетъ она.
Къ счастью смѣлою рукой
И влечетъ, и манитъ,
И собою, какъ даръ,
Наслажденье сулитъ.
То какъ осени ночь
Измѣнится она,—
И сомнѣнiй, и слезъ,
И мученья полна.
То клокочетъ въ груди
Воспаленная кровь...
И всѣмъ мукамъ такимъ
Есть названье — „любовь!“

—

1885.

II

Безсмертка и Роза.

(разговоръ)

Роза: Скажи, Иммортель, почему ты цвѣтешь такъ долго, — все лѣто; и если сорвутъ тебя, никогда не вянешь? А я... я цвѣту всего нѣсколько дней... Почему это?

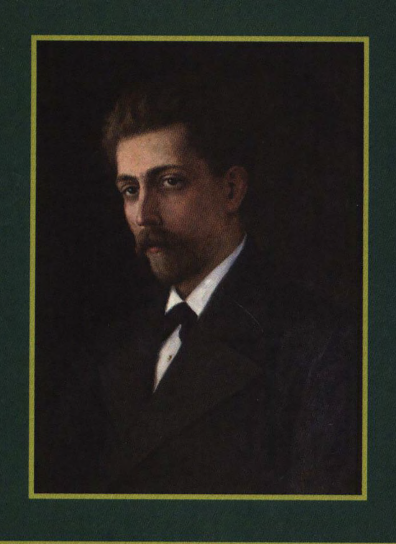
Безсмертка: Потому, Роза, что ты отцвѣтаешь скоро, что ты сочна и красива. Ты живешь полной жизнью: цвѣтешь и благоухаешь. Между тѣмъ, какъ я только расту. Ни сока во мнѣ, ни запаха...

Роза: Помѣняемся! Мнѣ очень хотѣлось-бы жить подольше... хоть и безъ запаха... Давай, Иммортель!..

Безсмертка: Нѣтъ, Роза, — цвѣти!.. Повѣрь мнѣ, что лучше день прожить настоящей жизнью, чѣмъ вѣчно расти сухой... Я завидую тебѣ, счастливица!.. да помѣняться нельзя!..

—

1885



Н. Д. Телешов 1867–1957

В 1899 г. на квартире писателя Н. Д. Телешова возник Литературный кружок, который просуществовал вплоть до 1922 г. «Среда» была центром молодых литературно-художественных сил Москвы реалистического направления. Слово «Среда» стало восприниматься не столько как название дня недели, сколько средой, определяющей литературный климат России тех лет. Членами кружка были И. А. Бунин, Ю. А. Бунин, Л.Н. Андреев, А.И. Куприн, В.Г. Короленко, М. Горький, И. А Белоусов, А. А. Карзинкин и другие известные писатели и поэты. Почетными членами являлись Ф. И. Шаляпин, С. В. Рахманинов, А. П. Чехов и др. Зимой кружок собирался в Москве, а летом – в подмосковной Малаховке.